

ГРАНИ

GRANI

163

1992

Verlagsort: Frankfurt / M, Januar-März

"ГРАНИ"

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; способствовать публикации произведений, которые не могут быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в "Граних" были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Л. Бородина, М. Булгакова,
И. Бунина, Г. Владимова, В. Войновича,
З. Гиппиус, В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского, В. Максимова,
О. Мандельштама, В. Набокова, В. Некрасова,
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, К. Паустовского,
А. Платонова, Г. Подъяпольского, Р. Редлиха,
А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, М. Цветаевой,
И. Шмелева, В. Шульгина...



МОСКВА
«ТЕППА» - «TERRA»
1992

Журнал основан в 1946 году.
Основатель журнала Е. Р. Романов.

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947-1952 Е. Р. Романов

1952-1955 Л. Д. Ржевский

1955-1961 Е. Р. Романов

1962-1982 Н. Б. Тарасова

1982-1983 Р. Н. Редлих, Н. Н. Рутыч

1984-1986 Г. Н. Владимов

Главный редактор
Е. А. Самсонова-Брейтбарт

Подписано к печати 27.01.92. Формат 84×1081/32. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 16,9. Уч.-изд. л. 15,35.

Тираж 10 000 экз. Заказ 659.

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и
организаций

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано на Ярославском полиграфкомбинате Министерства печати
и информации Российской Федерации. 150049, Ярославль,
ул. Свободы, 97.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLVII

№ 163

1992

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир СОЛОУХИН Камешки на ладони	5
Константин БОГОЛЮБСКИЙ Праздник одиночества. Стихи	67
Владимир ГАЛКИН Вот моя деревня. Повесть	75
Виталий ПУХАНОВ Стихи	113

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь ЕФИМОВ Выбранные места из переписки с персонажами "Театрального разъезда"	117
Карен СТЕПАНЯН О художественности русской литературы	142
Людмила КОЛОДЯЖНАЯ Первый псалом Давида в переложениях русских поэтов	158

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Р. ХИН-ГОЛЬДОВСКАЯ Очарование старины. Дневники (публ. и предисловие М. Ситковецкой)	172

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

И. МУРАВЬЕВА Колдун из Загорска	227
Евгения ПАВЛОВСКАЯ Дом	238

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Андрей ОРЛОВ Люди игры	255
Роман РЕДЛИХ По поводу нового издания булгаковской "Философии хозяйства"	281

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ольга МАРТЫНОВА В ожившем зеркале Горнона (Лабиринт/Эксцентр. Литературно-художественный журнал, № 1, 1991)	293
"Время в драгоценное вино превращает сок воспоминаний..." (Мария Волкова. Стихотворения)	296
Олег ЮРЬЕВ Книга, родившаяся из оглавления (Петрополь-3, альманах)	299
Мария ШНЕЕРСОН "Право писать правду" (А. Бочаров "Василий Гроссман. Жизнь. Творчество. Судьба". М., 1990)	303
Вадим КРЕЙД Лучшая книга о Шукшине (Е. Вертлиб "Василий Шукшин и русское возрождение". N. Y., 1990)	314
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	312

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Владимир СОЛОУХИН

Камешки на ладони

* * *

Светлая, чистая текла наша речка Ворша. Люди наставили на ее берегах деревенек: дома чуть поодаль от берега, а на самом берегу – баньки. От дома до баньки идти подальше (чем если бы банька стояла в огороде), но то хорошо, что воду носить близко. А речная вода "мягкая", с колодезной не сравнить. Особенно женщинам (бабам) длинные волосы промывать. Ну и пили, конечно, из речки. У Василия Белова в его "Ладе" упоминается, что в самовары в Тимонихе наливали только речную воду и – никогда никакой накипи.

И вот эпизод из детства. Там, где мы купались, где оставляли одежонку на зеленом прибрежном лужке, кто-то из ребятишек оставил после себя "кучу", а другой в эту кучу вляпался. Ну, и сразу – к речке, ополоснуть изгаженную ногу. А тут оказался взрослый мужик, пресек:

– Ты что же это, паскудник, делаешь? Это ведь река! Вода ведь дальше потечет. А дальше – что? Останиха. А дальше – что? Курьяниха. Они ведь пьют эту воду. А ты в нее лезешь с дерьмом вонючим.

Не говорю, что все люди были такие уж поборники за чистоту рек и речек, как этот взрослый, обругавший мальчонку. Скорее, его ругань имела педагогическое, воспитательное, а не практическое значение. Ведь купали в реке лошадей, и стадо

коров забредало в воду в жаркий полдень, и стирали-полоскали белье. Но все же...

Это куда же мы ушли от той речной зеленохрустальной идиллии? Вонючие свинарники — и жижа стекает в речку. Моем машины, загнав их в речке на мелкое место. А там пошли отбросы фабрик, заводов. Рыба, осетры всплывают кверху брюхом в великой Волге, уничтожается всё живое. И никому не приходит в голову простая истина алепинского мужика: ведь дальше, вниз по течению — живут люди.

* * *

Известен эпизод из жизни Художественного театра, равно как и Михаила Булгакова. Булгаков написал пьесу "Батум", о молодом Сталине и начале его революционной деятельности. Пьеса готовилась к постановке. Труппа поехала в Кутаиси и Батуми "изучать на месте материал". Однако в Серпухове их догнала телеграмма: "Надобность поездки отпала возвращайтесь Москву". Сталин запретил ставить спектакль. Несмотря на то, что пьесу считал хорошей. Позднее стала известна редакция запрета. "Нельзя такое лицо, как Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова".

Ну, что же, как ни относиться к Сталину, но, пожалуй, в его рассуждении был резон.

Вспоминаю же я об этом каждый раз, когда читаю, какому вольному, поистине безответственному обращению подвергается в литературе личность Иисуса Христа. Помимо Евангелия, не известно ни одной фразы, произнесенной Христом, ни одного жеста или поступка, сделанного им. Каково же читать, как Иисус Христос произносит длинные монологи и пропагандистские речи, подолгу разговаривает с Понтием Пилатом... Я имею в виду

прежде всего, конечно, "Плаху" Чингиса Айтматова, да и знаменитый роман самого Булгакова. А в "Великом Инквизиторе" молчит.

* * *

Когда публикуют фотографию с какими-нибудь там преступниками, то глаза им загораживают черной полоской, чтобы нельзя было узнать. Не рот, не нос загораживают, а глаза. Значит, глаза в человеческом лице всё же – главное.

* * *

Адрес на конверте мы пишем так: сначала область, потом город, потом улица, дом-номер, квартира-номер и только в самом конце имя человека, кому письмо адресовано.

Во всех странах мира делается это наоборот. Сперва и прежде всего пишется имя человека, потом квартира, потом номер дома, а потом город и страна. Невелика вроде бы разница, но все же и велика.

* * *

К Некрасову, как ни относишься, считай его великим поэтом или не считай, но бесчисленное количество его строк участвует в нашем разговорном обиходе, украшая нашу повседневную речь.

"Уж больно ты грозен, как я погляжу..." А один мой знакомый, встретив меня с незнакомой ему женщиной, спросил: "Откуда дровишки?" Моя сестра, когда, бывало, у меня от каких-нибудь неприятностей портилось настроение, неизменно говорила: "Соленых рыжиков не ест и чай ему не пьется". Когда усталый добираешься до дома, само набегаёт на язык: "Чуть живые в ночь осеннюю мы с охоты возвращаемся". Сам я, услышав какое-нибудь не-

ожиданное известие (приятное или не приятное — все равно), люблю произнести: "Ну, спасибо, ямщик, разогнал ты мою неотвязную скуку". А еще тоже при какой-нибудь житейской немилости: "Захохотал генерал..." Ну или там: "Выдь на Волгу..." "А всё не скудеет добро", "Служил ты хозяину много"... "И пошли они, солнцем палимы", "И вот опять знакомые места"... "Старый Мазай разболтался в сарае"... "Располным-полна коробушка"... "Какому-то гусю уж что за охота, лежал бы себе на печи..." Впрочем, у каждого, наверное, могут быть свои излюбленные словечки.

* * *

У Твардовского в стихах и поэмах много трагических строк. Еще бы, ведь он писал о войне.

И все же самыми пронзительно-трагическими мне кажутся строки из "Страны Муравии". Первая весна после осуществления коллективизации, когда мирных крестьян изнасиловали, загнав в колхозы. И вот журавли летят себе с юга на север.

Летят, а что тут на земле,
Не знают журавли.

Год "великого перелома", пятнадцать миллионов крестьян целыми семьями выброшены в тайгу и тундру, не менее десяти миллионов из них обречены на гибель, а те, что остались в своих деревнях, в своих избах, обречены на подневольный, бесплатный, безвкусный труд. Сломалась вся жизнь. "Год великого перелома". Но весна идет, журавли летят.

Летят, а что тут на земле,
Не знают журавли.

* * *

Как известно, Короленко, с его демократизмом, гуманизмом, чувством справедливости, а главное, с любовью к народу, не принял большевиков. Это видно из его дневниковых записей, но особенно из его шести писем к Луначарскому. (Нашел кому писать! – заметим мы от себя.)

И вот 14 июня 1921 года он пишет С. Д. Протопопову:

”...Мне тоже смерть не страшна, хотя хотелось бы досмотреть до конца”. Долго же ему пришлось бы ждать! Ведь и мы теперь, уже не в 1921, а в 1991 году, можем повторить эти слова Короленко и тоже неизвестно, удастся ли ”досмотреть”.

* * *

Колчак в ночь перед смертью, сидя в сарае, пел ”Гори, гори, моя здезда”. Интересно, что пели бы убийцы Колчака, окажись они на его месте и в его положении?

* * *

Учась в институте, я на каникулы неизменно приезжал в родное Алепино. Однажды возвращаясь с речки и вижу, что на старом сухом пне неподвижный как изваяние сидит огромный красавец ястреб. Я сбегал к Николаю Чернову за мелкокалиберной винтовкой (своей у меня не было) и возвратился к сухому пню. Ястреб всё еще сидел. Я подкрался как можно ближе, хорошенько прицелился, выстрелил. Ястреб поднялся и улетел.

Я подивился. Стрелять я умел и очень даже прилично. Подойдя к пню, я увидел, что пуля ударила точно по линии ястреба, но на несколько сантиметров ниже его ног. Просто винтовка была неправильно пристрелена, а я этого не знал. Если бы

я целился в голову ястреба, то попал бы в его середину. А я целился, что называется, "под цель".

Тогда я очень досадовал на себя за этот промах. А теперь, когда вспоминаю эпизод, всё больше и больше радуюсь, что не убил птицу. Ну, зачем бы я ее убил? Ну, перевернул бы с боку на бок, расправил бы крылья в их размахе и что? Бросил бы там же на месте. Какую глупость я чуть было не совершил.

* * *

Надежда Яковлевна Мандельштам в своих "воспоминаниях" (не помню теперь, в первой или второй книге, но, скорее, все-таки во второй) рассказывает, как в Киеве 1919 года, находящемся полностью во власти ЧК (был сделан там жёлоб для стекания крови), она и еще другие молоденькие девушки и юноши (победители), которыми руководила Наденька Мандельштам (тогда еще Хазина) и которых она называла "мой табунок", как они в предмайские дни и ночи врывались в киевские квартиры и без всяких разговоров и не обращая внимания на хозяев квартир, вывешивали на балконах красные флаги и портреты Троцкого, или какие-нибудь другие плакаты.

Теперь представим, кем же был для киевлян этот "табунок", врывающийся в квартиры и вывешивающий на балконах и вообще из окон всякую мерзость? А потом мчащийся в другие квартиры? Как могли их назвать про себя мирные киевляне? Бесы.

* * *

Володя Семенов, поэт и переводчик, учился вместе с нами в Литературном институте, так что, когда встречаешься с ним, то встречаешься как со старым знакомым.

Родом он из колоритного городка Касимова. Мать его продолжала жить в Касимове, когда сам Володя был уже москвичом-старожилом. Он много рассказывал нам о своей матери, обладавшей будто бы прозорливостью. Например, он рассказал нам, что Нина Николаевна (так звали мать Володи) еще в 1935 году предсказала, что летом сорок первого года начнется страшная война. И правда, ведь началась. Мы не очень верили этому рассказу. Мало ли что можно рассказывать задним числом. С некоторой подковыркой кто-то из нас спросил:

– А больше твоя мать ничего не предсказывала?

– Как же! Однажды, году в пятьдесят девятом – шестидесятом у меня были друзья в гостях. Тогда, в хрущевские времена, много спорили о настоящем и будущем. И вот Нина Николаевна будто бы предрекла: "Потерпите, мужики, в девяносто первом году все кончится".

До 91-го года оставалось еще 30 лет, поэтому никто не принял ее слова близко к сердцу, как мы не принимаем близко к сердцу разговоры о конце света. Володя только за год до смерти Нины Николаевны (она умерла в 86 году, чуть-чуть не дожив до 86 лет) спросил у матери:

– Помнишь, ты говорила, что все кончится в 91 году? Что ты имела в виду? Что кончится?

– Как что? – удивилась старуха. – Разве я вам тогда не сказала? Рухнет эта поганая власть...

Иногда я забывал про этот 91-ый год, иногда вспоминал, а сегодня вдруг спохватился: Батюшки! Как же это понять? ЦК – опечатано, КПСС – распущена, политбюро больше нет, да и СССР почти уже нет, памятники Дзержинскому и Свердлову – убраны, Ленина из Мавзолея вот-вот вынесут, Ленинград – переименован, демократизация, приватизация... Да ведь старуха-то касимовская оказалась права! За тридцать лет предсказала 91-ый год. Разве не чудо?

* * *

Во времена хрущевской "оттепели", как ее первая ласточка, в 1953 году в "Новом мире" появилась статья В. М. Померанцева "Об искренности в литературе". Разразился скандал. Померанцева "топтали", как чуть позже Дудинцева за "Не хлебом единым" или Яшина за рассказ "Рычаги". Если не ошибаюсь, именно после этой статьи у Твардовского отобрали журнал (гл. редактором стал К. Симонов).

Но ведь, если задуматься, сам разговор об искренности в литературе (да и вообще об искренности) мог возникнуть только в стране, где ложь является законом жизни.

* * *

Нам внушали десятилетиями, что Россия до 1917 года была нищей страной, особенно крестьянство. Но если крестьянство было нищим, то откуда же взялось 6 миллионов богатых кулацких хозяйств для раскулачивания их и высылки в тайгу и тундру? Страна, имеющая 6.000.000 крепких, зажиточных крестьянских хозяйств (а ведь еще и середняки), могла ли быть нищей?

* * *

Маргарита в удивительном романе Булгакова списана, несомненно, с Елены Сергеевны, последней жены, а следовательно, потом и вдовы писателя. Она была, очевидно, необыкновенной женщиной. Она нашла в себе силы и решимость уйти от крупного генерала, от полного благополучия, не только чисто материального, но и просто семейного. И разошлись они мирно: один сын остался с генералом, другой, младший, Сережа ушел с матерью к Булгакову.

Она выполнила последнюю клятву умирающему писателю: опубликовать романы и терпеливо, но и настойчиво добивалась этого целых 26 лет.

Женщина была с чертовщинкой, то есть была женщина в самом сокровенном смысле этого слова. Ею самой рассказан забавный эпизод. "Однажды Булгаков объяснял ее маленькому сыну Сереже, какая важная часть жизни - риск - и привел пример: "Понимаешь, твоя мама рискнула - вышла за меня замуж, и вот видишь, как хорошо всё вышло, как мы все трое хорошо живем!" И вдруг шестилетний Сергей - он звал Булгакова Потапом - сказал, картавя: "Смот'и, Потап, как бы она еще не 'искнула!"

Ну, если уж такие мысли возникали у шестилетнего мальчика при жизни Булгакова, то оставалась ведь она женщиной и после смерти Михаила Афанасьевича. Причем женщиной около сорокалетнего возраста. И кто бы в нее бросил камень, если бы... И вот, действительно появляется иногда в ее дневниковых записях буква "С". Литературовед и булгаковед М. О. Чудакова рассматривает эту букву как "Саша". Она пишет: "В последний предвоенный год Елену Сергеевну связывали с А. А. Фадеевым короткие отношения".

Ну и что? Ну и пусть. Молодая овдовевшая женщина. Ведь и Наталья Николаевна стала потом Ланской. А Елена Сергеевна провдовствовала всю остальную жизнь. Ну и пусть в дневниках буква "С". Саша.

Не "пусть" для меня в этой истории вот что. Как после Булгакова, с его глубочайшей интеллигентностью, "русскостью", с его богатейшим внутренним миром, с его духовностью, как после этого в дневнике - "С"? Ортодоксальный функционер. Большевик. Переписывался с Землячкой! Да и вообще... сравните - "Молодая гвардия" и "Мастер и Маргарита"?

Вопрос в кроссворде: "В старину на Руси мальчик-подросток в возрасте между ребенком и юношей".

Ну, ясно, что — отрок, но почему в старину? Давно ли: "Детство", "Отрочество", "Юность" у Льва Толстого? "Я хочу быть отроком светлым" у Сергея Есенина? Неужели это уже умершее слово, вышедшее из нашего современного обихода прямо у нас на глазах?

С другой стороны, испытав внутренний протест против такого обращения со словом "отрок", я поймал себя на том, как много обиходных слов, с которыми я вырос, но про которые можно теперь сказать "в старину", ибо ушли из жизни сами предметы, вещи, явления, обозначавшиеся этими словами.

Ухват (да, пожалуй, и сам горшок, замененный кастрюлями), голük (да, пожалуй, и сами валенки, которые обметались от снега этим голиком на зимнем крыльце), тарантас, шлея, седелка, телега (да, пожалуй, и сама лошадь как домашнее животное, помогавшее в хозяйстве), косарь (щепали им лучину), да, пожалуй, и сама лучина, горница, светелка, полати, печурка (маленькая ниша в русской печи, в которой сушили рукавицы, тулуп, картуз), серп (остался только в гербе, да и то надолго ли?), проселок, залог (часть крестьянской усадьбы, пущенная под траву), лётник (дорога, которой не пользуются зимой), навозная (неделя, в течение которой на поля вывозили навоз), набат (поскольку не осталось ни одного колокола-набата), зады (часть усадьбы, прилегающая к задней стене дома), прогдн (свободное место между двумя избами для прогона скота), пддни (деревенское стадо, стоящее в определенном месте для дневной дойки), крынка, амбар, овин, плетень, сени, сеновал, закрутки (специальные веревки, которыми оглобли привязывались к розвальням), да и сами розвальни, подкладыш, омет,

сноп, крестец (двадцать один сноп, уложенные определенным образом)... А скоро прочитаем в кроссворде: "В старину на Руси – человек, имевший землю и обрабатывавший ее?" Крестьянин.

* * *

Человек, говорящий о других, на самом деле говорит о себе, потому что из того, как и что он говорит о других, складывается мнение о нем самом.

* * *

Аннотация к американскому фильму, которыми заполнены сейчас все наши кинотеатры: "Острозащитный детектив, прелестные женщины, эротические сцены, экстремальные положения, счастливый конец".

И правда, герой фильма, которому сочувствуют зрители, остается жив, на свободе. Счастливый конец. Но двое застрелены, одна повешена, один зарезан. Счастливый конец.

* * *

Артемий Михайлович Волынский, потомок знаменитого Артемия Петровича Волынского, кабинет-министра российской императрицы Анны Иоанновны, казненного ею по наущению Бирона, доживал свои дни в Нью-Йорке. Он надиктовал воспоминания для своих детей и внуков. И есть там одно место, которое навело меня на размышления.

Окончив Лицей (семидесятый выпуск), он стал работать в Министерстве иностранных дел. После 25 октября 1917 года он как-то сразу понял, что в министерстве показываться больше не нужно, а из Петрограда нужно скорее уезжать. Разрешение на выезд давали на Морской улице. И вот Артемий

Михайлович описывает, какое столпотворение было на этой Морской. Все хотели уехать.

А что, подумал я, если бы эти десятки тысяч петроградцев, бросившиеся уезжать, бросились бы на Смольный? Конечно, строчили бы пулеметы, погибли бы тысячи и тысячи, но кто-то успел бы и добежать... Пусть хоть миллион полег бы перед Смольным, но все же не семьдесят миллионов, погибших в последующие годы... Но люди бросились на Морскую.

* * *

Мне рассказали эпизод, прекрасно характеризующий Валентина Распутина, лучшего современного русского писателя, патологически скромного. Его современники, модные поэты и прозаики, рыскают по американским университетам, за болтовню о нашей литературе, называемую лекциями, срывают тысячные долларовые куши, пооткрывали счета в иностранных банках, а он живет себе в Иркутске и за единственные джинсы был там избит и только что не убит. Более того, когда его ввели в Президентский Совет, то предложили квартиру в Москве. Можно было взять свою и навсегда, можно было взять казенную, на время. Его и уговаривали взять свою и навсегда, а он отказался. "Как же так? У меня получится две квартиры: в Иркутске и в Москве. Это нехорошо". В то время как некоторые его коллеги и современники из отдаленных от Москвы городов и республик не только имеют, мягко выражаясь, жилье и там и там, но еще и разные виллы в разных местах. Ну, да Бог с ними. Я хотел рассказать другой маленький эпизод.

Однажды в Германии Распутину неожиданно выплатили солидный гонорар. А на другой день — уезжать в Москву. Сотрудник нашего посольства, помогавший Валентину в поездке, решил помочь реализовать этот гонорар.

– Валентин Григорьевич, времени у вас – один день. Надо действовать продуманно и решительно. Подумайте, что вам нужно, и мы сразу же купим.

– Так... вроде бы мне ничего не нужно.

– Тогда поставим вопрос по-другому. Подумайте – чего у вас нет.

– Так... у меня ничего нет... – простодушно ответил Распутин.

* * *

Хрущев "тихой сапой" закрыл около семи тысяч действовавших церквей. Попала в это число и наша алепинская церковь, существовавшая по крайней мере с XII века. Не церковное здание (оно середины прошлого столетия), а церковь как таковая. Закрыли ее зимой и о том, как приезжали обдирать серебряные ризы и все внутри громить, где-то я успел написать. Весной, когда я приехал из Москвы в родное село, церковь была уже мертва. При мне подъехал к церкви грузовик, и сборщик утиля Яков Балашов выгружал из церкви латунную церковную утварь и церковные книги в дощатых переплетах, обтянутых кожей. Мне уже приходилось рассказывать, как я догнал Якова в трех километрах от села и уговорил его продать мне все книги. Он мне продал их по цене макулатуры, то есть по 2 коп. за килограмм. Таким образом библиотека возвратилась в село, но не в опустевшую церковь (там устроили колхозный склад), а в мой дом. Семьдесят шесть тяжелых, старинных церковных книг. По времени напечатания они были, начиная с Алексея Михайловича Романова.

На лето мы приезжали в село, а осенью уезжали опять в Москву. Дом стоял пустой, замороженный, но мы не заколачивали даже окон, и никогда ничего никто не трогал. Однажды забыли на улице на задворках стиральную машину. Так она и простояла всю зиму. Накрытая клеенкой.

Но началась перестройка, преступность в стране подскочила на 60% и в зиму с года 1989 на 1990 наш дом обворовали, разграбили. Ничего особо ценного там у нас не было, но книги... церковные книги исчезли все до одной. В доме – разгром. Пол завален рукописями, читательскими письмами. Подозреваю, что кто-то из наезжавших время от времени москвичей, разных там корреспондентов, интервьюеров пригляделся к книгам, а зимой вдвоем с компаньоном прикатали на машине. Село зимой – мертвое. Три старухи, два старика. Делай что хочешь, а ночи длинные, темные...

Мне теперь и ехать не хочется в алепинский дом. Не столько жалко украденного, сколько – противно. Впрочем, книги, конечно, жалко. Я ведь их спас от сдачи в утиль, от гибели. Они ведь были наши, алепинские.

Иногда возникает мысль. Ну и что? Ты же их, действительно, спас. В утиль они уже не попадут. Воры знали, что воровать. Продадут их в розницу церквям, священникам или за границу. Теперь уж их на помойку не выбросят. Теперь уж в чьих бы то ни было руках, а не пропадут. Признаться, что это очень слабое утешение.

* * *

Художник Юрий Павлович Анненков свидетельствует (а он был связан в Москве до эмиграции с очень разными кругами, рисовал Ленина, Троцкого, Зиновьева и т. д.), что Гумилев, офицер, дважды георгиевский кавалер, блестящий поэт, на расстреле улыбался.

Из других источников известно, что Зиновьев на расстреле ползал по полу и слюнявым ртом лизал сапоги чекистам.

И эта тварь и мразь убила русского рыцаря Гумилева!

* * *

Женщина рассказала мне, как она ехала в метро с мальчиком и как сидели в вагоне мужчины всех возрастов от джинсовых мальчиков до закоренелых ветеранов и ни один мужчина не уступил места, ну ладно, не будем уж говорить – женщине, но – ребенку!

Это до чего же мы дожили? Это какое же общество мы создали? До чего же мы докатились, строя самое передовое, прогрессивное, светлое, справедливое, бесклассовое, социалистическое, равноправное, советское?..

Ведь сегодня они не уступили место женщине с ребенком в метро или в автобусе, а завтра при кораблекрушении, когда свято действует закон, что в спасательную шлюпку сажают в первую очередь женщин и детей, они ведь бросятся в эту шлюпку, расталкивая женщин и детей локтями.

* * * —

Меня всегда удивляло, почему про водку говорят, что она – горькая. Ведь в ней нет ни малейшей горчинки. Горькими можно называть хину, полынь, кору осины, ягоды "лешей" рябины, в меньшей степени калины и т. д. Но горькой называют и долю, судьбу, и тут мы находим ключ к отгадке. Дело в том, что в русском языке словечко "горький, горькая, горькое" происходит от двух разных понятий: от горечи как таковой и от горя. Полынь горька, потому что – горечь, а водка горька, потому что – горе.

* * *

Вспоминаю, как "мыли" чертежи. Я учился в механическом техникуме и черчение было у нас одним из главных предметов. Многие часы мы про-

водили за чертежной доской. И техника там такая. Сначала чертеж выполняется карандашом, мягким, легко стирающимся, потом обводится тушью. Карандашные штрихи (а их бесчисленное множество) не страшны в том смысле, что можно провести штрих длиннее, чем нужно, особенно на пересечениях. Пусть торчат у штрихов концы. Можно сделать сплошной штрих (линию), хотя она в конечном счете должна прерываться. Возникает целая паутина вспомогательных линий, нужных только в процессе работы. Тушью же обводится только то, что должно остаться на чертеже. Значит, все эти линии-хвостики ждут резинки. Работа кропотливая и непростая, потому что после резинки чертеж все равно выглядит неряшливым, да и остаются на нем посторонние пятна, например, от пальцев (а пальцы в карандашной пыли). И вот был способ "отмыть", "умыть" чертеж. Крошили на него белый хлеб, мякиш. Начинали этот хлеб ладонью по чертежу катать, а потом стряхивали. Чертеж сиял. С чертежа уходило все постороннее, кроме туши.

Много раз читая современную прозу некоторых писателей, у меня возникала мысль: вот если бы "отмыть" ее как чертеж хлебным мякишем.

Такая мысль может возникнуть и при оглядке на свою жизнь. Но прозу можно перебелить, переписать хоть несколько раз (восьмикратные переписывания Толстым своей прозы и было ее "отмыванием" от черновой работы), а жизнь уже не перебелишь. Так она и существует со всеми вспомогательными линиями, временными, случайными штрихами, а то и грязными пятнами.

* * *

Не могу не украсть этот "камешек" у "Литературной России", вернее у того остроумного человека, который опубликовал свою юмореску на последней странице газеты. Юмореска говорит как о

различии времени (двух эпох), так и о различии двух личностей. Воспроизведены визитные карточки двух поэтов. На одной написано "Пушкин" и больше ничего. На второй: "Евтушенко Евгений Александрович. Писатель, кинорежиссер, киноактер, фотограф, народный депутат СССР, секретарь Правления Союза Писателей СССР, заместитель председателя русского Пен-клуба".

Каково? Неужели Евгений Александрович не понимает, что поэту вполне должно быть достаточно поставить только имя?

* * *

В городе, конечно, другое дело. Толпы пешеходов валят навстречу друг другу, коловращаются. Люди толкаются, обтекают друг друга, было бы странно, если бы все друг с другом стали здороваться. Там это чувство другого человека, ощущение встречного начисто в каждом человеке отключено. Но вот — сельская местность (или дачный поселок). Вот идут по дорожке навстречу друг другу два незнакомых человека. Они одни сейчас друг перед другом, никого вокруг больше нет. Так что же, поздороваются они или нет? И не возникнет ли на мгновение чувство неловкости, если просто так молча, не поздоровавшись, разойтись?

Раньше все встречные непременно друг с другом здоровались. У нас Григорий Патрикеев имел чудачество зимой ходить без шапки. Так вот, шапку он брал с собой, носил под мышкой. Увидит встречного, наденет шапку. Поровнявшись с ним, снимет шапку, поздоровается и — опять ее под мышку.

Ловлю себя на том, что, завидев встречного пешехода на пустой дороге, начинаю колебаться: говорить ему "здравствуйте" или не говорить? Незнакомы же. Конечно, все-таки говорю. И он уже не может не ответить тем же. Ловлю себя и на том, что тепlinkа, светlinkа проскальзывает в это время в

душе. Но иногда нарочно промедлю. Смотрю на встречного. Вижу и в его лице колебание: поздороваться или нет? И если он проходит, не здороваясь, вижу, как костенеет, дурнеет его лицо. Он не просто равнодушен ко мне, он недоволен, что я послужил поводом для того, чтобы он проявил свое отрицательное свойство. Да, каждое "нездорованье" с незнакомым встречным порождает на мгновение не просто равнодушие к человеку, но, как минимум, неловкость, а более того, отчужденность. Вместо светлинки, теплинки — чернинка, холодинка, серинка. Вместо всеобщего единения (когда все говорят друг другу "здравствуйте") происходит всеобщее отчуждение.

* * *

Читаю книгу Евг. Гинзбург "Крутой маршрут", книгу о ее пребывании в лагерях.

"И даже сегодня, после всего, что было уже с нами, разве мы проголосовали бы за какой-нибудь другой строй, кроме советского, с которым мы срослись, как с собственным сердцем, который для нас так же естествен, как дыхание. Ведь все, что я имела — и тысячи прочитанных книг и воспоминания о замечательной юности (выделено мной. — В. С.), ведь все это мне дано революцией, в которую я вошла ребенком. Как нам было интересно жить! Как все было хорошо! Что же, что же такое случилось?" (Выделено мной. — В. С.)

Прежде чем комментировать эти, можно сказать, чудовищные строки, скажем, что на последний вопль-вопрос Е. С. Гинзбург отвечено в воспоминаниях ее почти сверстницы Н. Я. Мандельштам.

"Разве думали мы, отменяя в России всякую законность, что мы отменяем ее и для себя".

Но вообще-то в этом абзаце больше всего меня удивили и даже потрясли слова о том, что Е. Гинзбург обязана революции тысячами прочитанных

книг. Или без революции она и читать бы не научилась? Или в России до революции и книг не было, чтобы читать? А появились они лишь в декабре 1917 года, после декрета, отменяющего свободу печати, и после того, как начались бесцеремонные изъятия книг из всех библиотек с их последующим уничтожением? Я думаю, что декоративно-помпезные костры из книг на улицах Берлина – это детский лепет по сравнению с вакханалией уничтожения книг и целых библиотек по всей России.

Но может быть, Женя Гинзбург детство и юность провела где-нибудь за чертой оседлости, в каком-нибудь страшном и нищем гетто, где запрещалось читать и учиться?

Обращаемся к предисловию ее сына Василия Аксенова, предпосланному "Крутому маршруту". Первая фраза предисловия: "Почему на долю моей матери, красивой и романтической девочки-гимназистки из Казани..." Уж как-нибудь в гимназии научилась бы она читать и без Октябрьской революции. Дальше еще яснее – В. Аксенов пишет: "Мой дед, фармацевт Гинзбург, холеный джентльмен с большими пушистыми усами, решил, что когда девочки (моя мать и (ее) сестра Наташа) вырастут, он отправит их учиться в Женеву. Начались усиленные занятия французским языком и, разумеется, фортепьяно". Комментарии, думаю, излишни.

Удивляет фраза и насчет прекрасной юности, которую, якобы, подарила ей революция. В Женеве, значит, было бы хуже. А ведь юность Е. Гинзбург пришлось пережить на самые страшные, кровавые, голодные, тифозные, братоубийственные годы России. На фоне беспредельных, и днем и ночью, без суда и следствия, во всех больших и малых городах России расстрелов прошла ее юность. Откуда же это восклицание: "Как нам было интересно жить! Как все было хорошо!"?

Интересно и хорошо было, увы, не всем. Боюсь, что миллионов двадцать россиян, самых умных, са-

мых красивых и добрых, самых духовно богатых, самых лучших россиян, поглощенных рвами и ямами, расстрелянных и уморенных голодом как раз во время юности Е. С. Гинзбург, не сказали бы, что им было интересно и хорошо.

* * *

В "Учительской газете" (№ 45 за 1990 год) прочитал заметку в рубрике "Гласный час", которая может служить "приложением" к предыдущему "камешку", а именно к тому месту, где Е. Гинзбург утверждает, что революция открыла ей возможность чтения книг.

Учительница Л. Суровцева из Амурской области спрашивает газету: "Оказывается, Н. Крупская в свое время составила список книг, которые необходимо изъять из библиотек. В числе их были Библия, Коран, произведения Данте, Шопенгауэра и прочие. Это правда?"

Отвечает читательнице член-корреспондент Академии педагогических наук З. Равкин, отвечает, надо прямо сказать, мягко, как бы полуоправдывая одну из бесчисленных чудовищных акций, во всяком случае как бы вуалируя истинный масштаб злодеяния. Тем не менее, выпишем некоторые фрагменты из этой заметки.

"В конце августа 1923 года председатель "Главлитпросвета" Н. К. Крупская подписала "Инструкцию о пересмотре книжного состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы".

А кто, спросим, должен был определять степень художественности? И не надо ли теперь выбросить из библиотек 90% (а то и больше) книг, написанных уже после "инструкций" Крупской? Но продолжим:

"Инструкцией" предписывалось всем Политпросветам (оказывается, эта мракобесная, варвар-

ская акция шла под эгидой просвещения! – В. С.), Гублитам, ГПУ немедленно развернуть работу по освобождению полок библиотек от "вредной литературы" и созданию спецхранов". (Эти позорные спецхраны существуют и до сих пор. – В. С.)

Далее член-корреспондент сообщает, что в черном списке по разделу философии, психологии и этики было названо 23 автора, среди них Декарт, Кант, Платон, Спенсер, Шопенгауэр, Соловьев... По этике были запрещены книги 12 авторов, в том числе Кропоткина, Ф. Ницше и даже Льва Толстого. "Антидемократический характер имел список по обществоведческой проблематике. Среди них особо опасными являлись изданные после февраля 1917 года и ратовавшие за Конституцию, демократическую республику, гражданские свободы, Учредительное собрание, всеобщее избирательное право. По отделу педагогики изымались книги о религиозном воспитании, церковноприходских школах... (И, несомненно, добавим от себя, все хрестоматии, книги "Родная речь", буквари.)

К подлежащим уничтожению произведениям художественной литературы (63 книги для взрослых и 61 – для детей) были отнесены романы, повести, сборники рассказов... воспевающие жизнь, нравы и идеалы буржуазного общества.

Охарактеризованная выше "инструкция", однако, не была приведена в действие, поскольку подготовленный Н. К. Крупской список... был расценен коллегией Наркомпроса РСФСР как недостаточно полный.

В новом списке, утвержденном... 18 октября 1923 года, значилось более двухсот произведений художественной литературы. Самое удивительное, что в число идеологически вредных в этот список были включены такие русские народные сказки, как "Петя-Петушок", "Котик, Коток – серенький лобок", "Кума-лиса" и др..

Еще бы! Ведь важно было вытравить из созна-

ния людей все национальное, русское, народное, доброе.

* * *

Почему больной человек должен идти на прием к здоровому доктору, а не здоровый доктор – к больному?

* * *

По-разному разные растения распространяют свои семена (приходилось уж писать об этом в "Траве", но в жизни невозможно на новых витках не повторяться). У одуванчика идеальный парашютик, да еще и зазубринка на конце семечка, чтобы сразу же зацепиться за мягкую землю. У клена крылышки, этаким пропеллерчик, устроенный по законам аэродинамики. Многие растения выращивают сладкие ягоды в расчете на птиц, которые эти ягоды склюют, а потом разнесут семена по белому свету. У некоторых стручок лопается с треском и далеко разбрасывает зернышки... Но вот – репейник, горький лопух, собачник. Недаром его зовут собачником. Весь его расчет – прицепиться, прилипнуть к шкуре мимо бегущего животного или к одежде человека (в более поздние времена). А потом отдерут его от шкуры или одежды, бросят на землю, а растению только это и нужно.

Но погодите, погодите... Значит, конструктор, конструируя это растение, заранее знал, что мимо него будут бегать собаки, ходить коровы?..

* * *

Сейчас среди всеобщего распада нравов, обычаев, устоев, цивилизованности, представлений о нормах человеческого поведения, порядочности, элементарной эстетичности поступков и жестов, по-

явился отвратительный застольный обычай – "запивать". Ну, рюмка водки перед едой практиковалась давно и во всех слоях общества (где рюмка, а где стакан), но – выпить и закусить. Скажем, положить на половинку крутого яйца две килькипряного посола, убрав у них головки и хвостики, и после рюмки... Или квашеной капусты навильничек или соленый огурец в конце концов, черт возьми! Да и мало ли всего напридумано: холодец с хреном, селедка "под шубой", грибная икра, просто маринованный или соленый гриб, моченые яблоки, салат с майонезом, заливное из судака, розоватые ломтики сала...

Но вот собрались за столом гости, мужчины и женщины. Собираются выпить по первой рюмке и все как один держат в одной руке рюмку с водкой, а в другой стакан с лимонадом. Значит, после водки они жадно пьют сладкий парфюмерно-пахучий лимонад, а потом уж после сладкого лимонада берутся за селедку либо соленый огурец. Мрак! И это распространилось по всей стране. А откуда пошло? Отвечу. Из подворотен.

Собрались мужички после работы, скинулись на троих. Одно время водка стоила 2 р. 67 коп., очень удобно. По рублю с питока. И хватало как раз на бутылку лимонада. В поллитровой бутылке – три граненых ("стеганых") стакана. Хватил стакан водки и тут же – стакан лимонада. Дешево и сердито. Не селедку же разделывать в подворотне.

И вот теперь сидят за столом элегантные дамы с шиньонами, макияж на лице. Но в одной руке рюмка водки, а в другой руке фужер с лимонадом. Жуть!

* * *

Государство, отделяя от себя церковь, тем самым отделяет себя от народа.

* * *

Однажды в московской бане старик с бородой (по виду из недорезанных купцов) попросил, чтобы я потер ему спину. Ну, я потер и сделал это добросовестно и старательно, как всё и всегда делал в жизни, если уж брался. Старик сказал, поглядев на меня восхищенно и одобрительно:

– Да, по-хозяйски, по-хозяйски потер...

То есть это "по-хозяйски" было в его устах высшим комплиментом человеку. Должно быть, на фоне нашей всеобщей бесхозяйственности и расхлябанности.

* * *

Вертинский в своих воспоминаниях пишет: "Однажды у него (Андрея Вержбицкого, дело было в Варшаве в 1922 году. – В. С.) за ужином я познакомился с *нашим* (выделено мной. – В. С.) послом в Польше П. Л. Войковым. Было очень немного приглашенных, и после ужина Вержбицкий попросил меня спеть. Я с удовольствием согласился... Мне было приятно петь своему, русскому человеку – оттуда, с родины, как будто я пел дома – для своих русских на своей земле. Когда я кончил петь, Войков подошел ко мне..."

Начнем с того, что, находясь в эмиграции, Вертинский все 25 лет пел преимущественно для русских, ибо иностранцы его песенки не понимали. Во-вторых, в патетической фразе "мне было приятно петь своему русскому..." не хватает разве что словечка "родному". В-третьих, в 1922 году, то есть 4 года после событий, Вертинский мог уже знать, что П. Войков лично участвовал в убийстве царской семьи в Екатеринбурге и в уничтожении трупов. Ведь именно на имя Войкова было выписано 10 пудов серной кислоты, 30 пудов керосину и 3 пуда спирта, в котором головы царя и наследника (а

возможно, и императрицы) были отправлены в Москву. Ведь именно Войков в той же Варшаве во времена подобного же ужина хвалился: "Мир никогда не узнает, что мы с ними сделали", – и при этом выразительно вертел на пальце перстень с огромным рубином, снятый с трупа (а это уж во всем мире называется мародерством). Известно, что на месте уничтожения трупов был найден палец, отрезанный ради того, чтобы снять кольцо. Не это ли самое, с огромным рубином?

Хорошо. Находясь в эмиграции, Вертинский мог не знать об участии Войкова в екатеринбургском злодеянии, но почему же знал об этом русский мальчик, гимназист Борис Коверда, застреливший этого самого Войкова в той же самой Варшаве на вокзале?

И – самое главное – можно ли вообразить, скажем, Бунину, читающего стихи после ужина Войкову, или, скажем, Шаляпина, поющего Войкову романсы, Рахманинова, играющего Войкову свои прелюды?

* * *

Алим Кешоков рассказал "забавный" эпизод из своей военной молодости. Заняли они небольшой австрийский городок. С несколькими солдатами вошел Алим в австрийский дом – коттедж, особняк. Потребовали вина. Перепуганная хозяйка, пожилая женщина пошла за вином в погреб. Дальше Алим рассказывает:

– Хозяйка ушла, мы сидим на диване. Около моих ног крутится маленькая пушистая собачонка. Я смотрю на свои пыльные сапоги, взял собачку за задние и передние лапки и как бархоткой стал сапоги чистить. Вреда никакого я собачке не сделал, но в это время на пороге комнаты появилась хозяйка с большим кувшином вина. Увидела она мою "процедуру" с собачкой и – в обморок. Главное, что вино пролилось...

Этот "камешек" можно было бы озаглавить "Выбор".

Двадцать восемь лет назад я со своей семьей въехал в кооперативную квартиру ЖСК "Советский писатель". Моя семья – это я, жена и две дочери. Старшая дочь с мужем и двумя детьми со временем отселилась от нас, а младшая Оля продолжала жить в нашей квартире.

Между тем время шло. Оля стала кандидатом наук и научным сотрудником Института Мировой Литературы. Стала она женой и матерью. У нее родилась девочка Катя.

Заблаговременно она подала заявление в наш же кооператив, чтобы ей продали (на троих) двухкомнатную квартиру. В исполкоме ее поставили на очередь, взяли на учет как очередницу.

Время шло. В нашем кооперативе всегда происходят разные многоступенчатые передвижки. Тот уехал в Израиль (чаще всего), тот умер (тоже не редко), те "улучшаются", а их прежнюю квартиру отдают очередникам.

Пора сказать, что двадцать восемь лет назад я купил четырехкомнатную квартиру площадью 64 квадратных метра. Как будто это немало – 4 комнаты, в то время, когда не половина ли населения живет в "коммуналках", либо в жалких "хрущевках" с низкими потолками и со слышимостью от верхнего до нижнего этажа. А тут все же кирпичный дом и потолки 3,15.

Однако разберемся, что такое четыре комнаты для писательской семьи. Я подчеркиваю то, что семья писательская, потому что большая часть людей работает где-нибудь, но не в своей квартире: на заводе, на фабрике, в магазине, на транспорте, в разных учреждениях. Там у них рабочее место, а домой они приходят после работы, чтобы просто жить: т. е. на скорую руку поужинать и допоздна

смотреть телевизор. У писателя же квартира – это основное рабочее место. Там стоит его письменный стол, там его библиотека, его архив (рукописи, читательские письма), чужие рукописи, присылаемые на отзыв...

Таким образом, по крайней мере одна комната должна быть кабинетом писателя. Одна, притом отнюдь не самая худшая комната, должна быть общей. Называйте ее гостиной или еще как-нибудь, но она должна быть. Ведь и действительно – приходят гости, друзья-писатели, иностранные писатели, журналисты (взять интервью), телевидение, радио, а бывает, что и послы иностранных государств. У жены своя комнатка, где она спит, держит одежду. Там же стоит трельяж. Комнатка небольшая, и она жене необходима для уединения.

Дочь – кандидат филологических наук. Свои научные статьи она преимущественно пишет дома. У нее свои книги, свои рукописи, короче говоря – свой кабинет. Таким образом мы при этой раскладке видим, что нет места для детской (ее приходится совмещать с кабинетом кандидата наук), нет места молодой семье для сна (их спальню приходится совмещать с детской и с кабинетом), нет места для сна самому писателю (в возрасте под семьдесят не обязательно уж супругам спать в одной кровати), значит спать писателю приходится в кабинете на диване и не хватает еще комнаты для столовой. Столовую приходится совмещать с гостиной.

Конечно, те, кто ютится в коммуналках и общежитиях могут воскликнуть (или зашипеть): "Ишь, размахался! С жиру бесится!" Но ведь и правда, во всем мире люди живут нормально. Скажем 80% американцев живут в отдельных домах (коттеджах), двухэтажных, с гаражом, газоном перед домом, ну и 6-8-12 комнат. Приходилось мне бывать и в домах, и в квартирах писателей. Прикинешь "на глазок", метров 200, не меньше.

Вместо того, чтобы восклицать (или шипеть): "Ишь, размахался!", подумали бы наши бедные люди, наше несчастное население, кто их обрек на коммуналки, на общежития, на жалкие "хрущёбы" с низкими потолками, крохотными кухнями и совмещенными санузлами. Кто это установил (и по каким таким расчетам), что людям достаточно 9 метров на человека? Санитарная норма! Ну, что же, это, конечно, побольше, чем в лагерном бараке или в общей камере с парашей, но намного ли больше?

Писатель, равно как и кандидат наук, имеют право на дополнительную площадь 20 кв. метров. Кому-нибудь расскажешь в другой стране, смеются, не верят.

Ну, хорошо, если жилье бесплатно дает государство, оно, положим, может устанавливать нормы. Но если человек через кооператив строит себе квартиру на собственные деньги? Абсурд!

А ведь это только издали может показаться, что писатели – дармоеды и состоят на иждивении государства. На самом же деле государство их беззастенчиво грабит, как, впрочем, и всех остальных трудящихся. Кто знает, на сколько тысяч рублей нарубал шахтер угля в месяц, или сталевар наварил стали, или ткачиха наткала полотна? Почему же они получают свои мизерные зарплаты, да и на эти зарплаты ничего не могут купить? Разве это не смех: шахтеру (шахтеру!) один кусок мыла на месяц. Братцы, да ведь ему же отмыться надо. Или сталевару 400 граммов колбасы на месяц. Да он же эти 400 граммов умнёт за один присест. Он же ведь – сталевар!

А оплата писательского труда? Приведу для ясности один только пример. Вот издана моя повесть в "Роман-газете". Тираж три миллиона экземпляров, цена одного экземпляра 1 рубль. Значит, стоимость всего тиража три миллиона рублей. По нормам, существующим на земном шаре (по крайней мере в развитых, цивилизованных стра-

нах), автор должен получить по договоренности и по контракту 10-20% от этой суммы. При этом он же не живодерничает и ни на ком не наживается. 10-20% это не 80 и не 90%. Тогда, даже если брать минимальные десять процентов, я должен был бы получить... Прикиньте сами. Почему же я получаю три тысячи. Ничего не говорю, 3 тысячи это тоже деньги. Но по какому праву государство берет себе три миллиона, а мне оставляет 3000? А ведь в "Роман-газете" я издавался четырежды. Да кроме того десятки книжных издательств, все с этой же арифметикой.

Ну, ладно. Книг было много и на кооперативную квартиру все же хватило. Не Бог ведь какие хоромы и планировка наша, казенная, советская, но прожили двадцать восемь лет, не жалуемся, Бога не гневим.

И вот внутри нашей квартиры образовалась новая самостоятельная семья. Моя дочь Ольга Владимировна, ее дочка Катенька, муж Володя. Когда в пчелином улье появляется новая "матка", она улетает, уводя с собой часть пчел, образуется новая самостоятельная семья. И у нас, у людей, нормально, молодая семья должна жить отдельно. Моя дочь заблаговременно подала заявление в ЖСК и по прошествии нескольких лет общее собрание членов жилищного кооператива единогласно проголосовало за то, чтобы продать ей освободившуюся двухкомнатную квартиру площадью 27 квадратных метров на троих. Немного, если учесть то, что она одна имеет право на дополнительную площадь, т. е. всего было бы 9+20, да еще на дочку и мужа по 9 метров, итого - 47. Ну да Бог с ними, санитарными нормами, рады были до смерти, что всё же дали им двухкомнатную квартиру. Оставалось получить ордер и переезжать. И вот тут началось. Наша родная советская действительность.

Вдруг нам говорят, что некая "депутатская комиссия" при райисполкоме опротестовала реше-

ние общего собрания ЖСК и проголосовала против того, чтобы Оля получила квартиру. Я не поверил своим ушам, а когда пришлось все же поверить, пошел на прием к заместителю председателя Исполкома по жилищным вопросам. Зампредседателя меня принял, очень внимательно ко мне отнесся и внял моей просьбе возвратить наш вопрос на новое рассмотрение депутатской комиссии. Хотя и непонятно было, почему голосование 20 человек должно аннулировать голосование 100 человек общего собрания и почему вообще какая-то депутатская комиссия вторгается во внутренние дела жилищного кооператива. Конечно, само Правление Жилищного Кооператива не может выдать ордер на квартиру, это, как говорится, прерогатива райисполкома. Но выдача ордера — дело техническое и какая-то депутатская комиссия запрещает его выдавать — непонятно. Трижды возвращался этот вопрос на депутатскую комиссию и трижды мы получали отказ. Однажды я сам ходил на заседание этих головотяпов, произнес там прочувствованную речь, но и это не помогло. Устная мотивировка у них была одна: слишком будет жирно, если мы с женой останемся двое в четырехкомнатной квартире, в то время когда масса трудящихся... Как будто я виноват, что население нашей страны живет в чудовищных жилищных условиях. Одна депутатша — молодой еще чернявый очкарик со сладострастием шипела мне в лицо минут пятнадцать о бараках, коммуналках, "хрущёбах", ну и, естественно, о гражданской совести.

Мне подсказали, что можно обратиться в районный суд и дело можно выиграть. Суд примет решение и обяжет райисполком выдать ордер. Нужно только найти адвоката, придти самому и пригласить еще двух свидетелей, которые внятно сказали бы, что 64 кв. метра для писателя вовсе не жирно. Ведь эти головотяпы видели только один вариант: что будет, если Ольга квартиру получит:

мы останемся с женой одни. Но у них не хватило ума подумать, что будет, если Ольга не переедет. Тогда будет коммуналка, две семьи в одной квартире. Ольга подала в суд. Адвоката (адвокатшу) нашли, я позвал свидетелей: Михаила Алексеева, Героя Социалистического труда, Виктора Саковача, зам. директора Института Права, и Шавката Ниязи, моего друга-таджика, искусствоведа, профессора, сотрудника Правления СП СССР. Суд назначили на 5 марта на 11 часов дня.

Между тем в моей жизни назревало еще одно событие. Я должен был встретиться с Патриархом всея Руси Алексием II.

Являясь председателем общественного комитета по восстановлению Храма Христа Спасителя, я однажды через газету "Литературная Россия" обратился к правительству. Я писал, что сколько бы мы ни собрали пожертвований, Храм на общественных началах восстановить невозможно. Восстановить его на прежнем месте и в прежних габаритах может только государство. Оно и должно это сделать, потому что именно государство уничтожило Храм в 1931 году.

Прямого ответа на свое обращение я не получил, но косвенно реакция была. Собрался Синод при Московской Патриархии, на котором было решено отложить строительство Храма-памятника в честь тысячелетия крещения Руси (где-то в Орехове-Борисове), а восстанавливать Храм Христа Спасителя. Такое решение было принято Синодом еще при жизни Патриарха Пимена, но потом всё как-то стало "уходить в песок" и опять заговорили о Храме в Орехове-Борисове.

Вот я и хотел встретиться с новым Патриархом и узнать (прежде чем еще раз обращаться к правительству) его взгляд, его позицию в этом вопросе. Я позвонил в канцелярию патриархии, что называется, испросил у святейшего аудиенции.

Однажды вечером раздался телефонный зво-

нок. Звонил секретарь (или помощник) патриарха епископ Арсений.

– Вы хотели встретиться с Патриархом. Он примет вас 5 марта в 11 часов утра. (!!!)

Что же мне было делать? Конечно, с одной стороны – Храм Христа Спасителя, а с другой, – лишь квартирка для дочери. Но ведь не пойти в суд я не мог.

– Ну, если вам нельзя 5 марта в 11 часов утра, то я доложу Патриарху, мы вам позвоним.

Суд мы выиграли, а звонка из Патриархии всё нет и нет.

* * *

Идеология на протяжении десятилетий пронизывает у нас всё и вся. Диссертации, научные статьи, речи ораторов, трактаты – ничего не обходится у нас без цитирования "основоположников", "первоисточников" от Маркса, Энгельса, Ленина до Хрущева и Брежнева, если даже это были статьи о заготовке кормов или об искусственном осеменении.

Но идеология пронизывала (пронизывает) всё и более косвенным образом.

Вот в руках у меня однотомный "СЭС", "Советский Энциклопедический Словарь". В один том уместить такую бездну сведений, конечно, трудно, поэтому статьи (справки) там очень короткие, по несколько строк мелким шрифтом. Но и тут, разве можно без идеологии? Причем она проглядывает не только в трактовках и формулировках, но и в количестве отпущенных строк, когда каждая строка на учете. Например, Горькому (основоположник пролетарской литературы и теоретик соцреализма) дано 46 строк, а Гоголю – 25. Ахматовой Раисе – поэтессе из Чечено-Ингушетии и Анне Ахматовой – поровну, Щедрина Родиону – 15, а Щедрина – русскому живописцу – 4,5... Ну, правда, Салтыкову-

Щедрину – 25. Как же, обличал и высмеивал. Стасову Владимиру Васильевичу, крупнейшему искусствоведу, идеологу музыкальной "могучей кучки" и художников-передвижников, одиннадцать строк и столько же Стасовой Е. Д. за то, что член партии с 1898 г., большевичка и секретарь Владимира Ильича. Стаханову и стахановскому движению, вернее, той пропагандистской шумихе, которая называлась Стахановым и стахановским движением, не пожалели целых семнадцать строк.

Есть и курьезы. Скажем, "Телятников Леон. Петр. (р. 1951), нач. военизир. пожарной части МВД СССР по охране Чернобыльской АЭС, подполк. внутр. службы, Герой Советского Союза (1986), чл. КПСС с 1981. Руководил тушением пожара при ликвидации аварии на станции (апр. 1986). С 1986 зам. нач. отдела управления пожарной охраны Киевского облисполкома".

Тушение пожаров дело, конечно, нужное, но вот Марии Клавдиевны Тенишевой, которой находится бы на соседней странице с подполковником внутр. службы и где-то поблизости от Е. Д. Стасовой, нет в словаре вообще.

Слава Богу, что хоть Страхову Николаю Николаевичу, виднейшему публицисту и критику, первому биографу Достоевского досталось четыре строки, как, впрочем, и Стахееву Рудольфу Ник., бригадиру очистной механизированной бригады шахты "Нагорная" Кемеровской обл. ...

Но больше всего меня задела за живое страница, где помещены Александры и Александровы.

Я давно знал формулу революционеров-экстремистов: "чем хуже, тем лучше". И, значит, чем лучше, тем хуже. Александр II был одним из лучших и просвещеннейших государей России. Недаром его воспитателем был Василий Андреевич Жуковский. Как хороший царь он вызывал особенную ненависть революционеров-экстремистов. На него было совершено четыре покушения, а на пятом он

был убит. Особенно отрицательно относились "бесы" к отмене крепостного права. Еще бы: ведь это разряжало "революционную ситуацию" в стране.

Даже и сто лет спустя, в юбилейный год, ни одна советская газета не упомянула, что сто лет назад в России было отменено крепостное право.

Возвращаясь к словарю, можно удивиться, что такому историческому лицу, как Александр II, совершившему очень значительные исторические деяния, как-то: земская реформа, судебная реформа, военная реформа, окончание кавказской войны, окончательное присоединение Дальнего Востока, присоединение Средней Азии, отведено столько же строк, как, например, Александрову А. П., начальнику строительства Цимлянского и Куйбышевского гидроузлов, Александрову Б. А. — руководителю ансамбля песни и пляски Советской армии, Александрову Г. В., кинорежиссеру ("Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга"...).

Но особенно меня поразило, что в энциклопедической справке об Александре II совсем не упомянута русско-турецкая война (то есть освобождение Болгарии), а на букву "Р" (русско-турецкая война) не упомянуто имя Александра II, будто русские солдатики сами взяли да и пошли воевать против турок, освобождая братьев-болгар...

* * *

Когда, в августе 1942 года нас брали в армию (1924 год рождения), то меня почему-то зачислили в Кремлевский полк, где я и прослужил четыре года, то есть всю войну. Это, конечно, лотерея. Моих одногодков возвратилось с фронта, говорят, три процента. Нет никаких сомнений, что погиб бы и я.

Первые годы (и даже десятилетия) я иногда, вспоминая об этом, радовался, что не попал в ту мясорубку, где на одного немца пускали десять наших и где все почти они остались там, и Валька

Грубов, и Борька Грубов, и Борис Чернов, и Серега Чернов, и Ванька Кунин, и Витька Московкин, и Борька Московкин, и остальные еще двенадцать человек из нашего маленького сорокадомного села.

Ну, выпала лотерея (Степанида Ивановна была до самой своей смерти убеждена, что это – Бог), ну, радовался, что меня не убили. Однако с возрастом, с приходом, можно сказать, старости, я заметил, что все чаще радуюсь не тому, что меня не убили, но что я никого не убил. Пожалуй, это важнее.

* * *

В школе урок ботаники с выходом в лес. Учитель объясняет. "Дерево, дети, растет не только ввысь, но и в толщину. Оно откладывает кольца. Каждый год – одно кольцо. Поэтому кольца называются годовичными. Кто угадает, сколько лет этой березке?" Ученики отвечают: "десять", "пятнадцать", "сорок".

– А вот мы сейчас ее спилим и узнаем, сколько ей лет...

* * *

Конечно, по дому, по хозяйству крестьянин должен был делать многое. Топор, молоток, пилу, садовые ножницы, долото, стамеску, а то и рубанок каждый умел держать в руках. Но все же были, так сказать, узкие специальности, которыми владели лишь мастера. Печником, шорником, плотником, столяром, кузнецом, валялой (валенки валять), кожемякой был не каждый. На то были – специалисты.

Помню, был у нас в селе Андрей Михайлович, крестьянин как крестьянин, пахал землю, косил траву, но было у него вроде как "хобби", была в нем художническая жилка. Он был своего рода столяр-краснодеревщик. Конечно, мебельных гар-

нитуров он не делал (да и не нужны были бы они в деревенских избах), но он брал, скажем, березовый наплыв или полировал дубовую фанеровку и создавал шкатулки, солонки, рамку для зеркала, шкафчик для посуды... и все с мастерством и любовью, профессионально.

В колхозе его умение стало не нужно. Он сумел уехать (сбежать) в Москву и устроился столяром в домоуправлении. Строгал рамы, чинил двери, привинчивал ручки и шпингалеты, врезал замки. Жил в подвальной клетушке. Я навещал его несколько раз. Вспоминали его деревенский дом, зеленую усадьбу, выходящую "задами" к сосновому леску (а там рыжики и маслятки), а за леском наша светлая речка Ворща. А он живет в подвальной клетушке, хотя мог бы вернуться в село, в свой дом. Но отняли у него любимое дело, привольное хозяйство, а подневольным колхозным рабом за трудодни и по звонку он быть не захотел...

* * *

В "Литературной газете" была опубликована выразительная фотография, вернее композиция из двух фотографий - слева: Виталий Коротич и Андрей Дементьев, т. е. редакторы двух преуспевающих "левых" журналов: "Огонька" и "Юности". Редакторы веселые, вот именно преуспевающие, а между ними, тоже веселая, знаменитая эстрадная французская певичка (Мирей Матье или как ее?). И всё это на фоне бесценных старинных русских икон в мастерской Ильи Глазунова. В районе Арбатской площади. Справа помещена другая фотография: Василий Белов у себя в Тимонихе, в пустой избе. На пустом столе лежат две бедные деревенские иконы. Пустые окна (без занавесок). А если вообразить, что в Тимонихе осталось 2-3 дома, а вокруг Тимонихи по всей вологодской земле - запустение, то соседство двух этих фотографий получается очень вырази-

тельным и даже символическим. Конечно, Василий Белов – народный депутат, выступает с пламенными речами, а его литературное, национальное значение несоизмеримо с соседями по фотоконпозиции. Но все же, в сущности, эта композиция права: они веселые европейцы – победители, а он – у разбитого российского корыта.

* * *

Предмет, как будто недостойный литературного внимания, но за ним весь наш быт, наше теперешнее положение. Года два назад купил я, будучи в Германии (либо в Париже, теперь уж не помню), двое брюк, штанов. Летом не люблю носить костюм с пиджаком, а люблю носить куртку, а к ней необходимы штаны. Штаны там шьют и продают по размеру в поясе и "в шаг", а длина – с запасом, укорачивай по себе. Приехав в Москву, я сунулся было в ателье коротить, а мне сказали – будут готовы через месяц. Смешно. Я взял свой товар и пошел домой. Потом не было какой-то особой нужды и парижские (германские?) брюки провисели у меня два года. Наконец я их отдал на укоротку знакомой мастерице. Через день-два она позвонила:

– Вы знаете, сколько стоят ваши брюки?

– Ну, сколько могут стоить брюки? Рублей шестьдесят, семьдесят, дело в том, что их нет нигде в магазинах...

– Вы отстали от жизни. Сейчас брюки в комиссионном, а особенно такие, как ваши, стоят самое малое полторы тысячи рублей...

– Ну?..

– Надо отдать их в магазин. Ведь три тысячи, а то и три с половиной. Неужели носить?! У меня резать их ножницы не поднимаются.

– Н-да... Но все-таки три тысячи у меня как-нибудь найдутся, а штанов нет. И нигде их не купишь. Режьте смело.

Я написал острую политическую статью и "Огонек" взялся ее опубликовать. Правда, у меня статья называлась "После двадцать восьмого" (съезда, имелось в виду), а они озаглавили ее по первой строке статьи "Не наливают новое вино в старые мехи". Может быть, даже и лучше.

И всё хорошо, и статья шла без сучка, без задоринки, в духе нашего бесцензурного времени. Но — это часто бывает — читаешь иногда статью в уже готовом виде, уже пришедшую к тебе по почте вместе с газетой или журналом, и обнаруживаешь то тут, то там, что нескольких строк нет. Обычно поморщишься, да и только. Что после драки кулаками махать? Но иногда возмутишься и позвонишь, предъявишь претензию.

— Да, вы знаете, Владимир Алексеевич, в последний момент... Не влезало на полосу несколько строк... Мы вам пытались звонить, но вас, очевидно, не было дома...

Взятки гладки.

И вот вышла моя статья в "Огоньке". Читаю и чувствую, что чего-то не хватает. Нашел чего именно. Там у меня в одном месте речь идет о царевубийце Юровском. Выпишу и то, что осталось, и то, что вычеркнули. Вычеркнутое выделим другим шрифтом.

"Скажем, Юровский — убийца Николая Александровича Романова и организатор убийства всей царской семьи. В статье Олега Платонова читаем о нем: "...в 1912 году Юровский открывает собственную фотографию в Екатеринбурге. Делает фотоснимки многих богатых жителей города, представителей администрации, духовенства. Позднее эти фотографии, как и адреса клиентов, становятся основой картотеки ЧК. По ним ЧК совершает свои налеты (т. е. грабит и убивает. — В. С.). Свердлов доверяет Юровскому, останавливается у него на

квартире... После убийства царя Юровский назначается заведующим московской районной ЧК и членом коллегии МЧК, а с 1919 года работает председателем Екатеринбургской губернской ЧК, знаменуя свое назначение десятками (боюсь, что не десятками. – В. С.) новых расстрелов. Ленин считает Юровского надежнейшим коммунистом (если бы не считал, не поручили бы ему мокрое дело в Екатеринбурге. – В. С.). В Екатеринбурге ему с семьей выделяется шикарный особняк в трехстах метрах от дома Ипатьева (сейчас музей комсомола). С ним живут жена – руководительница партийной организации города, и дочь – руководитель комсомольской организации, особенно прославившаяся акциями по разрушению православных храмов, ее именем позднее назовут улицу...” (“Литературная Россия”, № 39 за 1990 г., с. 19.)

Такая вот картинка, такая характеристика. И Ленин считал его надежнейшим коммунистом. И партия перебрасывала его с одной должности на другую” (далее все по тексту).

Кто же поверит, что это вычеркнуто просто так, потому что “не влезало” на полосу, а не по каким-то другим соображениям?

* * *

У Маяковского есть строфа:

Чем жить, зубами щелкая,
В голодные года,
С проклятою трехполкою
Покончим навсегда.

Ну, во-первых, отметим уровень падения поэта и его творчества, его поэзии. Можно ли вообразить эту строфу у Гумилева, Блока, Анны Ахматовой, Цветаевой, Есенина, Пастернака...

Во-вторых, Маяковский никогда в деревне не был, не жил и вовсе ее не знал. Ведь именно поэтому и другие чудовищные строки:

Сидят папаши, каждый хитр,
Землю попашет, попишет стихи.

И почему трехполка оказалась "проклятою"? Кто ее проклял?

Объясню для несведущих, что такое трехполка или, как ее еще называли, травополка. Это, когда одно поле было под хлебом, другое занято "травой" — клевером или викой (а эти культуры обогащали почву азотом), а третье поле отдыхало совсем и называлось это — чистые пары. Такое чередование: хлеб, трава, чистый пар не истощало, а наоборот, обогащало землю (да еще плюс ежегодно натуральный навоз) и обеспечивало благополучие земледелия на многие, многие годы.

Но советская система, проведя коллективизацию, не могла примириться с тем, чтобы третья часть земли пустовала (отдыхала), а часть была занята клевером либо викой, и, насилуя землю, приказала ликвидировать чистые пары, травополку, трехполку. Земля начала быстро истощаться, ее взбадривали химическими удобрениями, "допингами", и в конце концов довели "до ручки", разрушили земледелие как таковое. А Маяковский орал:

С проклятою трехполкою
Покончим навсегда.

* * *

В 20-е годы в анкетах, оказывается, был пункт: "Ваше отношение к большевикам и советской власти?"

Сельский дьячок написал простодушно:
"Боюсь..."

Знаменитая встреча двух друзей – Пушкина и Пущина – в Михайловском. Пушкин в ссылке, длинные вьюжные зимние вечера. Ну, или "Мороз и солнце – день чудесный!" Пусть – няня, пусть – книги, пусть – "А ты, вино, осенней стужи друг..." Пусть иные кое-какие развлечения, но все же с пушкинским темпераментом, подвижностью, непоседливостью... и вдруг – колокольчик!

Мой первый друг, мой друг бесценный,
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

И ведь немалый крюк пришлось сделать Пущину по зимним дорогам. Напомним, это было в январе 1825 года, то есть менее чем за год до выступления декабристов. Напомним также, что оба они – и Пущин, и Пушкин – были масонами, но что Пушкин, вступив в масонскую ложу в Кишиневе 4 мая 1821 года, вступил в нее больше по молодости, по моде, отчасти по легкомыслию и никогда не считался друзьями, если можно так выразиться, "надежным масоном". Известно, что они не доверяли ему главных тайн. Считается, что они "берегли" Пушкина для России, но скорее всего боялись его вольнолюбия, свободы его языка. В конспираторы он, по их мнению, не годился, был, по их мнению, для этого слишком легкомысленным. И вот зарубежное (русское зарубежное) пушкиноведение считает, что у Пущина для приезда в Михайловское, кроме чисто дружеских чувств, была еще одна цель. Он старался окончательно выяснить, могут или нет заговорщики рассчитывать на участие Пушкина в заговоре. После долгих споров и разговоров Пущин приходит к выводу, что Пушкин не-

одобрительно относится к идее революционного переворота и что рассчитывать на него как на члена тайного общества совершенно не приходится. Эволюция его взглядов (а я бы сказал и чувствований) очевидна. Он начинал с богохульской "Гавририады", а кончил "Пророком", лирическим циклом 1836 года. Начинал с оды "Вольность", с эпиграмм на Александра I, а пришел потом к державно-монархическим взглядам. А его знаменитый ответ Николаю на вопрос, где он, Пушкин, был 19 декабря, ответ, которым нас всегда потчевали в школе: "На Сенатской площади, Ваше Величество", столь же остроумен, сколь и двусмыслен. Ведь на Сенатской площади, кроме войск, было огромное количество "зрителей", петербуржцев. Так почему бы не присутствовать там и еще одному русскому человеку? А среди войск Пушкину в цивильном платье находиться было бы даже смешно.

Между прочим, тот факт, что Пушкин в конце концов изменил масонству и совершенно отошел от него (а этого масоны никогда и никому не прощали), не таит ли в себе предумышленные причины травли Пушкина и его гибели?

* * *

Волею судеб я во время войны служил в ПСН УКМК. Расшифруем: Полк Специального Назначения Управления Коменданта Московского Кремля. Теперь это стало называться просто - Кремлевский полк. Никакого "специального назначения", впрочем, у полка не было. Ведь слова "специального назначения" и "особого назначения" у большевиков всегда означали - смерть. Сравните: Ипатьевский дом в Екатеринбурге был домом специального назначения, а аббревиатура "СЛОН" означала Соловецкий Лагерь Особого Назначения, равно как и ЧОН это Части Особого Назначения. Известно, что чоновские войска - это всегда каратели, употребля-

лись они для подавления восстаний, для расказачивания России, для заградотрядов, расстрелов.

Так вот, ничего зловеще-специального у нашего полка не было. Просто мы несли караульную службу по охране Кремля, стояли часовыми у Спасских или Боровицких ворот, вообще, где полагалось стоять часовым, или там, где требовалось проверять пропуска, или приглядывали за рабочими разных специальностей, работающими в Кремле по ремонту квартир, зданий, за малярами, штукатурами, кровельщиками, асфальтировщиками... а в остальном: политподготовка, строевая подготовка, походы, тренировки, огневая подготовка, то есть стрельба...

Жила легенда. Когда осенью 1941 года немцы были уже почти в Москве, а основное правительство в Куйбышеве, а Сталин оставался в Кремле, у него будто бы комендант Кремля спросил: что делать с полком? Переводить ли его в Куйбышев? И будто бы Сталин тихо, но внятно ответил: "Полк оставьте на месте. Если нужно будет, я сам поведу его в атаку". Ну, не знаю... не знаю. За что, как говорится, купил...

Но шла война, и однажды я с удивлением узнал, что на счету нашего полка убитых немцев больше, чем его численность. Оказывается, отбирали хороших стрелков, которые, будучи отобранными, проходили дополнительную специальную подготовку, становились снайперами и тогда по одиночке в разные места командировались на фронт. Оттуда они возвращались с зарубками на деревянном цевье винтовки. Был снайпер (теперь я не помню его фамилии), который привез из "командировки" 73 зарубки.

Я стрелял хорошо, и это было замечено. Меня "предварительно" отобрали, но прежде чем нас, предварительно отобранных, окончательно включить в снайперскую группу, устроили нам контрольные стрельбы.

Можно было бы назвать это третьим туром.

Помню жаркий летний день на стрельбище. За каждым из нас закрепили стрелковую ячейку, где мы положили свои винтовки. Вдали, в трехстах метрах против каждой ячейки, стояли "поясные" мишени, фанерный силуэт человека в натуральную величину. В середине этого силуэта "яблочко", а от него, от "десятки", как волны – круги: девятка, восьмерка, семерка... одним словом, мишень.

Винтовки наши лежали на брустверах ячеек, а сами мы в ельничке-березничке сидели, курили, ждали команды. По команде добежим до ячеек и начнем стрельбу. На пять выстрелов – пять секунд. Таковы были условия соревнования. После него трое лучших будут зачислены в снайперы, а семеро худших пойдут в отсеб.

Неожиданно прозвучала команда:

– Группа, на линию огня!

Психологически я заранее был готов выиграть это соревнование. Не то чтобы мне очень хотелось в снайперы, а затем и на фронт за зарубками на цевье винтовки, но хотелось убедиться самому, насколько хорошо я могу стрелять.

Мне было чуть больше двадцати лет, сердце мое билось ровно, глаз был ясен и зорок, и я уложился в пять секунд. Я не сомневался, что все мои пули одна возле другой вошли в "яблочко". Отстрелявшись, мы пошли каждый к своей мишени. И тут меня ждало потрясение. Да, мои пули лежали одна к другой, но... ниже яблочка на семь сантиметров. Что же могло произойти? Я бросился назад к винтовке и увидел, что кто-то на несколько делений перевел на ней прицел. Пока мы курили в ельничке-березничке, кто-то, видя во мне, очевидно, главного претендента на первое место, сдвинул на моей винтовке прицел. Проверяющие качали головами, цоками языками, но, как говорится, поезд уже ушел. Тогда я был обескуражен, разъярен, подавлен и только что не плакал от обиды. Но теперь я

думаю, не благодарить ли этого злоумышленника. Ведь благодаря его злому умыслу я не убил тех 15-20 человек, которых должен был убить.

* * *

В Буэнос-Айресе, приехав на всезарубежный съезд русской православной молодежи, я поселился (меня поселили) в доме одинокого русского человека, вдовца. Прожил я в этом доме три недели. У Александра Константиновича — домработница, приходящая убирать дом и помогать по хозяйству три раза в неделю. Родом она была из какого-то индейского племени, говорила немного по-русски, поскольку ходит в этот дом уже 25 лет. Зовут ее Стелла.

И вот Стелла, глядя на меня, спрашивает у хозяина:

— Сколько русских я здесь перевидела и все — хорошие люди. Откуда же у вас такая бандитская власть?

* * *

Деньги дают человеку личную свободу и независимость, это бесспорно. Но тогда он, увь, начинает зависеть от денег.

* * *

Теперь стали все "пересчитывать". На рынке тетка торгует кроликами.

— Почем?

— Восемьдесят рублей штука.

— Да ты с ума сошла!

— А что? Это же меньше трех долларов. Разве вы купите такого кролика в Нью-Йорке за 3 доллара?

И, правда, не купишь.

Продает тетка раков. Живые, средней величины. 10 рублей один рак.

- Да ты с ума сошла!

- А что?.. Это же - тридцать центов.

Баночка импортного пива 330 грамм это уж не у тетки на рынке, а в киосках или даже у нас в писательском ресторане - 21 р. 50 коп.

- С ума сошли.

Но платите же вы в "Березке" 80 центов за такую же баночку. Как раз... Ну, да. Если вы захотите купить сам доллар, то можете его в наше время свободно купить. От 30 до 50 рублей за один доллар. Отсюда и несуразные цены: мед - 90 руб., творог - 30, мужские ботинки - 1.100, мясо - 60, лимон - 25 р. за штуку.

Вся эта несуразица создает огромное преимущество для иностранцев и ставит в глупое, бедственное положение гражданина Советского Союза. Поясню. Допустим, что иностранец зачем-то приезжает в Москву. Допустим, что он привозит с собой одну стодолларовую бумажку. Это приблизительно одна двадцатая часть его месячной зарплаты. Свою бумажку он продает за 3000 рублей и живет в Москве припеваючи.

Теперь допустим, что гражданин СССР поехал в США (в Германию, в Англию и т. д.). Чтобы там обзавестись ста долларами, он должен отдать 3000 советских рублей. То есть приблизительно десять своих зарплат. Но со ста долларами за границей нечего делать. Можно прожить на них 2-3 дня (если есть где жить), ибо самая занюханная гостиница стоит дороже ста долларов в сутки. Значит, чтобы чувствовать себя более или менее обеспеченным, надо брать с собой минимум 300.000 рублей, то есть около тысячи среднемесячных зарплат. Если же американец возьмет с собой в СССР хотя бы одну среднюю месячную зарплату, то он будет иметь шестьдесят тысяч советских рублей. Вопиющая несуразица.

Да, все научились пересчитывать, но в одну только сторону. И никто почему-то не пересчиты-

вает, что средняя наша зарплата – 10 долларов в месяц (вместо 2.000 долларов в США), а пенсионеры и пенсионерки получают в месяц по одному доллару.

Есть во всем этом и еще один момент. Допустим, что у вас в Москве завелась бумажка в 100 долларов. Она вас греет. Вы чувствуете себя богатым человеком. Еще бы, ведь это 3000 рублей (вернее от 3000 до 5000). Но достаточно вам пересечь границу, как ваша "золотая" бумажка превращается в серенькую. Это не 3000 и не 5000, а всего-навсего – сто. Одна двадцатая часть очень средней зарплаты американца. Вдвоем с приятелем один раз пообедать.

Я это очень хорошо понял на одном примере с самим собой. Пошли мы с Виктором (москвич, женатый на американке и постоянно курсирующий между Москвой и Нью-Йорком, почему я в отличие от других своих знакомых Викторов, шутливо зову его Виктором), итак пошли мы с Виктором в магазин покупать струны для скрипки. А надо сказать, что Виктор постоянно в уме всё пересчитывает. Скажем, коробка молотого кофе 0,5 кг стоит 6 долларов. Но это же 180 рублей! – восклицает Виктор. Чемоданчик – "дипломат" приличный – 120 долларов. Но это же почти 4000 рублей! Шариковая ручка полтора доллара. Послушай, это же 50 рублей. Можно ли платить 50 рублей за шариковую ручку?!

Но мы пошли покупать скрипичные струны австрийской фирмы "Томастик". Дело в том, что у одного моего приятеля сын Ваня учится в институте им. Гнесиных. Приятель попросил меня привезти из Америки скрипичный аккорд фирмы "Томастик". Струны, конечно, есть и, конечно, нужной нам фирмы. Цена 29 долларов. Я беру. Виктор останавливает меня.

– Подумай. Ведь это 600 рублей. Ничего себе подарок для приятеля!

- Нет, Виктор. Это всего лишь две бутылки водки (хорошая водка в США по 15 долларов за бутылку). Могу я разориться ради приятеля на две бутылки водки?

* * *

У американцев есть выражение: этот человек стóбит столько-то. То есть называется цифра, обозначающая количество денег, имеющихся у человека. "Он стóбит полтора миллиона". "Он стóбит пятьдесят миллионов". Персонаж романа говорит про себя: "В этот день я стóбил один доллар и двадцать центов".

Значит, по-американски можно сказать про Пушкина, что к моменту дуэли он стóбил минус сто двадцать тысяч? (Размер его долгов.)

* * *

Меня всегда, еще в довоенные (а, значит, в мои подростковые) времена, поражал диссонанс в московском метро. Подземные дворцы: мрамор, бронза, витражи, мозаики. Монументальность. И вдруг: муравейник. Толпы вовсе не по-дворцовому одетых и не по-дворцовому ведущих себя людей. Суeta во время посадки в вагоны, теснота в самих вагонах. Впрочем, в довоенном метро хоть меньше было людей. Хоть была возможность оглянуться по сторонам и увидеть эти подземные дворцы, а сейчас по сторонам никто и не смотрит. "Муравейник" увеличился, умножился во много раз и диссонанс между, так сказать, формой и содержанием сделался просто вопиющим.

* * *

Доказать не могу, но убежден, что Сталин готовился провозгласить себя императором. Давно поняв, что никакой мировой революции не будет, он

начал консолидировать государство, опираясь на коренное население страны.

1. Он ввел погоны, гвардию, раздельное обучение, школьную (гимназическую) форму, суворовские и нахимовские училища.

2. Он начал, хотя и постепенное, возрождение церкви. Возвратил ей патриарха.

3. Он ввел (начал вводить) форму почти для всех государственных "институтов". Железнодорожники, юристы, дипломаты, финансовые работники — у всех была своя форма и свои чины, то есть — своя иерархия.

3. Он начал культивировать балльные танцы: полонезы, менуэты, котильоны, польки, мазурки (сам видел, как днем в Сокольниках на открытой танцплощадке молодых девушек и юношей обучали танцевать по-старинному и делать реверансы и книксены).

4. Однажды ночью (а все рестораны работали тогда до 3–4 часов утра) в ресторане "Узбекистан", оказавшись за одним столиком с офицерами (не с командирами, заметьте), я услышал потрясшую меня новость: в армии, в офицерской среде начали возрождаться дуэли. То есть начались возрождаться понятия чести. А ведь офицер с понятием чести и с готовностью ее защищать — это уже почти дворянин.

5. За пять лет до своей смерти Сталин снял с себя звание генсека. Да, да, последние пять лет жизни Сталин не был уже генсеком. Как-то неловко из генсеков в императоры, а из просто сталиных в императоры — можно.

6. Уже после войны или в конце войны, году в 44-ом или 45-ом, в Кремль привезли откуда-то царских орлов, которые находились до "рубиновых" звезд на кремлевских башнях. Я сам с солдатами их разгружал на хозяйственном дворе Большого Кремлевского Дворца. Зачем? Для чего?

7. Все слышали, как он на 19 съезде ВКП(б) говорил, что сейчас стирается разница между членом

партии и не членом партии, между партийным большевиком и беспартийным большевиком. Это был, вероятно, первый подготовительный шаг к ликвидации и роспуску партии.

8. Внедрение термина "отец", "отец народа", "отец народов". Это ведь чисто монархическое, а не коммунистическое, не большевистское понятие. Никому не пришло бы в голову говорить "отец", "отец народа", "отец народов" про Ленина, Троцкого, Свердлова, Зиновьева...

Я не знаю, что бы из этого вышло, как удалось бы сочетать "отцовство" с колючей проволокой лагерей и с колхозами, куда было бы девать символику советского государства и всё остальное советское, но в том, что Сталин готовился провозгласить себя императором, я убежден.

* * *

Мне рассказали наверное, как в Ярославле во времена красного террора отстреливали русских мальчиков-гимназистов. По фуражкам. Как гимназическая фуражка, так и — пуля в затылок.

Мальчики перестали носить фуражки. Тогда остановив (поймав) мальчика на улице, искали у него на голове, на волосах рубчик, оставленный фуражкой. Обнаружив рубчик — стреляли.

* * *

Все знаем, что с наступлением смерти — тьма. Почему же не говорим "та тьма", а говорим "тот свет"? "На том свете увидимся".

* * *

Кому я завидую больше всех? Людям, знающим языки.

* * *

Есть теория, что люди на земле – переселенцы из каких-то других галактик. И там, вероятно, благодаря другим гравитационным условиям за просто летали. Оттолкнулся и – полетел. А здесь, в новых условиях пришлось приспособливаться. Ведь, если вдуматься, то человек единственное существо на земле, которое начало создавать для себя искусственную среду обитания: а) одежду, б) жилье + огонь, в) средства передвижения.

* * *

Читаем у Некрасова о русском народе:

...вынес и эту дорогу железную,
Вынесет всё, что Господь ни пошлет.

А что уж там было особенного "выносить"? Во-первых, строители дороги были вольнонаемные, а не "зк". Земельные работы, конечно, тяжелый труд. Но ведь и всего-то шестьсот километров. А Беломорканал не хотите? А канал Москва-Волга не хотите? Магнитогорск, Новокузнецк, Ухту, Воркуту, лесоповалы по всей северной и сибирской тайге? Коллективизацию не угодно ли? Голод 18-го года? Голод 33-го года по всей Украине, Кубани, Поволжью с людоедством и детоедством? Канал Волго-Дон, Колыму... а тут и всего-то: Петербург – Москва. А сколько патетики, сколько слез у великого русского демократа...

* * *

С образованием колхозов стали на работу ходить по звонку. От сброшенных с церкви колоколов оставляли небольшие колокола, вешали их на столбе или на дереве и звонили. А где не осталось

колокола, приспособливали рельс, буфер, какую-нибудь железяку. И как ведь скоро привыкли ходить на работу по звонку! И казалось сказкой то время, когда не было никаких звонков, а каждый крестьянин работал когда хотел и делал что хотел. Невообразимо и фантастично!

* * *

Всю жизнь мечтал увидеть Созвездие Южного Креста. Ведь еще в юности во многих романах о мореплаваниях, о пиратах, о капитанах грантах не обходилось без сияния Южного Креста. Но так же как людям, живущим в южном полушарии, невозможно полюбоваться Большой Медведицей, так и нам недоступен Южный Крест.

И вот я в Буэнос-Айресе, в столице Аргентины, по другую сторону экватора. В первый же звездный вечер иду на улицу. Небо над головой. Ни спрашивать, ни искать не надо. Крупные алмазы выделяются на малозвездном небе южного полушария и сразу бросаются в глаза. Но все-таки легкое разочарование. Не потому, что этот крест не красив сам по себе, но, по-видимому, потому, что в сознании он жил и сиял над безбрежной пустыней океана. Вот так: океан, небо и человек между ними — и ничего больше. И Южный Крест. А тут в Буэнос-Айресе... уличные фонари, мельтешенье машин, людей, какие-то мачты, заборы, провода, трубы... Конечно, вот он, Южный Крест, но благоговения как-то не вызывает. Ведь даже луна и та теряется в современном городе.

* * *

У деревьев тоже может быть странное "поведение". Скажем, бузина растет и около дома, в палисаднике, и в лесу. Калина, рябина, боярышник, черемуха... не говорим уж про липу, дуб или бере-

зу. Но сирень в лесу никогда не встретится. Никогда.

* * *

Однажды Союз Писателей Якутии пригласил меня в Якутск. Я собирался тогда переводить на русский язык их классика и просветителя, замечательного поэта Алексея Кулаковского.

Первым делом якуты вручили мне программу моего пребывания в республике с обозначением всех поездок и мероприятий. Начиналась программа так.

1. Встреча на аэродроме 10.00 (допустим, теперь уже забыл).

2. Размещение в гостинице.

3. Завтрак.

4. Возложение цветов к памятнику Емельяну Ярославскому...

Он что-то там организовывал, устанавливал советскую власть и т. д., но я-то знал, что это был главный безбожник в стране. Главный мракобес, уничтоживший сотни и сотни православных храмов.

— Э, нет, — сказал я якутам. — Вот когда надумаете взрывать — позовите меня, а цветы возлагать я не буду.

Это было в глубоко застойные времена, в семидесятые, я думаю, годы, и в глазах у якутских друзей я наряду с огоньками затаенного восторга видел недоумение и даже испуг.

* * *

Когда мне было 14 лет, мои родители отправили меня учиться из нашего села во Владимир. Один год я проучился в восьмом классе школы № 1 (бывшая образцовая гимназия), а потом перешел во Владимирский механический техникум (ВМТ). В

школе стипендии не было, а жил я на частной квартире по Муромскому спуску (дом 6). Не знаю, право, сколько платили Степанида Ивановна и Алексей Алексеевич Сорокиным за мое проживание у них, не помню также, сколько они давали мне денег на питание. Или, может быть, и питание уже было оплачено? Не помню.

В техникуме я стал получать стипендию 80 рублей (8 р. по-теперешнему), а жил уже в общежитии. Запомнились кое-какие цены. Свинина на базаре стоила 10 р. (1 рубль). Я покупал на рубль (на 10 коп.) сто грамм и варил себе картофельный супчик. Молоко на базаре стоило 20 коп. литр, сливочное масло 1 р. 20 коп., халва 5 р. (50 коп.) за килограмм. Водка 60 коп. пол-литра (6 руб. по тогдашним деньгам), а "четушка", следовательно, 3 р. 15 коп., т. е. 35 коп. Но водкой мы тогда еще не баловались.

На 80 рублей (на 8) прожить было трудно даже при тогдашних ценах. И вот моя сестра Катюша (Екатерина Алексеевна), живя в Москве и будучи хорошо обеспеченной, то и дело посылала мне письма. Откроешь конверт: полстранички письмо и - трешничек! Иногда и пятерка. Тридцать и пятьдесят копеек в современном "хрущевском" масштабе цен, но кто бы знал, сколько радости (и практической пользы) приносили мне эти Катюшины трешнички!

А теперь встречается внучка (она живет уже самостоятельной жизнью), спросишь:

- Ну как?

- Нормально....

- С деньгами как?

Пожмет плечами: "Нормально". Достанешь из кармана дашь ей сотенную бумажку и чувствуешь, что сотня эта теперь менее дорога для нее, чем для меня была Катюшина трехрублевка.

В начале 50-х годов я работал в "Огоньке" очеркистом. Тогда это был "журнал достижений". Никаких недостатков, никакой критики нашей светлой действительности. Всё красиво, всё благополучно, всюду процветание и рост. Но надо же эту цветущую действительность как-то читателям подать, нужны темы, поиски темы. В поисках темы доходили до изощренности. Был когда-то (в конце 20-х – начале 30-х годов) фильм "Бабы рязанские". По-видимому – один из первых советских фильмов. О нем много шумели в прессе.

И вот вызывает меня, очеркиста, зав. отделом очерка и предлагает задание, тему.

– Понимаешь, был нашумевший фильм "Бабы рязанские". Ну, там темные, неграмотные, невежественные бабы. Надо написать о теперешних женщинах Рязани...

Поехал я, действительно нашел женщину-хирурга (онколога), женщину-пасечницу, председателя колхоза, учительницу... И вроде бы всё правда, ничего не придумано (хирург, пасечница, учительница), но в то же время так тенденциозно, односторонне, минуя "общаги", каторжный подневольный колхозный труд. Ведь именно из этой поездки я привез маленький рассказик "Кустики Мавры Даниловны", о том, как старушка, у которой я жил в деревне (когда собирал материал о пасечнице), попросила меня вырубить в ее убогом саду все вишневые деревья, "кустики".

– Да это же вишенье! Как же можно и зачем же его рубить?

– Так ведь надо платить налог за каждое деревце, а чем мне платить?

Так и жили, так и росли: в "Огонек" – очерк о колхозной пасечнице, а для себя "Кустики Мавры Даниловны".

* * *

Когда я, окончив Литературный институт, пришел к главному редактору "Огонька" Суркову и попросил, чтобы они взяли меня к себе на работу, Сурков снял трубку и кому-то сказал:

— Леша, сейчас к тебе придет молодой поэт, устрой ему хорошую командировку.

Леша — молодой выхолонный жгучий брюнет, немного рисуясь передо мной, после трехминутных переговоров послал меня в ненецкую тундру на праздник "День оленевода". Так я начал сотрудничать в "Огоньке".

Мне и в голову тогда не приходило, что Алеша, Алексей Яковлевич Юровский — родной сын палача-цареубийцы. Я об этом случайно узнал только третьего дня от старой бывшей работницы "Огонька".

Алеша, Алексей Яковлевич Юровский был старше меня на несколько лет (я только что окончил институт, а он уже заведовал в "Огоньке" отделом очерка), то есть, вероятно, он 1920-го года рождения, а может, и девятнадцатого. То есть он родился вскоре после кровавого злодеяния, когда царь умер от первой пули, а царевича Алексея, наследника, долго не могли добить. И что же это такое? Тотчас после этой мясорубки собственного сына назвать Алексеем? Что это: патология, иезуитство, издевательство, надругательство, насмешка... Решайте сами.

* * *

Каждый год мы начинали изучать "Краткий курс истории ВКП(б)", но доходили обычно до четвертой главы. Затем кончался учебный год, а в новом учебном году всё начиналось сначала. Но однако о революции 1905 года мы успевали узнать. Успевали узнать мы о том, что под давлением рево-

люции царь издал манифест "17 октября 1905 года". Самого манифеста в "Кратком курсе" не было и мы его не читали, но зато все наизусть знали две стихотворные строчки о нем: "Царь испугался, издал манифест: мертвым – свободу, живых – под арест". Ничего больше ни о революции 1905 года, ни о царском манифесте мы не знали. Даже и теперь, когда я захотел узнать о манифесте подробнее и позвонил одному своему товарищу, он засмеялся и ответил: "Я о манифесте знаю только стишок: "царь испугался, издал манифест, мертвым свободу, живых под арест". Оказывается, прочитать сам манифест в наших условиях практически невозможно, не обращаясь в специальные библиотеки, да и то... Он ни разу не издавался, не переиздавался за все годы советской власти, не входил ни в какие учебники – тишина. Почему? Очень понятно. Никакое доброе дело, благодеяние царя не подлежало популяризации. Пустили подлый стишок, замусорили этим стишком миллионы, десятки миллионов мозгов – и довольно. Но я, хотя и с трудом, тот манифест достал и теперь не для того, чтобы опровергнуть подлый стишок и показать, что ничего подобного в манифесте не содержится, а того ради, чтобы дать возможность желающим иметь этот текст, не прибегая к специализированным книгохранилищам, привожу его. Найдите в нем хоть намек на то, чтобы "мертвым свободу, живых под арест". Впрочем, для разрушителей российской государственности истина никогда не была обязательной, они ведь руководствовались правилом: "Клеветайте, клеветайте, что-нибудь да останется".

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ

Божиею милостью, Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая.

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великой и тяжкою скорбию преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным и печаль народная — Его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы Нашей.

Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих предназначаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего правительства.

На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы, на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку, и

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действитель-

ного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами направлять все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.

Дан в Петергофе, в 17-й день октября, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот пятое, Царствования же Нашего одиннадцатое.

На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано:

”Николай”.

* * *

Троицкий собор – душа и сердце лавры. Если Троице-Сергиева лавра действительно самое святое место в России, а Троицкий собор в лавре как сердце в сердце, то в самом соборе есть уж воистину святые святых – мерцающая серебром, окруженная жарким пыланьем лампад рака с мощами Преподобного Сергия. И всегда к ней с семи утра до десяти вечера, ежедневно, в праздники и в будние дни, непрерывный людской ручеек в один ряд. Подойти, поклониться, поцеловать стекло над ракой, перекреститься и отойти. А следующий уже склоняется, целует и крестится. Так идут и идут с семи утра до десяти вечера. Остальные, находящиеся в Храме, непрерывно поют. Тут не служба какая-нибудь, а повторение одной только фразы, растянутой в песнопении, положенной на красивую мелодию. ”Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас”. ”Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас”. ”Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас”. И так часами, часами, и чем больше слушаешь, тем больше ложится на сердце незамысловатая молитва и то, что поют ее сами молящиеся, сами приехавшие, прилетевшие, пришедшие на поклон к Преподобно-

му Сергию с разных концов страны от Карпат до Камчатки. Это не красное словцо. Я осмелился однажды и спрашивал по произвольному выбору, откуда приехали к Сергию, и получал ответы: Ташкент, Гомель, Самбор, Псков, Барнаул, Торжок, Тюмень, Кисловодск, Киев, Кишинев, Челябинск, Оренбург, Серпухов, Павлодар, Чита... Ну, если из Ташкента, то русские, конечно, православные...

Редкими капельками точится огромная, истерзанная, замороженная, анестезированная, продезинфицированная, обездушенная страна. Редкие капельки сливаются здесь, в одном месте, в этот тонкий, в один ряд, но непрерывный все-таки ручеек. Поклониться, приложиться, перекреститься и отойти.

– А нет очереди через всю лавру, как в Мавзолей, через всю Красную площадь, – пошутил я при отце Алексее.

– У нас здесь дух один. Глазеть-то ведь не на что. А духом к духу прикоснуться дано не каждому из широких масс. Дух он либо есть, либо нет.

– Что же, приходилось вам самому видеть мощи Преподобного Сергия? – обратился я опять к отцу Алексею.

Понизив голос (не как понижают, боясь сказать громко, а как понижают его, скорбя), отец Алексей ответил:

– Вы, наверное, знаете, что лавра после революции была разорена и на многие годы закрыта. Все сокровища вывезли. В мощах Преподобного Сергия тоже копались. Мародеры и трупоеды! Хорошо, хоть не выбросили. Когда лавру вернули церкви... куча разворошенных костей... Все осквернено, наплевано в самую душу. Но святость и чистоту испачкать нельзя. Вся скверна падает в конце концов на тех, кто пытался осквернить...

Человечество уже взрослое, можно сказать, постаревшее, во всяком случае, цивилизованное, играет в камешки. Необходим и полезен кусок хлеба, стакан молока, ложка меда, отвары целебных трав, бальзамы и элексиры.

Можно понять увлечение чаем и кофе, пряностями (благодаря которым открыли Америку), можно понять даже пристрастие к табаку, алкоголю и – дальше – к наркотикам. Можно понять несусветные цены за грамм кокаина (или какие там бывают наркотики), ибо организм, привыкший к ним, без них уже обойтись не может. Но вот камешки...

Практической пользы – никакой. Ноль. Не будем учитывать применения некоторых камней в технике, как, скажем, рубиновых крупинки в часах и алмазной крошки или мелких алмазиков для технических нужд. Ведь не за это же ценятся драгоценные камни, да и цениться они стали задолго до их практического применения в технике, все эти изумруды, рубины, топазы, аметисты, александриты, аквамарины, гранаты, опалы, агаты, сапфиры, бирюза и, наконец, конечно, алмаз.

Да, драгоценные камни красивы, особенно после необходимой обработки, огранки, оправы, но все-таки непонятно, почему миллион за один камешек. У каждого крупного алмаза (у рубина тоже) своя судьба, история, свое имя. Их крадут (при возможности), за них убивают, им приписывают таинственные силы, о них пишут романы. Так вот условилось человечество, что камешек должен стоить миллион. Интересно, что на южно-африканских алмазных копях, где каторжным трудом трудились десятки тысяч африканцев, хозяева разработок не могли объяснить туземцам, зачем нужны эти камешки и почему они дорого стоят. Объясняли, что они излечивают болезнь, которой болеют только

белые люди. Другого, с точки зрения здравого смысла, объяснения придумать было нельзя. Неграмотные, но здравомыслящие африканцы не могли бы понять, что эти камешки ценятся не за что, а просто потому, что человечество играет в камешки.

* * *

У кого-то (у Гончарова?) хорошо сказано, что нужно прожить четыре "времени года". И правда, в жизни человека (если неизбежная смерть) можно выделить эти четыре периода: весна, лето, осень, зима. Но какова разница! Всё же после каждой календарной зимы мы предчувствуем, предвидим опять весну и, как правило, до нее доживаем, а после "этой" зимы весны уж не жди, не будет.

Праздник одиночества

РУССКАЯ КРОВЬ

Хлещет она красная, хлещет голубая,
Течет водопадом, журчит ручьем –
Пролитая ради обретенья рая,
И ради того, чтобы позабыть о нем.

Льет она без устали, льет непрестанно,
Бьет фонтаном, дождем струит;
Конь блед несетя средь алого тумана –
Плещет брызгами из-под копыт.

Неостановимо – мимо, мимо,
Льется веками – вновь и вновь...
В кольцах дыма, огнем негасимым –
Плещет и льется русская кровь.

ПАМЯТНИК

Ставят памятники под русским небом мгlistым –
Палачам, расстрельщикам, чекистам,

Эмвэдэшникам и красным комиссарам –
Стонет ветер по-над Бабьим Яром,

Плачет ветер над Кронштадтом и Тамбовом,
Всё по сиротам рыдает да по вдовам.

Над дымящейся донской золою
Ветер Октября надсадно воет.

А строители с упорством просто детским
Памятник творят вполне советским.

Со звездой вверху и красным флагом –
Над не уничтоженным ГУЛагом

Помяни их, Сыне Человечий,
Ну а мы за всех поставим свечи...

Лучший памятник – не камни и не плиты,
А молитва в память всех убитых.

* * *

Душа моя, свечка Божия,
Ты так хорошо горишь.
Все службы, какие положено,
Ты до конца отстоишь.

Искупай вину свою, грешница,
Жизни ночь обращая в Свет.
Пусть мир понапрасну тешится
в пучине лжи и клевет.

Пусть свеча души разгорается,
Пусть догорит до тла...
Пусть светом ее просветляется
Жизни падшесть и мгла.

Вот птица умолкла певшая,
И новая стала петь...
Погасла свеча горевшая,
Значит, время другой гореть.

О ЖАЛОСТИ

Мне не жаль Тухачевского с Троцким,
Не ввергает Бухарин в печаль,
А Воронского с Маяковским,
Если честно, совсем не жаль...

Мне не жаль Ярославского с Куном,
Но отвечу – только спроси,
Что жаль мне певучие струны
Марины всея Руси.

Ненавистны мне те, что над миром –
Мировой разжигали пожар.
Безразличны мне Блюхер с Якиром,
Но жалко крымских татар.

Ни Ежова не жаль, ни Ягоду,
Ни наркомов, попавших в барак,
Но жаль мне той части народа,
Что названа словом "кулак".

И жалко мне всех неповинных
Страдальцев этой страны...
А от тех – как от шавки – псиной –
Пахнет запахом смертной вины.

И жаль мне вдвойне "виноватых",
Тащивших свой крест на горбу,
Что против державных катов
На неравную встали борьбу.

Храм без главок рождает горечь,
И от книг сжигаемых – дым.
А э т и – за что боролись,
То и воздалось им.

Появлялись на небе знаки,
Содргнулась земная твердь –

Захлебнулись кровью собаки,
Ведь собакам – собачья смерть.

ВИДЕНИЕ О ЧЕТЫРЕХ КОНЯХ

*"Второе горе прошло, вот идет скоро
третье горе".*

Откровение Иоанна Богослова

С каждым днем День Суда всё ближе,
Время мертвым восстать из могил –
Только вижу я – снова конь рыжий
На российскую землю вступил.

А за ним, взметнувшим копыта,
Распиная земную твердь,
Конь блед попирает жито –
На нем же воссела Смерть.

Рядом всадник на коне белом,
Он приехал вернуть долги,
В руках его лук и стрелы,
И трепещут его враги.

И Твое пресвятое Имя
Я шептал, кару чуя спиной –
Ибо рядом со всеми троими
Мчался конь вороной.

И на нем, имеющий меру,
Ехал всадник, страшнее всех –
Ибо нашу сравнивал веру
И наш тяжкий Голгофский грех.

В грудь земную били копыта
Словно литавров медь.
И души за веру убитых
Воззывали – доколь нам терпеть?

И в гневе сжимались пальцы,
Так как время еще не пришло –
И новые сонмы страдальцев
Дополняли собою Ч и с л о.

Ибо кончилось время сева,
Было время платить и карать,
И семь чаш Господнего гнева
Земную кровавили гладь.

И кровавое солнце всходило,
И души измучил страх –
И Божьего гнева точило
Всех грешных стирало в прах.

И пал я как будто мертвый,
Ладонью глаза заслоня –
Ах, какой из них – первый, четвертый –
Растопчет сейчас меня?

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ

*Деревня – ни хлеба, ни соли,
Ни мяса, ни молока.
Лишь очи съедает до боли
Поблекшего неба тоска.*

Владимир Стельмах

Не родит земля четвертый год,
Словно мор прошел и разоренье.
Износился, обнищал народ,
Явственней заметно оскуденье.

Из разверстых хлябей льет и льет,
Верно, краны завернуть забыли,
И почти не веришь, что грядет
Тот, который в Правде, а не в силе.

И у встречных стал тяжелым взгляд,
недоброжелательным, недобрым...
Пьяный хлопец, как сто лет назад,
Хлещет лошадь по костлявым ребрам.

Всё у жизни точно на краю,
Всё тебе до одури знакомо –
В большевистском дьявольском раю,
Столь неотличимом от дурдома.

Кто поможет – Будда иль Аллах,
Или русский Бог в полях размытых?
Лишь кресты на ржавых куполах
Служат нам последнею защитой.

1990

ТРИ ОТРЫВКА

1

...Я видел – новая звезда
Зажглась на черном небосводе,
Не зная горя и стыда,
Не ведая о несвободе.

На черном бархате ночей
Горят рубины и опалы,
Таких мерцающих камней
У Богородицы немало.

Миллионы золотых колец,
Мечтающих украсить пальцы
Ей, Умилению сердец,
Ей, утешенью всех страдалцев.

Но тщетно жаждет мирозданье
К стопам Возлюбленной прильнуть.

Ей, страстотерпцев Упованью,
За Сыном тот же крестный путь...

2

...Ответа нет на скорбный зов,
Конь блед не опустил копыта,
И миллионами Голгоф
Земля российская изрыта.

Но Ангел Смерти вострубит
И гнев Господень над Россией
Пожарами заголосит
И пулеметной Литургией.

И эти бури грозовые
Ведут в былую высоту.
Последней нищенкой, Россия,
Вернешься ль к своему Христу?

3

...Воспрянь, Россия, наконец,
В день воскрешенья, столь обычный,
Когда исчезнет главмертвец
С исконной площади столичной.

Покуда мертвый не зарыт,
Следы заклатья не исчезнут,
И дух безумья всё царит,
В геенские не принят бездны.

И вечна русская тоска,
Горят распятья и иконы,
Итожат табели в ЧеКа
И на стволы, и на патроны.

Подсудная полна скамья,
И крест тяжел – нести нет мочи,
И кроет снежная скуфья
Руси заплаканные очи.

И траурным полна вином
Та бездна бездн, что нас итожит...
И разорен наш бедный дом,
И смертным страх неведом Божий.

1990

* * *

В сердце словно медленный огонь,
Я прошу – и мне дается сила –
И большая добрая ладонь
Лоб разгоряченный охладила.

Хлад на стеклах чертит вензеля,
Встречи жажду, но пока не время...
Что ж, душе, бесплодная земля,
Не приемлешь правды Божьей семя?

Вижу я – как – тенью от Креста –
Надо мной рука простерта Божья...
Сбудется еще моя мечта –
Прахом лечь у Твоего подножья.

1991

Владимир ГАЛКИН

Вот моя деревня

Жене моей, Вале

*Что-то вдруг закипают веки.
То в ледок меня, то в жарок...
Просто улица рóдная светит
На скрещеньи сугробных дорог.*

(Перед старой фотографией)

Не без дрожи в душе берусь я за этот рассказ.

Конец мая. Теплынь. Сумерки не сумерки, а так – пепел, около семи вечера. Я стою на скрещеньи двух московских улиц: Малой Андроньевской и Вековой. Первая – моя Андроньевка, она слева, сразу за этим домом, да и направо, вон туда, она тоже прослеживается, она длинная, по ней трамваи никогда не ходили, тишайшая моя, по Школьной ходили, а по ней нет. Вторая, которая прямо передо мной, уходит во тьму лип к Рогожскому валу – это Вековая, когда-то 3-я Рогожская. За плотные тенистые липки ее я зову моей "Унтер ден Линден". Липки тянутся рядами по обеим ее сторонам в две шеренги. Будто смотр моих войск. Нынче липа зацвела рано, лето такое, и в сухом уличном воздухе висит сладкий запах шестьдесят седьмого года. Я вам еще объясню, что это такое.

Слева под липами, подле угловой красно-кирпичной школы, где училась моя Валя, выглядят крошечные домушки-избенки под островер-

хими крышами, словно бабушкины лики под шалями, вон навес подъезда с чугунными узорами, потом заборчик, потом желтенькие двухэтажники. Москва любит именно двухэтажные домики и именно желтого цвета. Цвета разлуки и тихого помешательства. А дальше там все теряется в зелени. Кто-то в белом мелькает под деревьями. Не моя ли это девушка в белом или та, что теперь в голубом? По правой, для меня гораздо более интересной стороне, тоже все двухэтажники, два забора, прозор, а вон — гляди-ка! горит огонек! О, да то ведь был вино-автоматушка, родной наш поилец — дощатая дом-палатка с витринными окнами и четырьмя никелированными сосцами внутри, как войдешь — направо, и пристенные полочки еще там должны быть для постановки стаканов и блюдечка с лимоном и сахарным песочком. Неужели жив, родненький? Тут словно током ударило меня! Предчувствие фантастического чего-то, что сейчас произойдет, толкнуло сердце. Да как же, как же — дверь-то вон открывается, то и дело народы выходят. Жив ты, жив, ласточка моя! А ведь как хорошо пропустить бы сейчас стакашку-другую белого крепкого или тринадцатого нумера. Были, были такие портвешки, и по 20 копеек за 73 грамма, и по 20 копеек за 87 грамм. Только смотря какой портвешок. Три двадцарика — и вот твой стакан просится тебе в губы. Я даже облизнулся. Но ведь... это же нонсенс, ведь в 88-м году не может быть таких автоматушек и таких портвешков...

И собрался я было идти туда. Но это белое, что виднелось по левой руке, уже вышло на угол. Оказывается, это двое в белых рубашках, это не моя девушка, это двое молодых мужиков, они качаются, и они очень хорошо качаются, один больше, а другой меньше, и друг дружку поддерживают.

Мама! Не сплю ли я? Да ведь это же Толечка Поляков (который больше качается) и Володечка

Фомин, мои суседи дорогие по двору дома 9/28, что на Малой Андроньевке, что вот сейчас будет слева, через три дома, а я в ту сторону еще и не глянул. Ишь ты: замерли на уголку. Милые. Родные. Толик в штанину лезет, сикать хочет, у него это всегда так и в самом неподходящем месте и безо всякого времени, я помню. Он, бывало, прямо посреди Андроньевской площади мочился – так подпирало. Почки, вишь ты, хорошо у него работают. Слишком хорошо. А Володечка ему поверх штанины помогает килу найти.

Ощущение счастья, неслыханной радости, дикой эйфории, праздника какого-то так и охватило меня. Такого, клянусь, еще никогда в жизни не бывало со мной!

– Ребята! – кричу я и иду к ним, раскрывая руки, как распятый. – Толик! Володька! Вы ли это? Здорово! Узнали?

Ах, узнали, узнали.

– Вова! – заорали они и даже перестали искать килу. – Ты откуда? Как?

Толик с серым испытанным лицом, весь дергающийся и какой-то перекошенный, и Володечка с маленькой детской головкой – мы все трое обнялись.

– Ты, Толик, все-таки давай помочись сначала, только иди под липы, – сказал я и отвел его в легкую темень. Он бурно облегчался, а Володечка держался за меня и бормотал:

– Ну и встреча... ну и дела...

И Толик тоже бубнил:

– Ну и дела... во встреча-то...

Затем они как бы слегка протрезвели.

– А что, – спрашиваю, – автомат-то все работает?

– А как же, – отвечал Володечка. – Есесвенно. Всегда. И до десяти.

– Ну и пошли, я попою вас.

И мы закачались втроем, ибо Толечка все-таки еще сильно колебался, как мыслящий тростник.

— Одеты вы, как женихи. Ишь, белые рубахи, бруки, сандалеты. Франты, мать вашу.

Я счастливо смеялся над ними.

А там, где блистал огонек, там был все тот же автомат, который я покинул когда-то. То есть как "когда-то"? А сейчас я в каком годе? Автомат-то вот он, функционирует. Да будто бы не вчера ли я туда заходил?

Мы вошли, тростники. Во: всё по-старому, четыре алюминиевых соска выдавали иорданские струи (термин Венедикта Ерофеева). Я изумился:

— Вкус-то нормальный. Портвейн как портвейн. Белое крепкое. Бутылка поллитровая — рупь тридцать семь. "Тетя Клава". Без вкуса жженой пробки. Ну прямо как в шестьдесят, слава ему, восьмом году, когда мы поставили чехов на колени.

Они переглянулись:

— А мы в каком? И никаких таких чехов никуда не ставили, я газеты читаю, — отвечал мокрыми, как бы крашеными губами веселый Володечка. И Толик вспомнил:

— Ну да, мы ж и есть в шестьдесят восьмом.

— То есть как... ребята... как это в шестьдесят восьмом?

Я ни хрена не понимал.

— Да уж вот так. В шестьдесят восьмом. В мае. Вот число не помню сегодняшнее, но знаю, что пятница.

— Пардон, — говорю, — а где ж я все это время был?

— Не знаем, Вовчик, не знаем. Ты ж умер. Тебя ж мы всем двором хоронили.

Чудовищно, но они не удивлялись этой чуши: что я-де когда-то был, видите ли, умершим, схороненным, даже, может, посхимленным, а теперь вот, в 88-м, мать его, появился к ним в 68-й...

Господи, Царица Небесная, дай мне силы понять все это!

— В руки, в руки себя взять надо. Потихоньку сейчас все поймем”.

— Та-а-к. Значит, хоронили. — Я прищурился. — Нуте-с, и как это было? Вы давайте, давайте, выкладывайте, только в глаза смотреть, в глаза! На лампу и в глаза! А я пока еще разменяю трешницу и вам надою по стакашку. Теперь я им налил ”тринадцатого”. О, то был нектар, влага из влаг. Настоящий ”тринадцатый”, без дураков, цвета чайного заката над Андроньевым монастырем в апреле, нежного запаха, доброго вкуса. Как говаривал Ноздрев: настоящий бургоньон. И хозяйка за стойкой, что меняла двугривенные, приветливо и узнающе улыбнулась мне. ”Как же, — думаю, — как же, Зинаида Васильевна, тетя Зина, она, роза с кладбища. Помнит. Чудо, чудо”.

И вот мы за ”бургоньоном” и они мне выкладывают:

— А как было? — морщит лоб Володечка. — Да в том году и было. И тоже в мае.

— Так-так-так. Ну и...

— Ну да, — добавляет Толик, — в мае. На мотоцикле ты разбился, на своей ”макаке”, ты ее только купил...

— Ты это, как ее сворачивал у монастыря с Костомаровского моста на набережную, неаккуратно, видать, ехал, быстро, а наперерез тебе панелевоз шел, он же десятиметровый, он же неповоротливый, а у тебя тормоз задний плохо держал, так милиция после говорила, ты об него и ткнулся, и понесло тебя прямо по откосу, по газону, к Яузской ограде, ты — об ее... Кровищи было, мозги, говорят, того...

— Не, — вставил Толик, — мозгов не было. Но кровищи! Песком присыпали после, а за тобой ”скорая” приехала.

"Точно, подумал я, тогда без шлемов ездили, башка и впрямь могла расколоться. Да ведь вот же и шрам у меня на затылке".

- ...народу собралось. Твоя Валюха туда без памяти бежала. С тобой и поехала в "скорой", но - в Лефортовский морг. В машине ты кончился.

- А почему это ты, Толик, всё это мне так спокойно рассказываешь, а? - строго спросил я у него. - И ты, Володечка? Это вы мне не фильм какой-нибудь, дураки, пересказываете? "Опасный поворот"?

- А мы не знаем.

- Та-ак. Ну, а где же схоронили, как, при каких обстоятельствах?

- Весь двор тебя провожал, весь в цветах ты лежал, очень Татьяна Иванна плакала, очень тебя она любила, ну, а Валюха - ужас, окаменела вся, только в лицо твое искрошенное-склеенное глядела...

- И Белиха плакала, твоя врагиня. А хоронили на Ваганькове, там же у вас, кажись, могила Валюхиных родичей. Вот так всё было.

И они оба вздохнули и выпили еще по стакану.

- Мда. Интересно бы съездить на свою могилку, глянуть, прибраться, цветочков положить, дернцу обложить. И мать моя была?

- И отец. И твой брательник. И тетки какие-то твои.

- И поминки были?

- Ессесно. Как у людей. Здесь вот и поминали.

- Ну уж вы, конечно, нажрались на радости, жеребцы?

- Ессесно, - со смехом отвечали они.

Мы двинули еще по стакану. На помин, так сказать.

- Ну дела, - ребята, дела. Не ожидал...

- А вить ты, Вовчик, - сказал Володечка, - и правда - старый. Вон, весь седой аж. Скока ж тебе теперь?

- Полтинник, ребята, во скока.

- У. А мне еще тридцать четыре, - сказал Володечка.

- А мне тридцать, - сказал Толик.

- Молодые вы, юные, - вздохнул я. - Впрочем, я тоже юный. А вот вас не удивляет, что я, после двадцатилетнего перерыва, снова с вами? Я же был-то моложе каждого из вас - а теперь старше. Не удивляет, не заставляет пусть не упасть в священном трепете, но хоть просто изумиться?

Странно, они были равнодушны.

И тут еще одна важная, страшная, но и прекрасная мысль пронзила меня:

- Что же, и домик наш жив, вы скажете?

- А чего? Стоит.

Я задрожал. И перед следующим вопросом выпил сразу два стакана "белого крепкого" вместо "тринадцатого".

- А Валя? Моя Валя?

- Ессесно. Дома она, мы сейчас видели.

- Дети... - пролепетал я. - Им должно быть... Господи!

- А твоя маменька их сегодня забрала к себе.

- Черт побери, так скорее домой!

Когда-то от наших ворот до двери вино-автомата было сто восемьдесят шагов. Теперь я их не шел, а плыл в обмороке. Да еще держал Володечку мотающегося да Толика с его вечным исканием члена в штанах.

А под темными липами сигали воробьи, они взрывались целыми серыми облачками прямо из-под ног, нежно шумело сплошное "море голосов воробьиных".

А вот и она - моя невеста, моя старая милая Малая Андроньевка. Я уж подзабыл ее. Ведь как-то лет десять назад тут было все перекурочено, ползали танки с "бабами" на стрелах, добивали все, что только можно добить, пощадили лишь Школь-

ную улицу, на месте нашей избы вознесли двенадцатиэтажную громаду для старых элитчиков...

Да. А вот я вновь вижу забор (ах, в Москве заборы! да без них москвичу жизнь не в жизнь!), за ним двухэтажник, а за ним... моя деревянная изба красно-бурого цвета, за ней кирпичные столбы ворот с фигурными головками и коновязной тумбой у тротуара, железные ворота, всегда закрытые, зато калиточка всегда открыта, потому что без ставенки, а за ней последний на углу библиотечный двухэтажник нашего же двора, с одним номером 9/28. Сейчас, сейчас, пока мы еще не доплелись, я посмотрю на ту сторону улицы и скажу: она и тогда, двадцать лет назад... то есть сейчас... или тогда?.. почти не имела жизни, всего пять-шесть домов по ней было, выступающих на красную линию улицы, остальное было проломы, провалы, прозоры, черные промежутки в нижней челюсти улицы (да мы сами растаскивали этих обреченных в огонь нашей печки в начале шестидесятых), да, а вот моя сторона — это уже маленький Бродвей. В избе три первых окна закрыты, это Володечкины, а наши — все нараспашку. И кого же я вижу в окне? Она, она, моя королева, царица моя, владычица души — женушка, Валентинушка!

— Дитя мое! — громким шепотом говорю я ей. — Жена моя! Это я. Я это. Встречай же, сердце.

Она побелела и бросилась в глубь квартиры.

Но первую в воротах я встретил не ее, а — Шурку Полякову, Шурика нашего, супружницу Толика, толстенку и разбитную бабенку, с рыжими кудельками на голове и всю в крупных конопушках, в затрапезном платье и топталах на босу ногу. И уже она прицелилась схватить скрюченного, изможденного своего Толечку за горло... (У них ведь как? Если Толик в силах, даже и пьяный, то гоняется за ней по двору с топором, "зарублю стерву!", а если он ослабевши, как сейчас, то Шурик

норовит его душить: впрочем, они любят друг друга, просто любовь их лежит в другом измерении, она трансцендентальна.) Но вместо Толика я принял ее в свои объятия. "Ты его не убивай, Шурик, — бормочу я ей, — он за меня пил, за мое воскресение, а вот дай лучше я тебе все твои конопушечки перепечелую!" И так мы и вдвинулись во двор.

А у пристройки милиционера Волкова на мне повисла моя дорогая, моя любимая... Она ничего не говорила, а только плакала. Тут и еще встренулись две Вальки — Белова (из уголовного корпуса) и милиционерская, Волкова.

— Батюшки! Володька! Какими судьбами?

— Счас, счас, граждане, все я вам объясню, а вы созывайте весь двор за общий стол.

А пока Симка и Шурка разбирали своих пьяных мужей, мы с женушкой двигались к нашему крыльцу.

Сейчас, сейчас я продолжу это странное повествование, но всё же, всё же: почему *никто не удивляется*??? Ведь они же, черти, хоронили меня...

Все это я вопросительно шептал и моей Валеньке, но она почему-то *ничего* не отвечала. Боже мой, какая же ты худенькая, в какой дешевой кофтенке и плиссированной юбчишке, какая у тебя еще попка-то неразвитая, но зато какие роскошные волосы, и все копешкой на голове, эффект не умеешь выставить, все какое-то сиротское, и очечки — одно стеклышко так всё и не целое... Господи, не дай разреветься в три ручья! В избе, в избе, ласточка моя, поговорим.

И вот наш палисадничек. И вот в три высокие ступешки крыльцо с одним перильцем для малышей, что варганил дедушка. Между второй и третьей ступешками здоровенная щель, вечно туда чего-нибудь западало, не вытацишь, но зато однажды я не поленился, разодрал доски и насобирал, между прочим, на "белое крепкое".

Странно... Да что странно-то? А вот то странно: как глядит на меня жена, она что-то понимает, о чем-то догадывается, у нее и глаза такие, знаете... ну как живые смотрят на мертвых. Я целую их, она плачет, а чего плачет-то, Господи? ну чего ей плакать, дура, если я вот он, живой?

Мы садимся на тахту, с горем пополам купленную нам моими стариками тахту в первый год нашего супружества. И я начинаю говорить...

Нет, сперва я должен осмотреть свое бывшее жилье, колыбель мою, *гроб* мой.

— Я посмотрю покои наши, — говорю жене, — лари, сундуки, я сейчас... ты подождешь?

— Конечно, — тихо говорит она белыми губами.

Я выхожу на крыльцо. А по двору уже двигаются соседи, вон Татьяна Ивановна, старушка, в пояс мне по-старо-русски кланяется, по-московски. Шурик вопросительно смотрит на меня:

— Небось, выпьем со встречей?

— А как же, Шурик, — отвечаю я. — Только всех зови, всех, весь двор чтоб был. Сегодня ж воскресенье. Ставьте столы посередь двора, князь выкатывает бочку меда!

— А деньги?

— У меня вот тридцатка, от получки осталось, хватит? Бутылки три, наверно. Остальное добавите.

— Да что ты! — изумляется она. — Да на тридцатку обопьесси.

— ???

— По два восемьдесят семь — это же...

Она аж задохнулась.

— То есть как это... по два восемьдесят... Что говоришь-то!

— А по сколько ж?

Тут меня осенило. Да ведь это же шестьдесят восьмой годик-то!

— Ну-ну, действуй, родная, пошли кого потрезвей.

А Валя моя на крыльце смеялась нашему разговору.

Да, так вот – дом наш, изба, ковчег мой... Стара ты, стара. Ишь, какая седая древесина. Мышками в сенях пахнет. Pokосившийся, с наклоненным к одному углу полом, сухой до терпкости тамбур, сени наши. Здравствуйте, дорогие. Навес еще цел. Слава Богу. На двери – она такая, она толстушая, помню, снимали ее зачем-то, так втроем еле удерживали, толщиной в ширину ладони – на двери, говорю, цепка чугунная, коня можно приковывать. Здравствуй и ты, береглица наша от рогожских татей. На почтовом фанерном ящике буквы мной когда-то намалеваны:

ДЛЯ ПИСЕМ И ГАЗЕТ
ГАЛКИНЫМ

В. М., В. И., К. В. и П. В.

"К.В." и "П.В." – это мои пацанята, Котя и Петя. Одному почти четыре должно быть, а другому два. Валя усмежается, следя за мной.

– Валь, а что ж, они действительно такие?

– Какие?

– Ну это – маленькие?

– А какие ж еще должны быть?

Я аж крикнул.

– А я-то – старый? Во, голова седая?

– Вроде да... Но какой-то ты... тот же... вроде...

"Вроде".

– И где ж малыши?

– А дед их повел в Сад Прямикова на каруселях кататься.

Вот два хода: на чердак и в чуланчик. Ну, ладно, мы туда после заглянем. Окно в кухню из сеней забрано опять мощными, в тон той цепочке, прутьями. Это тоже хорошо, предки правильно думали...

Это я всё вслух бормочу и кланяюсь, кланяюсь, а жена смеется.

Вы меня не торопите, я еще долго буду свое старье перебирать, это мои пеленки, колыбель моя, как уже говорено.

Ух, кухонную дверь еще тяжелее отпертыть, чем сенную.

Ах ты, моя кухонька! Ты все та же? Вот-те на!

Ну, а что же – зреют времена, и хоть поменялись фикции времен, дайте все же мне отведать макарон...

Печища-то, печища, печечка – аж во всю кухню. С трещиною в копоты. Это я когда-то сдуру попробовал протопить ее углем. Кирпич не тот. А в заду кухоньки аппарат АГВ-1 стоит, такой пузатый самовар на ножках. И ты все тот же, и ты. И сортирчик приставной. Через него я за соседкой Люськой подсматривал, как она штаны сымает.

Газовая плита. Здравствуйте! Над тем окном, что в сени, полка с моей бритвой и помазком, мыльце сиротское. Справа от плиты стол, столик, столище – милый урод с кастрюлями. Эва, моя кухонная утварь сгодилась бы в музей жилища советских людей времен культа личности, а также и эпох волюнтаризма и стагнации. Будто о стаде каком идет речь.

А вот дверь в нашу первую, маленькую комнатушку, где мы с женушкой начинали лепить деток. Кровать самодельная с деревянной рамой и железной сеткой. Сейчас всё это невинно застелено матрасиком, на котором еще Валина бабушка спала, и одеялкой, в которую Котю завертывали в раннем младенчестве. А сетку ту отец мой, дедушка наш, вырубил на стройке из арматуры. Рукодельник был папаня мой, золотые ручонки. Значит, вот это дедушкино прокрустово ложе к окну переставили. Дело, дело. А мой письменный стол и где же? Валя говорит, что в большой комнате. "В БОЛЬШОЙ КОМНАТЕ". Как это звучит! Счас, счас сходим в гостиную, я пока только еще тут поглянусь...

Книжная полка на стене: будто кто восточную лестницу на эшафот рубил – топорная (в высшем смысле слова) работа! Ее после Эдмунд Иодковский к себе на Хиву уволок, извозчика хотел нанять. А что – у нас здесь извозчики все шестидесятые годы ездили, ломовые, разумеется, так мы и первый свой холодильник перевезли с Тулинской улицы. Книжки, книжки... Первое издание Платонова. Зощенко 1959 года издания. Двухтомник Хемингуэя. Не, не любил я его, хотя и держал. Блок "Лирика". Это – серьезный автор. Сергей Алексанч – голубые томики, солнце мое...

– А что, Валюнь, Иодковский-то заходит?

– Нет, после твоей смерти что-то подзабыл...

Сказала она это "смерти" и рот разинула. Я тоже смотрю. Волосики на голове легонько так поднимаются не поднимаются, но как бы... струятся, ровно рожь под ветерком.

– Тэ-э-эк, – опять крикнул я. – А Иван? Демон?

– Был два раза, но он же теперь в Венеции, поступил, говорит, в Академию Черной и Белой Магий, на магистра целит. Марк Ляндто тоже был. Веремьев на севере где-то. А еще кто? Вроде никто.

– Вот как сироту забыли, – тихо поскорбел я. – А Мишака, князь Дельский?

– Ну, про него я не говорю, часто забегает, говорит, что на Ваганьково к тебе раз в месяц обязательно.

– Ну, соврать-то он недорого возьмет, а что все-таки не забывает – Богородица его наградит. Он ведь тоже сирота. И хоть иной раз я бы, кажется, ему яйца отрезал, но – люблю, люблю...

Ну, как говорится в старых романах, перейдем в гостиную.

Да, вот из кухни вторая, но уже двухстворчатая дверь в анфиладу из двух комнат. Тут опять тамбурок и две двери налево и направо. Ну, правая даже не комнатка, а шкатулка, светелка для

наших малышей. А что? Богато мы жили, три комнаты с кухней и приставным сортирчиком, когда пол-Москвы в полуподвалах ютилось да с клозетами уличными. Нет, мы хорошо жили... То есть живем. У малышей стоит гардероб под потолок и две кровати. А светло, а чисто! Вот бы в этой келье безгрешным и закончить земной путь.

У, какая большая гостиная! А пол тоже наклонен, как в сенях. Поклон тебе, моя дорогая. Посреди комнаты два горшка детских. И это хорошо, и так тоже должно быть. Хорошо бы только не с мочой.

Вот она – наша тахта, из муромских лесов, привольно раскинулась у правой стенки, много греха она выдержала, спасибо ей и поклон поясной. А у предыдущих жильцов, Талановых, на чье место мы в 1966 году перебрались, тут стоял комод. Комодище. Со скатерками, со слонами, как в лучших домах. А теперь вот – тахтушка алого бархата обивки. Рытого. Бархата. Так лучше звучит. Как, Валюнь?

Слева в гостиную та самая печища из кухни выперла. Бок ее белый, теплый, как у коровы. Особенно, как, бывало, в зимние стужи натопишь ее останками какого-нибудь деда-сарая с той стороны улицы да потом пол сосновый вымоешь с дрезвой, да просушишь, да на угли под конец еловую веточку для аромату сунешь – ах, бабушкины сказки, да и только! Тут только и садиться на пол у самого чрева печного и описывать полеты с Иваном-Демоном...

Не поясной поклон тебе, печь моя, а – до земли, темячком об доски, во как! Затылочком об штукатурочку.

Стулья гнутые. Венские. Нет, не венские они теперь, как я вижу, а энские, стульчаки-самопады. У одного можно сиденье вынуть и горшок поставить.

Стол круглый. От одной маманиной подруги

через всю Москву везли с Валюшей, в метро не пускали, смеялись. А он – вот он, и широкий, и прочный, и раздвижной. Чайная посуда вон расставлена, женушка чай только что пила. Наверно, когда я с нашими мужичками из автоматушки возвращался. Чайник – ровно из приюта какого, синий, чиже-лый, к нему слово "тяжелый" не подходит. Ручка деревянная обуглена.

– Он не с гражданской войны, а, Валь?

У стола справа еще шкафчик, черный, мореный дуб – его тоже только всемером двигать. На столешнице его бутылка "Шартреза" початая.

– С кем пила? – строго спрашиваю, как на картине "Строгий муж" какого-то нашего русского художника. И с этими словами уронил я ее на тахту и долго-долго, тихо-тихо мы так пролежали. Всё она мне выплакала. А я... Я пока ничего еще не мог объяснить, если и понять-то ничего не мог.

Глядели мы глаза в глаза.

– Кто ты? – шептала она. – Откуда ты?

– Да Господь с тобой, как это "кто"? Муж твой, Володя. Не похож разве?

– Похож. – Она качала головой. – Но ведь ты умер...

– Ну, предположим.

– Но я тебя помнила, я тебя всегда любила.

– Да едрейки-ножки, вот же он – я. Мало, что ли?

Она вздохнула.

– Нет, так не бывает.

– У, не то еще бывает. Но вот слушай, я примерно расскажу тебе, как и что со мной было после похорон. Примерно, понимаешь? Я не уверен, что так было...

Жил я где-то. Где-то. Понимаешь? И вроде ты была рядом. Но я не видел тебя, а чувствовал. И что-то вроде бы еще было...

Так. Танки вошли в Чехословакию... Цены

расти начали, вино в ужасную гадость превратили, водка дороже и раз, и два, и три... Брежнев правил-правил, воры при нем пухли-пухли, кровью наливались-наливались... Всё, всё поганилось, серело, глухо стало, душно, вместо людей призраки двигались... Из могил по ночам мертвяки вылезали... Назов партии... Ну много-много чего было.

Все семидесятые интеллигенцию как пыльный мешок выбивали об угол, труха доисторическая летела из нее... Генеральный еще конституцию написал, брови у него козырьком сделались, с мошонки, видать, пересаживали, орденами до яиц обвешивали, президентом на довесок посадили...

Тут время такое пришло, партийные куклоиды и вояки давай вымирать: и маршалы Гречки-Вахмистренки (заговор у их был, перестреляли их на лестнице лубяночники, после на холоде трупы держали, чтоб хоронить в разбивочку, а то очень подозрительно: чего-то сразу у всех танатос?), и Пельше-Кощей Бессмертный подломился, и Суслов чахоточный, и Сам, наконец, туда же сошел, а уж гнил давно...

За ним еще царьки по малу сидели, но тоже гнилые какие-то: и Андроп-Циклоп (помнишь, венгерский усмиритель?), и Черненко-Снежный Человек – все под кремлевскую стену посыпались, сплошное кладбище там устроили...

Уж потом Царь-Горбач с руною на лбу утвердился, да крепко ли? Рты разинули, крамолу пустили, прелестные речи говорить зачали, а еды не стало, а бандитизм попер черной тучей... Во как было. Не веришь? И я не верю. Кажется так, что ничего после 67-го не было, отпраздновали пятидесятилетие Софьи Васильевны – и встала История.

Нет, без нас с тобой, любя моя, не должна была быть история...

А сегодня, понимаешь, иду почему-то по Большой Рогожской и вдруг возле детской поликлини-

ки-теремка голова закружилась, ветер посыпался, аура какая-то, как у эпилептика, прислонился я к кудрявым кирпичам и... Постоял. Прошло. Но! Понимаешь, были у меня последнее время сны, Москва старая снилась, да всё в цвете. То, что видел лишь на фотографиях, вдруг являлось живым. Новые дома неизвестно куда исчезали, асфальт проклятый тоже, старые домишки, даже полные ансамбли, и также церкви исчезнувшие являлись на своих старых местах, и булыжник мостовых, и тумбы коновязные, и сам я шел вроде бы слегка пьяненьким мастеровым в разбитых сапогах по булыге.

И вот так и тут, только наяву. А наяву ли? Все вижу целое, старое, все дома Хивы передо мной. Вся Вековая, как была... Что за чертовщина? И пошел я, изумленный, и пошел... И автоматушка живой, и огонек над дверью, и Толечку с Володечкой встречаю, и пьем мы, и – вот моя деревня.

– Да-а... – шептала она. – Ну и дела...

– Так спрашивается: куда же вы... Нет, я ничего не могу толком выразить. Вы так и жили после моей смерти, и год прошел и ничего, никаких катаклизмов не произошло? А я, я-то где эти двадцать лет прожил, мне ж пятьдесят, по мне видно? Нет, ты мне честно только одно скажи: в августе шестьдесят восьмого (Господи, да ведь это же сейчас! да и августа еще нету!) наши танки в Чехословакию входили?

Чудно, нехорошо смотрела она на меня.

– Ну ладно. А где Домовой-то наш. Раушка, Дедок домашний? Жив? Надо бы и с ним поздороваться.

Я пошел в нашу первую, маленькую комнатушку, где мы с Валюней начинали счастливую, нищую, молодую жизнь. Я встал на колени перед печкой-голландкой (и она жива!), открыл заслонку и позвал: "Раушка, Дедушка, где ты? Это я, Вова".

Но молчание было мне ответом. Еще и еще звал я его. Нету, не выходит. Э, какие дела. А ведь он мне, бывало, помогал потерянные вещи находить. А так вот: завяжу веревочку вокруг ножки стола, приговору: "Домовой, Домовой, поищи-ка со мной, мне не сыскать, иди помогать". И - иду наобум, просто руки протягиваю, шарю по вещам. Бац - оно и нашлось! Где и рядом, да не видел. Так нашел четвертной, от Валюни затыренный, и где? На печке в кухне. Спьяну затырил и как не сжег. С паспортом тоже так было. С бутылками.

- Слушай, Володенька, - говорит мне жена, - тут что-то не то, раз Он не показывается.

- То есть как *не то*?

И опять смотрит как на мертвого. Аж грохнул я ладонью по гофрированной жести печи, заругался:

- Ах, едришь вашу тетю! Так докажу, что жив! Что это за шутки такие!

- Слушай, а чего у нас на закуску есть?

- Капуста есть квашеная, в погребе стоит целая кастрюля. В холодильнике колбасы немного. Ты весь двор созвал. Как быть?

- Ладно, ладно, я Шурику ведь велел и закусу припасти, да и каждый, думаю, свое вынесет. Что ж мы за голь такая, чтоб чего-нибудь не вынести? Ну, пошли на улицу.

Отперли мы щеколду, вышли на крыльцо.

Мама! А там уж вот такой стол снарядили! Составили четыре столика кухонные (я их знаю: Шуркин, Симкин, Белихин и еще чей-то), прямо на траве стоят, у самой беседки, прямо получается славный достархан. И приоделись, я говорю, бабешки-то наши: Шурик в белом сарафане с вишнями, в босоножках. Симка в расцветастом таком колхозном крепдешине (это теперь крепдешину нет, а раньше главная мечта и колхозницы, и горожанки - крепдешин). И уже ставят разное там питье и

едово, и режут, то, се. При важном деле. И скамейки у дворничихи Райки взяли, Генка их расставляет. Я еще сходил, наши гнутые стульчаки принес.

— Кто ж за водкой-то ходил? — спрашиваю Шурку.

— Генка. А мы, Володь, между прочим, тоже добавили. Вона скока и водки, и вина.

Точно, в беседке, обвитой вьюнком, стояли ящики: бутылок двенадцать "особой" (у нас тут "столичную" не уважают, горечи той нет), тринадцатого нумера портвейну бутылок шесть, да водичка фруктовая "крем-сода". Валя моя подключилась, режет сало, колбасятину, сырок. У Шурки уже почти картошка сварилась. Это ее любимая еда: отварной картофель с малосольным огурцом. Если я ее когда-нибудь забуду, то уж дымящуюся вареную картофелину с Рогожского рынка с огромным малосольным огурцом никогда не забуду, и они тут же мне напомнят Шурку.

Народы по двору шляются, оживленный галдеж стоит, все возбуждены: как же, сейчас пьянка будет всем двором. Такое у нас не очень часто бывает, но все-таки бывает. Бывало. Бывает...

Здоровкаются со мной, в лобик, в плечико, как царя, целуют.

— Здравствуйте, Татьяна Иванна! Как здоровье ваше, как ноженьки?

— Все плохо, Володь, все болят.

— Здравствуйте, Сергей Спиридоныч! Как она, милицейская служба?

— Здравствуйте, Валентина Егоровна! (Это — Белихе, тоже сравнительно молодой бабе, лет сорока. Боже мой, да ведь я сейчас старше ее на десять лет, а был, елки-моталки, моложе на десять!) Не сердитесь на меня за сыночка вашего?

— Да ну, Володь, что ты. Сам-то как?

И добавила смущенно:

— А вить я в милицию на тебя тогда не писала заявление.

Когда? Для "тогда" это значит вчера, прошлый год. Господи, почему же они не удивляются, говоря с мертвецом. А все-таки, честно скажу, лица у них какие-то были не того... пепельные, что ли... Не знаю, не знаю, но временами мне казалось, что я движусь вместе со всеми во сне.

И с Симкой (Володечкиной женой), и с Люськой (матерью-одиночкой, что живет с Володечкиной семьей в одной половине нашей избы) я перецеловался. А с Генкой – он у нас во дворе самый сурьезный мужик (на почтовом ящике главный инженер) – ладошками пожались. Степенный и самый тверезый, бывало, у него и занимал я деньжат, вот он и бегал только что за горючим.

Тут гляжу: батюшки светы! Колдун Гриша пришел и Таня-богородица. О, это местные антики. Гриша на Распутина похож. Тоже сухой, сильный, сильное лицо, только согнутый от радикулита как палец, бороденка из ушей спускается седым веретом, глаза серо-стальные, страшные, пальцы длинные, все движутся, все он чего-то бормочет. Нет, он действительно колдун, из 12-го дома он, поколдовывает по дворам, заговаривает, напускает, отпускает, привораживает, дует – всё там. И выпить между тем большой недурак.

– Как, Гриша, – спрашиваю, – поколдуешь мне, как выпьешь-то?

– Чет-нечет... чет-нечет... – шуршит он легкими и крестит меня по-диавольски: от пупочка к лобку и по плечикам слева направо.

– Ну спасибо, старый, заколдовал. А ты что, Таня?

Ей лет тридцать, дурочка она, зимой и летом в платишке, чуть не босиком, мордочка с кулачок, но глаза синие, ласковые, на ручках у нее, очень маленьких, прямо аристократических, куколка запеленутая, качает ее. Таню любят, кормят ее, ночует у всех понемногу, богородица она местная, так

сама себя называет, только язык у ней плохо воро-
чается: "бе-е-е-ди-тся". Она на наших жителей на-
катывает, спасает кой от чего: от зуба, от вереда, от
беззачатия и проч.

- Му-му, - говорит.

- Ну, "му-му", так "му-му", а вот садись-ка
вот сюда, Танюша, к беседочке, счас тебе нальют
стаканушечку.

Давай, давай, двор, рассаживайся!

Все. Сели. И колдун с богородицей сели. Еще бы
сюда Раушку нашего посадить - эк была бы кан-
пания! А набралось-таки восемнадцать человек,
включая Симкиных, Люськиных и Генкиных паца-
нят. Ну, эти-то кваску попьют. Из двух ведерных
кастрюль Шурка нам картофь отварной раздает,
малосольные огурцы. Генка на том конце стола, а я
на этом разливаем вино кому во что собрали: ста-
каны граненые, лафитники, чашки чайные, Татьяна
Ивановна четыре фужера принесла со старушками
мальвазию, то бишь тринадцатый номер, попить.
Четыре старушки-бабушки с нами. Я с Валею сажу
на торце стола, мы как венчанные. Жених я. Она
Невеста.

Встаю. Со стаканом.

- Ну, здравствуйте еще раз, дорогие! Здравст-
вуй, Андроньевка! За вас за всех! Будьте здоровы!

- А тост, тост! - закричали Володечка с Толи-
ком. Толик-то еле держится, Шурка его поддержи-
вает, чтоб со скамейки не свалился.

- После тост.

Вот и выпили. Вот и скушали. Первое жжение
нутряное уняли.

Татьяна Ивановна - интеллигентная, верующая
старушка - просит:

- Нет, Володя, давай все-таки настоящий тост,
ты же умеешь, начитанный.

"Начитанный".

- А тост за мою родину, за мою деревню, зна-

чит, ненастоящий? Это глубокое заблуждение, друзья мои. Ин ладно, тост, как я вас понимаю, должен быть за меня, за мое возвращение в отчий дом, так?

– Да, да! Именно так! За возвращение блудного сына! – вскричал стол.

– О, это славно сказано: за возвращение блудного сына.

Как же это случилось...

– Мы знаем... – заныл Толик, зачем-то помешивая ложечкой водку в стакане.

– Нет, Толик, я всё вспомнил. Вот как было. Когда я сворачивал с Костомаровского моста на набережную мимо монастыря, меня вдруг ослепило сверкнувшее на солнце золото креста Спасской церкви. Оно и было причиной, что я не заметил тоже поворачивающего, но раньше меня, здорового панелевоза, и совсем не в тормозе было дело, хотя и плохие они у меня, но ехал-то я медленно. Я попал ему в колесо, он же занял собой всю мостовую. Зачем я глянул на крест? Не знаю. Видно, КТО-ТО звал меня. В тот же миг вылетел я из седла и полетел под откос, тут до края было недалеко, и я сразу влупился в электрический столб прямо над головой. И так показалось мне, что взвился я метров на десять к небу. Я видел кувыркающийся свой мотоцикл, смачно раздавил его грузовик, и свое несчастное, распластанное тело с расколотым черепом, из волос выдавился белый мозг с кровью...

Когда я воспарил, то снова увидел пылающий крест, он костром разросся в полнеба, жаром дохнуло на меня, а огонь вдруг превратился в голубое лицо Богородицы, Царицы Небесной, и Она протянула ко мне длинные голубые ладони, и я утонул в них.

Не смейтесь, не смейтесь, братья и сестры мои, но я услышал ЕЕ голос, словно бы вздох моря: "Ничего, миленький, ты спасен, ты еще вернешься сюда".

И вот – я вернулся.

Выпьем же за Спасительницу нашу, за Нечаянную Радость, за Матерь Божию! Конечно, за Нее пить не надо, а молиться Ей, но ведь мы молиться не умеем, не молиться нас учили, а пить. Но Она простит нас.

Все снова выпили, но чувствовалось, что тост мой им был непонятен и не понравился. Кроме, естественно, старушек. Им понравилась Мать Христова с голубыми руками.

Однако старичок, бывший наш домоуправ Сергей Сергеич (он мне унитаз новый поставил в шестьдесят четвертом году), с железными очками без стекол на носу, в наступившем молчании спросил тихим, жестяным голосом:

– Но все-таки, Володя, г д е ты жил? Двадцать лет, говоришь.

А уже сильно за вечерело. В дымно-розовом небе повизгивали носящиеся над дворами стрижи. Старые тополя склоняли к нам шелестящую листву, их первый пух плавал в воздухе.

– Да, Володя, так зачем же тебя, Богородица забрала к себе, если вернула? И братъ бы не надо было, – так поддержала Сергей Сергеича Татьяна Ивановна. Она верующая, я уже говорил, она про религию все знает. – Ведь о т т у д а не возвращаются. Мы ж тебя хоронили. А душа...

– Сам не знаю, драгоценные вы мои Татьяна Иванна и Сергей Сергеич. Но ведь это было. Я был убит. Вознесен. И вот – вернулся. Так вкратце.

– Не хочу Богородицу... – ныл Толик, лежа головой в тарелке с капустой. – Это не то... я не так хотел...

Пан, муж Белихи, видный атеист нашего двора, мужчина с обиженным лицом петуха, которому оторвали гребень, тоже потребовал рассказать про "загробную жизнь".

– Ну, – "загробная", скажете тоже. Но вопрос

резонный, — отвечал я, — с ума сойти, а не вопрос. Но перед тем, как ответить, надо выпить.

И опять мы выпили.

— Да, где-то я жил. Но если сейчас я все вижу ясно и остро, вот вас всех, хороших и пьяненьких, то то я вижу, как царство теней. Вроде да, была жизнь, я все Валюне уже рассказывал, в августе этого года танки входили в Прагу, режимы всякие (вы-то еще живете в славное времечко) были ужасные, ужасная водка и цены на нее... Вот, Шурик, ты сама удивилась... то есть я удивился вашим ценам... нашим ценам на продукты. Ведь так? Значит, я знал другие цены, не с потолка же я их взял. Да я еще сегодня в магазин схожу, я сравню, я сравню!

И седой я. Разве я был таким?

— Нет! — закричал двор.

— Я был с волосами спелой пшеницы, я был юн и нежен...

— А зачем все-таки тебя вернула Богородица? — взвился вдруг благодущный Володечка. — Нет, ты на это ответь. Иначе я больше ни глотка не выпью.

— Ты ли это, Володечка? — рассмеялся я. — Я вот своим куриным умом так думаю. Во-первых, самоубийца. Я в юности видел картинку моего знакомого Кавинацкого, уже умершего. Так там самоубийцу, падающего с крыши, ловят вот эти самые голубые руки Милосердия — Ее руки. Хотя он и еврей был, они в нашу Богородицу не верят, но дело он понимал. Душу Она подхватила, а может, и тело тоже? Это, с одной стороны. А с другой стороны, согласно официальной церковности, самоубийство — грех. Да, но ведь и подвиг также. Многие из вас способны на это? Лесков заступался за самоубийц.

(Я чувствовал, что говорю страшно нелогично, даже алогично, даже антилогично, но меня несло.)

— Вот, в-третьих-то, я, может, и шел на самоубийство, ведь я же в рискованный, смертный мо-

мент отвлекся на сверкающий крест. А для чего? Может, душа возжаждала Бога. Отец позвал и подтолкнул меня на подвиг? И, может, в один только миг я сразу узнал: гибну, но буду спасен и вернусь к вам в новой ипостаси. И явился, как видите.

Боже, как красиво, как высоко я говорил!

– Видите ли меня?

– Видим!

– Я ведь т о т. Но я и не т о т. Мне пятьдесят лет. И мне тридцать лет. Какая завязывается интересная интрига, не правда ли?

Да-а, я окончательно запутался. И все подозрительно смотрели на меня. А колдун Гриша вдруг протянул ко мне длинный до неприличия указательный палец и завопил:

– Бес он! Оборотень! Вервольф! Вяжите его! На галеры его! На восточный фронт!

Ну, мы и хохотали. А Генка встал и тихо вывел пьяного колдуна со двора. Он много выпил для его возраста. А может, сверкнула в его волосатом черепе чудовищная догадка?

Валя моя всё грустно слушала, как-то недоверчиво поглядывала на меня, подпершись рукой. "Хороший мой, – шептала она, – пей пореже".

– Да-да, конечно, я вам потом еще как-нибудь попытаюсь всё объяснить, когда мы еще по разочку тяпнем "особой", чтоб вы не смотрели на меня, как на анчутку.

– Да ты брось, Володь! – кричали мужики. – Да мы ж тебя, Вовка...

– А вот у нас с Валюней не было свадьбы. Вы об этом знаете? А! Вот и давайте – пусть у нас сегодня будет и венчание, и свадьба. Таня вон богородица нас благословит. Как, Таня, благословишь?

Таня бросила куклу на колени бабушкам, подскочила к нам и давай крестить, осыпать нас крестами, а кто-то над моей головой попытался держать в виде короны детский горшок. Да ничего, это народ шутит! Народ шутит – значит нет войны.

Но все-таки поводили нас с Валею вокруг стола три раза. И "горько" кричали, и страстно целовались мы на радость голодному, безлюбому народу. И Толик полез целовать свою Шурку. Он тоже захотел водить их вокруг стола.

- Толик, - смеялся я, - уймись, у тебя же всё это плотское, ты просто хочешь трахнуть своего Шурика, а я...

- ...Ах ты, гордый какой! А у тебя - "не трахнуть"?

И все-таки губы у жены были холодны, в глазах висела печаль и темная недоверчивость. Она что-то знала. И это было великое горе. Но я его не знал.

И вот уже стемнело.

- А давайте потанцуем, - предложил я. - Как бывало-ча. Шурик, вруби-ка свой громоподобный "Урал", поставь душевное.

Она готовно нырнула в ихнюю норку, два оконца прямо из земли на двор глядят. У них пол заглубленный, вроде получается полуподвал.

И загремело:

Опустела без тебя земля.
Как мне несколько часов прожить?
Также падает листва в садах,
И куда-то все спешат такси...

Кристаллинская поет. Моя любовь. Душевно поет. Она грудью поет, сдерживаемым рыданием. Ни у кого такого голоса нет. А вот и это она тоже поет, и я совсем балдею:

Как тебя люблю, сама не знаю,
Но боюсь - любовь моя навек.
Ты любовь мне самая родная,
Самый дорогой мне человек.

И мы с женушкой кружимся в этом невозмож-
но теплом танго. Оно и ее любимое. С него мы начи-
нали наше счастье. Господи! Господи! Как хорошо!
Как хорошо!

И все застольники вскочили, пошли пылить, у
кого ж как получается. А у кого пары не было – в
одиночку, с тенью танцевал. Например, Таня-бogo-
родица одна двигалась, с ребенком, правда. Воло-
дечка колебался с Шуриком, она размашисто дви-
гала своими широкими на низком каблуке босоно-
жищами, а Толик ее лишь пытался утвердиться в
вертикальном положении посередь двора. Гомо
эректус. Кстати, насчет этого он Геракл. Спьяну у
него этот фактор в постоянной лихорадочной готов-
ности и мифических размеров. Был с ним в бане,
видел. Бывало, играют во дворе в картишки и до-
мино, так он, ежели упитый, время от времени
открывает форточку и гнусным голосом зовет
Шурку домой. Под каким-нибудь соусом. Ну, она
смущенно уходит. Все понимающе ржут. Через пять
минут красная и мятая и еще более смущенная
Шурик возвращается. Опять ржачка. Трахальщик
он лютый.

А над беседкой тем временем зажгли лампоч-
ку. Длинные тени поплыли по песку. Я теперь с
Симкой танцую, чарльстоню, она не умеет, платье к
тому ж длинное, мешает. А Тамара Миансарова
грохочет:

Над полями, над лесами,
Та-ра-ра-ра, та-ра-ра,
Та-ра-ри-ра, та-ра-ри-ра,
Та-ра-ри-ра, та-ра-ра!
Будет солнце или буря –
Мы с тобою навсегда,
Да-а!..

Участковый зашел, Борис Иваныч, коротень-
кий, толстый, просто кукла-неваляшка в милицей-

ских формах, в орденских планках, морда аж красно-лиловая, ни глаз, ни носу, одна редиска, о п и т ы й он, говорит:

– Здравствуйте, товарищи жильцы. По какому случаю пьянка-гулянка-музычка?

– А сегодня ж воскресенье, Борис Иваныч, – изгибается перед ним параграфом Володечка.

– Вижу. Но очень громко. Гришу также вижу, богородицу эту вашу. Немедленно убрать. Что это такое?!

Но его подводят к столу и наливают полный стакан водки:

– Не обидьте, Борис Иваныч, примите. Вот – Володя Галкин объявился. Радость у нас. Свадьба у нас. Свадьба у них с Валюхой, в юности не успели сыграть.

Я с ним здоровкаюсь за тугую ладонь.

– Рад, рад. Как она ничего?

– Нормально, Борис Иваныч. Давайте выпьем на брудершафт?

И мы пьем с ним так, что мою водку я всасываю у его орденов, а он издает чревом звук, будто его пощелкали по трахее. Он крикает, естественно, не закусывает, нас на прощанье благословляет и величественно, подрагивая попкой, удаляется.

Странно, он не удивился, откуда это я возник и не спросил про прописку. Ведь меня же выписали, наверняка выписали. Покойников всегда *выписывают*. Эх, едрежки-ножки, снова прописка: запись – день, пропись – день...

А у нас Гелена Великанова душу тревожит:

Клё-е-ен ты мой опавший,
Клё-е-ен заледенелый,
Что стоишь согнувшись,
Под метелью белой?

А – вот Шурик моего любимого Петю Лещенко поставила, на заезженной послевоенной пластиноч-

ке "Беллаккорд" взвывается его чудный баритон:

За Байкалом по широким тайгам
Возвращался с плену я домой,
Утомленный, но шагал я бодро,
Оставляя след в степи чужой...

Аникуша, Аникуша, очи черные горят, как
угольки!
Аникуша, Аникуша, если б знала ты
страдания мои!

И эта вот – прямо разрывает меня на части, до слез:

Студенточка,
Вечерняя заря,
Под липою
Мою одну жду тебя.
Счастливы будем мы, задыхаясь в
поцелуях...
И вдыхаю аромат твой, и упиваюсь я
мечтой.

Господи, ну как хорошо-то! Какая благодать! Какой теплый май! Да уж не в раю ли я? Вот – и водка есть, и заря не вечерняя, и танцует со мной моя родина. За что, Господи, так удостоился?

Танцую и плачу. Да после этого не жалко умереть совсем.

Тут Толечка подрулил, шепчет:

– Вовик, а Вовик, винцо-то того...

– Кончается?

– Уже всё.

– Так пойдем, сходим еще, я заодно и улицы погляжу, магазинчики наши, "гастрономушку", площадь, собор Сергиевский. Погоди, а они еще работают? Ого, полдесятого.

– Та ты что! Двадцать восьмой до десяти. Подзажрать чего-нибудь бабы еще просят.

– Валюнь, – говорю, – мы с Володечкой в магазин сходим. Толик не пашет, дай еще денежку, если есть.

– Вот, последняя десятка.

– Ладно, вывернемся. И сумку принеси, душа моя.

– А у Генки возьми.

– Эй, Володечка, пошли за керосином.

Прошли кусок Андроньевки, вышли на Школьную. Ну – всё, всё как было. Правда, темновато сейчас, домики мрачные, только кой-где глазыньки ихние горят. Дворами, дворами, постоянными дворами идем наискось к Большой Андроньевке, солидной улице, не то что наша деревенщина. Тут в глубине кое-что подломали, отдельные корпуса хмуруются, но дворы ямские с галдареями по второму этажу объявивших их домов живы, на них стоят, покуривают жильцы, обнаженно мерцает свисающая на проводе лампочка; в ее нищем свете четверо пьют за перилами чай. Так и пили здесь когда-то, когда во дворе стояли лошади под попонами.

На Большой Андроньевке еще один автоматущка светит во тьму зазывными витринами, аквариум с пьяными рыбками, там за полтинник сосок наливает с краями стакан "Кызыл-Шербету". Неважная влага, сердца у ней нету, дерет.

А с углу площади вспыхнул наш двадцать восьмой. "Елисеевым" мы его называем. Открыт, сердешный. Втекают и вытекают последние покупатели. Рядом с ним сиренево горят буквы "МОЛОКО". Всё, всё живо!

Нуте-с. О, как пахнет колбасой! А слева – сверкающие витрины винного сектора. Он в самом деле в форме сектора, а колбасный – тот сегментный. Вся витрина уставлена разноцветными, подсвеченными сзади бутылками. Да-а-а... У такой витрины уместно размышление. Водки: "Анисовая", "Петровская", "Беловежская" и, конечно, "Особая" с

бычком; настойки горькие: "Зубровка", "Осенняя", "Можжевельная", "Калгановая", "Кориандровая", "Облепиховая"; пунши, ликеры; коньячки и напитки "типа коньячного" - "Фукушор", еще что-то; портвешки: "Белое крепкое", "13-й номер", "Агдам"... Господи, сколь обильны дары Твои!

- Володечка, - говорю, - так чего возьмем? У меня червончик.

- Мне Симка, - говорит, - пятерку тоже дала. Давай "Зуберу" наберем... скока получается?.. так пять штук - тринадцать рублей с копейками.

- Ладно, а на остальное берем "любительской". И хлеба. Так?

А торгует всё та же Марь Васильевна, всё так же много у нее груди. Улыбается, узнает. Как Зинка в автомате на Вековой. Впрочем, кто ж забудет постоянного покупателя?

- Вот, Марь Васильна, нам бы пять "зубровочек".

Сдачу сдает до тонкости. Милая! Какая невинность - все отдавать до копеечки. Вот года два назад брал я у нее водку, с червонца сдачу забыл, хватился назавтра, а ее нет - сменилась, а живет в Нагатине. Что делать? А выйдет только послезавтра. И что же? Пришел, рассказал, как и что брал, какой купюрой, какие дензнаки были в сдаче, и что? отдала без звука. Купил я ей на радости шоколадку. Баловал я ее, это было. Дак ведь она какое-то время наладилась у двери буфетца держать с мороженым, заодно и "Агдамчик" разливала, и побожески, просто и удобно.

Нуте-с, идем в колбасный. Я думаю, в Америке попадали бы от удивления: в Москве! в десять вечера! в витрине возлежат: кольца желтого яичного ливера по два тридцать кило, он весь светится жиром и похож на желтого пустынного полоза, спящего; бревно "любительской" по два девяносто с розовым срезом и конопушками сальца; бу-же-нина! в десять вечера, в Рогожье - БУЖЕНИНА! Со

слезой на обнаженной, ледяной мякоти и стылым приперченным салом-шубой! Нет, перед таким видением надо встать на колени, размышления здесь мало... Продавщицы со смехом смотрят на чудака, ставящего сумку на пол и спускающегося на колени. "Во нажрался! – закатывается молодайка в кудряшках. – Или с голодухи?" Нет, милая моя, не нажрался я и не с голодухи, а просто в умилении человек находится из своего прекрасного далека.

Но взяли-то мы только кило любительской. Ладно, завтра я доем все ваши карбонаты и ливера.

Весело горят надписи "КУЛЬТТОВАРЫ", "ГА-ЛАНТЕРЕЯ", "МОЛОКО", "ОВОЩИ-ФРУКТЫ", "БУ-ЛОЧНАЯ". Во, туда-то мы и чалим взять за какие-то гроши массу хлеба. Что ж, хлебушек у нас дешев, спасибо партии.

Собор Сергия Радонежского мягко сереет через площадь, расписанную переливающимся огнем рельсами трамваев, дремлют его толстые башни и крашенные в грязную зелень купола.

А мы возвращаемся теперь по Тулинской. Какой роскошный кафель на стенах современного стиля молочной незабвенного москвича Чичкина! Всю Москву, до самых Рогожских окраин, поил он когда-то молоком и кормил сырами. Дома в ночи имеют причудливый вид: вот дом-слон, вот дом-верблюд, две башенки у него на горбе, вот дом-комод, а под крышей даже и сейчас, при слабом свете фонарей, видно панно "Три богатыря"...

Уже от Школьной слышен наш двор. И не танго оттуда плывет, а жуткими, истошными голосами Шурка и Симка выкрикивают частушки:

Помидоры, помидоры,

Помидоры-овощи.

Милый едет на такси,

А я на скорой помощи.

Подружка моя, передаю по рации:

У меня три месяца нету менструации.

Ты не трогай мою грудь,
Твоя рука холодная.
Ах ты, еш твою мать,
Какая благородная!

Колдун Гриша вернулся и теперь подыгрывает им на расческе, крутя задом и пятясь с растопыренными ручищами, аки мышь летучая, перед топотом ошалелых бабешек. Пыль стоит столбом, "Елецкого" выдают:

Эх, елецкого, елецкого, елецкого ельца!
Никогда не позабуду, как фуякнулся
с крыльца!

Теперь Симка zaczynaет новую:

Из-за леса показалась тройка истребителей.
Давай, милка, по...смеемся,
Помянем родителей.

За ними Володечка неожиданно тонким голосом выдает:

На горе стоит избушка,
А за речкой огород.
Там за речкой проживает
Манька...

Фу, какие грубости. Но всем смешно. Это всегда так, я замечал: чем глупей и грубей, тем народу смешней: особенно эти шутки интеллигенция обожает. А Шурик вступает в свою очередь за Володечкой:

Ой, тапы, тапы, тапы,
Да что наделали попы:
Завели девчонку в лес.
Первым батюшка полез...

Какое фулюганство! – гневно крестились наши бабушки. – Вы бы лучше "Вез я девушку трактом почтовым" спели ба.

Но нашему вину все обрадовались. И уж и так пьянящие были, но вновь полезли к столу, а бабушки только взяли одну "Зубровочку" так, "для десерту", и в своей беседке в лото играть начали. Пушай.

Кое-кто ушел. Генка ушел, за ним и Волков. Да хрен с ними. Генке-то в почтовый ящик с утра надо, у них там строго. Володька – на ткацкой фабрике, но во вторую смену. Толик – вообще, по-моему, лет десять нигде не работает, Шурик его кормит и поит.

Эх, лампочка вот слаба – вот проблема. Как уж наши бабоньки резали колбасу да разливали "Зубровку"? А ничего, красиво так стаканы мерцают на полутемном столе со следующей партией капусты и горбушками черного хлеба с колбасой. Я заметил, что это похоже на солдатскую трапезу между боями: иных уж нет, а водка ихняя стоит, не тронь: святое.

Снова взревела радиола. "Та-па-ля-а-а, та-па-ля-а..." стонала какая-то баба. Пьеха с завыванием, манерно ломая слова, пела про то, как "Пароходы стоят железные", какой-то "Белый город". Разрывалась на части несравненная Русланова в "Бродяге". Кое-кто из наших тоже порывался всем столом заголосить, но куда там... Никто уже ничего не понимал, только пили, орали, обнимались, валились вприсядку...

И скоро принесенная "Зубровка" тоже куда-то сгнула. Кажется, из других дворов на шум наш подползли любители. Да Бог с ними, гуляй, Рогожка! Мой праздник! Родину встренул! Сретение у меня! Венчание! Свадьба! Таня-богородица, спившись, пошла с иконой Николая Чудотворца под Армстронга танцевать. Бабки ей кричат:

– Тантя! гляди, ноги-то отымутся, что с иконой танцуешь!

Ночь, полная ночь висит над двором. И сквозь электрический полусвет из-за кирпичной стены гаражей вылезла пьяная голубая луна с тарелку.

Так. Толика все-таки Шурка утащила домой. Вон Володечку упирающегося Симка заводит на крыльцо. Мы с Валею еще просим чуть стоящую на ногах Шурку завести нам танго "Всё проходит". И еще она ставит Лолиту Торрес "Каимбро, мой город чудесный", и трио Лос-Панчес "Бесаме муче", и "Чико-чико но фубо", и "Рио-де-Жанейро". Ах, фестиваль пятьдесят седьмого! Сладкий дым юности!

— Давай, Шурик, "Лолобай", и "Чучу" нам давай, и Луя этого Армстронга! Нука-ся, "Мэкки-Нож"!

Да, да, это так. Но что так печально смотрит на меня жена? Какая тень застит ей очи, раскрыты они широко и рот полураскрыт, словно задыхается она...

— Я еще схожу! — кричу ей в ухо. — А то неудобно... вот эти у стола давно стоят...

— Ты же падаешь, — догадываюсь я по ее губам. — На всех же не напасешься. И ты не вернешься...

— Что за шутки! Чур тебя! Вот у кого бы еще стрельнуть, а?

— Ведь полдвенадцатого.

— А у Курского вокзала, я помню, "гастроном до полпервого работает".

Она улыбается, улыбается, но лучше б она т а к не улыбалась. И сует в руку бумажку:

— Это, правда, самое последнее. У деда если только занять...

— О, чудо — десятка! Дай же я тебя за это поцелую, любя моя.

Но она вдруг начинает перед глазами помахивать ладонью и уходит, уходит, отступает в тень крыльца. Вот сверкнул треугольник света и дверь хлопнула. Хочу сказать "куда ты", но язык говорит другое:

- Шурик, где ты? Сумку Генкину давай, я на "Курский" съезжу, я сейчас.

Она мне в окошко подает сумку, еще добавляет трешку (вообще-то она денежная, у ней всегда есть хоть что-нибудь), и я ухожу под "Утомленное солнце" с гавайской гитарой.

Так. Теперь срочно до Тулинской, на 40 автобус, как раз после "Людмилы" у него остановка, у того "Гастронома", там что-нибудь да будет же, ведь неудобно как-то, там люди ждут. Зачем она ушла и закрыла дверь? Это странно.

Я иду-иду, иду-иду. Вдруг какая-то бешено звенящая струна резанула мозг и смолкла. Все оборвалось и стало так тихо, так тихо... Как в гробу. Я спиной чувствовал, что сзади все исчезло. И обернулся, с угла Школьной обернулся: точно, там ничего не было. "Ну-ну, - подбадривал я себя, - ты еще раз оглянись, все появится, ты просто очертел с водки".

Нет, там ничего не было. То есть нет: левый ряд домов от Школьной до Библиотечной был, да: но ведь правых домов у же не было, и дальше был черный провал, там только что гремела радиола и пробивался над двором слабый свет лампочки и обрисовывал нашу крышу.

Впрочем, не только это. И до Тулинской, где я стою, уже ничего нет. И самой Тулинской-Вороньей по моей стороне нет. Да, прямо до площади пусто. Нет, какие-то останки торчат вроде пустой коробки без крыши, как вон та, но это же... не дома, не плотно застроенные ямские кварталы, это... пустырь. Черный страшный пустырь.

- Ладно, ладно, молчи, дурак, - учил снова я сам себя, - ты вот лучше иди, иди ты к площади-то, балда, выйди, пройди ее, сядь у моста, где тебя вышибли из мотоцикла, на 40-й, и даже на 55-й, они еще ходят, и дуй до Курского.

Вдали за пустырями возник низкий рокот и смолк. А может, это впрямь танки идут на Прагу через Москву?

Правая сторона Тулинской до Волочаевки-Золоторожской жива. Под луной дома светятся серым светом, отблескивают окна. А фонари не горят.

Господи... Дощатый забор огораживал от Большой Андроньевки весь квартал с магазинами, за ним чернели ямы, ямы. И стены, одни стены изрубленной декорацией со светящимися верхушками напоминают о том, что здесь два часа назад торговали магазины. Даже следы разбитых неоновых букв остались на стенах, но за ними – лунный пустырь с истерзанной землей. Туда ведут дырки-подворотни. Зачем же оставили одни стены? И почему нет людей? Ей-Богу, пока шел сюда и пока стою здесь, не видал еще ни одного человека. Впрочем, подождем, еще не вечер, как говорится, еще не ночь...

Ну да – не ночь. Еще какая ночь.

Молчит белесое тулово собора. Собор жив. Но его еще взорвут, еще найдутся звонкие головы и трясущиеся от нетерпения руки.

Мда. Угол булочной видится. Ульяновка спускается к Землянке черным провалом, колышется бездна Костомаровского моста с Яузой внизу, видится и угол Тулинской. А здесь?

Смертная тоска сжимает сердце. Какой там к чертям гастроном у Курского, до Курского ли!

Ну ладно, тут какая-то ошибка, я чего-то не понял. "Ты пойдешь снова туда, к родному дому, – опять говорю я себе, – вот только сходи, не ленись, а там все и осталось". – "Чего осталось? Я же видел, что..." – "Нет, ты сходи, ты кончай тут свой сраный пессимизм разводить, ишь ты". – "Там, между прочим, еще танцуют".

Но – нехорошо мне. Я еле иду, я тащусь, как последняя сволочь, как слепой пес, боком, только по нюху. Я иду кружным путем, по Хиве, тут три дома живы, потом иду только по нюху, только по нюху, привычка, лесная звериная ориентация, чувство правой ноги.

Так. Вот это, похоже, Вековая. Вот я перехожу Большую Андроньевку, трамвайные пути, пошел последний кусок, и я выгляну из-за угла. Да, вот этот дом, он остался. Ну...

Тарелка фонаря, подвешенного к проводам, еще осталась, даже слабо горит и чуть раскачивается, и с ней страшно раскачиваются тени ям, каких-то глыб, еще чего-то непонятного. А избы нету. И углового дома, что образовывал с ней двор, тоже нету. Темь. Бездна. И луна, дьявол, пропала. Ах, это фундаменты. Да, да, они оставили то, что не сразу раскурочишь.

И вот – вдруг почудилось мне, что все рядом и вдали виднеющиеся дома, останки домов, что все – гробы. Царица Небесная, Троеручица наша, Спасительница душевная, что же это я, на кладбище, что ли? На мусульманском кладбище? У них тоже плит много...

А еще над всем этим плавает дым. Нет, пар. Как в первый день творения: Дух, то есть пар, носился над Бездной. Жгли, видно, недавно тут дерево, тряпки горели, костями вон жженными воняет...

Нету Родины. Сожгли.

Матерь Божья, так спасай же меня, уноси отсюда к Себе, протяни голубые руки, боюсь я, не хочу кладбища, я уже лежал там. Верни, ну что Тебе стоит, в шестьдесят восьмой!

А может... Меня и вообще нет, и не был я здесь, и ниоткуда не возвращался из шестого сектора? И вообще – ничего не было? После сладкого, липового лета шестьдесят седьмого года – н и ч е г о?

Я стоял и хохотал идиотским смехом.



* * *

Я родился от двух некрасивых людей
Уводивших в порожнюю степь лошадей.
И на голой земле, где холодная страсть
По моей забродившей крови разошлась,
Я родился под утро сутул и горбат,
Нерадивый любовник, негодный солдат,
И скажу тебе так, и скажу тебе, как
В неразменной ладони грубеет пятак.
Я верну, я найду вас на том берегу.
Я приду, ваши черные книги сожгу.
И зола не успеет в огне побелеть,
Только ты не посмеешь о том пожалеть...

* * *

Я благодарен тем, кто обесчестил слово,
Кто выманил его из Дантовой глуши,
Кто выбрал смерть свою прозрачно и сурово,
И камень возложил на дно своей души.

Я сам бы повторял: "Спаси меня вовеки,
Оставь последний хлеб загубленной душе..."
Но слово говоря, я поднимаю веки,
Ни страха, ни стыда не чувствуя уже.

* * *

Нет мертвых среди нас – они в земле,
Колышутся в прозрачной глубине.

Минуя их, лишь рыбы-валуны
Возносятся из этой глубины.

И вся земля, как берег на слонах,
Покоится на этих валунах,

Где мы стоим в березовом строю,
И помним смерть, как родину свою.

* * *

Печален Бах.
И музыка его,
Сама собой печальнее всего,
Что на земле печалилось когда ли.
А то, что прежде не было травой,
Не различит и шороха печали.

Порой он все же поднимал лицо,
Бродил во двор, и прятался в халате.
А голуби садились на крыльцо,
Надменные, как летчики люфтваффе.

От жизни сей не взял он ничего.
Пролил вино и накопил свечами.
Печальна смерть его.
Но смерть его печали
Печальнее всего...

* * *

Мы все умрем, но каждому из нас
Дана свобода умирать не раз,
И после смерти жить на этом свете,
И родину печальную любить.
Закрывать глаза и небеса забыть,
И быть как дети.

Пока живем, давайте умирать
И новых мертвых в кучи собирать –
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
И после нет. Лишь родина одна
По-прежнему из всех щелей видна,
И в ясный день ее легко заметить.

Но смерть свою, как землю наших тел,
Вбираем мы по ломтику ржаному.
И нужен только родины надел,
И мертвому нужнее, чем живому.
В глуши небес, поставив теремок
Одним ножом, не выходя из дому,

И после смерти буду одинок
В иных мирах, печальных по-другому.

* * *

Как листья ветхие, как сучья истин голых
Погожим днем и нас сожгут в кострах,
На площади уже собрался город
И назван Герострат.

Не пей воды и хлеб отдай другому,
Не выходи из дому до утра.
По городу уже объявлен голод, –
Ты будешь Герострат.

Ступи туда и червь тебя не сгложет,
Но имени сестра
Отчается,
О, если ты не сможешь, –
Я буду Герострат.

* * *

Мой бедный дом, спасенный от пожара,
Как Пастернак, уже лишенный дара,

Простуженно качался на ветру.
Тень бледная у ног моих дрожала
И молвил Петр соседнему Петру:

Мы все, во тьму глядящие без страха,
И ты, поэт, лишенный Пастернака,
Сухих чернил, крепленных на крови,
Свои глаза, не видевшие мрака,
Закрой на миг и вечность отвори.

Нет времени на улице, которой
Каляева, убитого Царем;
Дверной проем стоит сквозной опорой,
Дверь сломлена, хлеб съеден, мы живем.

Придет пора назначить цену крови —
В горсть медную щепотку серебра
Я вымолю.
Омой мои ладони,
Убей меня. Но будь ко мне добра.

* * *

День медленно истек и обмелел.
Сгущалась тьма и камень тяжелел,
Где теплился урод невоплощенный,
Бессмысленный, но права не лишенный.

Так наступила ночь. Стояли мы,
Как неправдоподобные холмы,
В чужих краях застигнутые мглой.
В густой ночи был камень растворен,

И я был в каждом камне повторен.
Мне кажется, что нет тебя со мною.
Но вечно жили мы, и эта мгла
Нам долгой показаться не могла.

Игорь ЕФИМОВ

**Выбранные места
из переписки с персонажами
"Театрального разъезда"**

1

6 марта 1847 года (22 февраля по старому стилю) Гоголь писал Жуковскому в письме из Неаполя по поводу реакции русской публики на выход книги "Выбранные места из переписки с друзьями":

"Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее" /1/.

История русской литературы XIX века не знает, пожалуй, более громкого скандала, чем выход в свет "Выбранных мест". Друзья Гоголя были в отчаянии, враги ликовали. Причем даже и врагам в этой книге нравилось только одно: признание Гоголем ничтожности своих прежних произведений. Даже цензура, до того щадившая Гоголя, здесь вмешалась безжалостно и урезала книгу чуть не на треть. "Точно как бы перед глазами матери зарезали ее любимейшее дитя, - пишет Гоголь в феврале 1847 года своему близкому другу, Александре Осиповне Смирновой-

Россет, - так мне тяжело бывает это цензурное убийство. И сделал [это] тот самый цензор, который до того благоволил к моим произведениям, боясь, по его собственному выражению, произвести и царапинку на них" /2/.

Гоголь умоляет друзей писать ему свои мнения о книге, передавать все, что говорят о ней в обществе. И друзья откликаются на эти просьбы.

"Я слышала, что иные полагают вас потерянным для литературы (пишет А. М. Вьельгорская)... Признаюсь откровенно, я сама сожалею, что вы напечатали ваше духовное завещание... Оно не может понравиться публике и она не может понять его. Я понимаю, что многие места из ваших писем привели ее в недоумение. Вы говорите иногда о себе с таким удивительным смирением, что большее число ваших читателей должны думать, что вы или играете комедию, или слишком самолюбивы, не зная сами, что такое смирение..." /3/.

"Если это была с вашей стороны шутка (пишет С. Т. Аксаков), то успех превзошел самые смелые ожидания: всё одурачено!.. Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, - оскорбляете и Бога и человека" /4/.

"Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов - что вы делаете?" - пишет Белинский /5/.

Гоголь был ошеломлен, раздавлен реакцией друзей. Его письма этого периода явно показывают, насколько он не был готов к ней, как ждал совсем другого. Ведь те же самые друзья не раз показывали ему, насколько благотворно было для них общение с ним, как умиротворяюще действовали на душу его слова. Вот что писала ему одна из самых замечательных женщин того времени, близкая приятельница Пушкина и Жуковского, Смирнова-Россет:

"В понедельник состояние мое дошло до отчаяния, а вечером солнце взошло, и с тех пор я так счастлива, как в лучшие и счастливейшие минуты, с вами проведенные в Ницце. Да благословит вас Бог! Вы, любезный друг, выискали мою душу, вы ей показали путь, этот путь так разукрасили, что другим идти не хочется и невозможно... Если бы мы все понимали, что душа сокровище, мы бы ее берегли больше глаз, больше жизни. Но не всякому дано почувствовать это самому, и не всякий так счастливо нападает на друга, как я" /6/.

И все же С. Т. Аксаков был неправ, когда обвинял Смирнову-Россет в том, что это она, наряду с другими великосветскими дамами, соблазнила и подтолкнула Гоголя на путь назойливого наставничества /7/. После опубликования - много лет спустя - ее писем все могли убедиться в том, что именно Смирнова-Россет с нелицеприятной прямоотой упрекала Гоголя в скрытности, неискренности, недостатке простоты в общении, фальшивых позах, безответственном прожектерстве, именно в ее письмах к нему мы находим предостережения от чрезмерного увлечения проповедничеством. "Всякий день убеждаюсь в великолепии разума евангелических слов (пишет она): "Не осуждай ближнего твоего". Не осуждай - значит вместе не давай ему совета и не думай его переделать, потому что не знаешь, чего требует его внутренний человек" /8/.

Но удержать Гоголя уже невозможно. Роль наставника, учителя, мудрого вожатого манит его неодолимо. Да и разве не было у него уже успешных попыток на этом поприще? Ведь всего лишь за пять лет до "Выбранных мест из переписки" он опубликовал в четырехтомном собрании своих сочинений "Театральный разъезд". Эта короткая одноактная пьеса была полным и талантливым изложением его эстетической и, в значительной мере, этической программы. Она содержала в зародыше почти все те идеи, которые позже были развиты в "Выбранных местах". "Театральный разъезд" был встречен с восторгом Белинским, Аксаковым, Некрасовым. Так почему те же самые поклон-

ники его творчества с таким возмущением, почти ненавистью обрушились теперь на его новое творение?

Гоголь недоумевал, мучился, пытался объяснить, просил прощенья, слабо защищался. "Сердце мое разбито и деятельность моя отнялась, - пишет он в письме к Аксакову летом 1847 года. - Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами; но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями!.. Друг мой! я изнемог" /9/.

Ведь он хотел помочь России, дать некий идеал всеобщего примирения в доброте и вере - а вызвал такую бурю озлобления. Почему автор, выходящий в последней сцене "Театрального разъезда" из-за колонны, вызывает у читателей восторженные аплодисменты, а автор, выходящий из-за спины своих персонажей в "Выбранных местах", навлекает на себя свистки, брань, попреки?

Почему?

2

Больше всего страниц и сцен в "Театральном разъезде" уделено размышлениям о взаимовлиянии жизни и искусства. Гоголь раздает свои любимые мысли резонирующим, плохо запоминающимся персонажам, которых он боится "дискредитировать" хотя бы какой-нибудь живой чертой или ремаркой:

"ВТОРОЙ ЛЮБИТЕЛЬ ИСКУССТВА: Но правит пьесою идея, мысль. Без нее нет в ней единства...

ПЕРВЫЙ: Но это выходит уж придавать комедии какое-то значение более всеобщее.

ВТОРОЙ: Да разве не есть это ее прямое и настоящее значение? Уже в самом начале комедия была общественным, народным созданием. По крайней мере, такую показал ее сам отец ее, Аристофан... Разве все это накопление низостей, отступлений от законов и справедливости не дает уже ясно знать, чего требуют от нас закон, долг и справедливость?" /10/

В "Выбранных местах" Гоголь оттесняет Второго любителя искусства и сам начинает подробно и длинно увещевать Первого, вдалбливая ему в голову ту же самую идею в письме XVIII-3:

"Первая часть ("Мертвых душ"), несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила во всех отвращение от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя" /11/.

В "Письме XV. Предметы для лирического поэта", адресованном Языкову, Гоголь разъясняет своему другу его поэтические задачи:

"В стихе твоём есть сила, и упрекающая и подъёмлющая. То и другое теперь именно нужно. Одних нужно поднять, других попрекнуть: поднять тех, которые смутились от страха и бесчинств, их окружающих; попрекнуть тех, которые в святые минуты небесного гнева и страданий повсюдных дерзают предаваться буйству всяких скаканий и позорного ликованья...

Опозорь в гневном дифирамбе новейшего лихоимца...

Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика...

Ублажи гимном того исполина, какой выходит только из русской земли, который вдруг пробуждается от позорного сна..." /12/.

Конечно, подобных наставлений поэту можно было бы скорее ждать от Уварова, Жданова или Хрущева, а не от великого писателя. Но разве уже и в "Театральном разъезде" не видим мы зачатков подобных "инструктажей":

"ВТОРАЯ ДАМА: Послушайте, посоветуйте автору, чтобы он вывел в комедии благородного и честного человека /13/.

ОЧЕНЬ СКРОМНО ОДЕТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Да разве это не очевидно ясно, что после такого представления народ получит более веры в правительство? Да, для него нужны такие представления" /14/.

Восхваления России в "Выбранных местах" порой достигают пародийного уровня, заставляют вспомнить

монологи Манилова. Но разве не такой же слащавостью наполнены слова Господина А. после встречи со скромным и необычайно достойным чиновником в "Театральном разъезде"?

"ГОСПОДИН А.: Да хранит тебя Бог, наша малозная нами Россия! В глуши, в забытом углу твоём, скрывается подобный перл, и, вероятно, он не один. Они, как искры золотой руды, рассыпаны среди грубых и темных ее гранитов. Есть глубоко утешительное чувство в сем явлении, и душа моя осветилась после встречи с этим чиновником, как осветилась его собственная после представления комедии" /15/.

С этим бедным чиновником произошла, между прочим, невероятная литературная метаморфоза: впоследствии он попал из литературного произведения в реальную жизнь. Восемь лет спустя после написания "Театрального разъезда" Александра Осиповна Смирнова описала в письме к Гоголю встречу с бедным уездным судьей, очень похожим на этот персонаж. Судья Клементьев поразил ее своей образованностью, скромностью, достоинством и верностью долгу.

"После обеда я его зазвала к себе наверх и выпрашивала о многом... С большим любопытством, почти детским, смотрел он на меня как на явление почти книжное и говорил мне, что я баловень Петербурга и должна скучать здесь. Я ему дала книг, журналов и обещала посылать каждый месяц новенькое и хочу ему писать... Клементьев меня очень, очень порадовал. Особенно понравилась мне его смиренная борьба против беспорядков и спокойная покорность общепринятому порядку дел" /16/.

Гоголя этот эпизод приводит в умиление и восторг, которые он тут же обращает в поучение:

"Ваш поступок, то есть ваш и вашего супруга (калужского губернатора), с уездным судьей, которого вы нарочно вызвали в город с тем, чтобы примирить его с прокурором, почтить его радушным угощением и дружеским приемом за прямоту, благородство и честность, - поверьте,

сделал уже свое действие... Хотел бы я в эту минуту поцеловать полу его заношенного фрака. Поверьте, что наилучший образ действий в нынешнее время... - выставить на вид всякую честную черту, дружески, в виду всех, пожимать руку прямого, честного человека" /17/.

Гоголь словно не слышит, не чувствует, не понимает, что подобное поглаживание по головке должно было казаться унижительным его друзьям. Он наполняет свои письма либо восхвалением элементарных добродетелей, либо заверением в том, что зло не сегодня завтра будет побеждено во всей необъятной и великой России - если только каждый послушается его наставлений. Слышать подобные советы и заверения от человека, который отбросил все обычные житейские обязанности перед близкими, который удалился в прекрасную теплую Италию и взялся поучать оттуда людей, знающих, как тяжело дается каждое доброе дело в российских условиях, - многим это было непереносимо.

Особенно возмущали читателей "Выбранных мест" грубые дифирамбы царской власти; ходили даже слухи, что Гоголь мечтал ценою лести получить место наставника наследника престола (см. письмо Белинского). Однако и в "Театральном разъезде" находим мы уже горячие верно-подданнические чувства:

"АВТОР: О, да пребудут же вечно святы в потомстве имена благосклонно внимавших таким побасенкам: чудный перст провиденья был неотлучно над главами творцов их. В минуты даже бед и гонений все, что было благороднейшего в государствах, становилось прежде всего их заступником: венчаный монарх осенял их царским щитом своим с вышины недоступного престола" /18/.

Сопоставляя эти два произведения, мы ясно видим, что они пронизаны одними и теми же идеями. Сами по себе, вложенные в уста сценических персонажей, идеи эти не возмутили читателей и поклонников Гоголя.

В этой пьесе ("Театральном разъезде". - И. Е.), поражающей мастерством изложения, Гоголь является столько

же мыслителем-эстетиком, глубоко постигающим законы искусства... сколько поэтом и социальным писателем" /19/.

"Лично я остаюсь... при мнении, что "Разъезд"... по сжатости и множеству глубоких мыслей... по благородству и высоте цели, по важности своего действия на общество - точно выше других пьес..." /20/

Но с того момента, как Гоголь вообразил, что он может обойтись без действующих лиц, что может "выйти из-за колонны" и заговорить своим голосом, все изменилось: он услышал дружный, возмущенный крик зрительного зала, практически был освистан и галеркой, и ложами, и партером.

Критики "Выбранных мест" так дружно нападали на высказанные в книге мысли, что в тени осталось другое: труд этот был в значительной мере неприемлем для них по выбранному тону. Эстетическое чувство читателей было возмущено в такой же мере, как и этическое. В "Выбранных местах" исчезла полифония голосов различных персонажей - и всё колдовское воздействие Гоголевского таланта пропало. Это было все равно что изгнать из "Театрального разъезда" и Господина положительного свойства, и Господина отрицательного свойства, и Господина несколько беззаботного насчет литературы, и всех прочих живых зрителей новой комедии, оставив только Автора в окружении толпы резонирующих марионеток.

Встает, однако, вопрос: как мог Гоголь-художник допустить подобный просчет?

Конечно, никто не требует от гениального писателя философской строгости суждений, конечно, никто не вправе ждать от него умных и полезных наставлений, конечно, опытный читатель предчувствует, что образная система мышления может увести автора прочь из мира простых и ясных истин. Но художник-то, казалось бы, не может умереть! Художник должен почувствовать, что не только "тьма низких истин" отброшена в его произведении, но и "возвышающего обмана" не получается.

Что же произошло?

Известно, что после выхода в свет в 1843 году первого тома "Мертвых душ" у Гоголя наступил затяжной творческий кризис. Навязанная им самому себе задача - показать во втором и третьем томах возвышенные характеры и образцы добродетели - заводила его в тупик, из которого он не мог найти выхода. Порой он впадал в отчаяние, считая, что талант его истощился и что ему не суждено больше создать ничего значительного.

"Способность творить все не возвращалась (пишет Гоголь в письме Жуковскому). От напряжения болела голова... Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы - и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня" /21/.

Посреди этого творческого бесплодия писание писем друзьям стало для него единственной отрадой. В том же письме Жуковскому Гоголь допускает, что поспешил с выпуском "Выбранных мест" просто "от радости, что расписалось перо". Но он нигде не признаётся (а может быть, и сам не сознает), что творческую радость он испытывал не только от писания с в о их писем, но и от чтения писем своих друзей. То есть от участия в талантливом диалоге.

Лишь в XX веке, после опубликования многих писем Жуковского, Плетнева, Языкова, Вьельгорских, Смирновой-Россет, Щепкина и других корреспондентов Гоголя, читатель может догадаться, что "Выбранные места" - всего лишь обрубок огромного эпистолярного романа, в создании которого принимало участие множество авторов. Получить о нем полное представление по тексту, опубликованному Гоголем в 1847 году, так же трудно, как получить представление о какой-нибудь пьесе по репликам одного только центрального персонажа, выписанным актером для заучивания отведенной ему роли.

Каким же предстает перед нами этот центральный персонаж эпистолярного романа "Переписка Гоголя с друзья-

ми"? Конечно, он достаточно многогранен. Однако в самых общих чертах он напоминает нам Автора новой комедии из "Театрального разезда", который, оставаясь таким же резонером, заразился бы вдруг прекраснотушним Маниловым и легкомыслием Хлестакова. Но что за беда! В окружении ярких и живых персонажей "Театрального разезда" и Автор-персонаж кажется зрителям живым и естественным. Точно так же и в "Выбранных местах" автор может позволять себе уноситься в эмоциональных порывах далеко за границы меры и правдоподобия - он ведь знает, что получатели его писем столь разумны, добры, дружелюбны, что его эксцентричность не принесет вреда ни им, ни их отношениям.

Вот, например, центральный персонаж, Николай Васильевич Гоголь, завлекся новой ролью: стать благодетелем молодых непризнанных талантов. И тут же спешит издали отдать распоряжения своим друзьям-корреспондентам: основать фонд из причитающихся ему денег и тайно - главное, тайно! - поддерживать эти таланты. Друзья не пытаются объяснить ему нелепость затеи (кто будет определять талантливость? как ее определишь, если она еще никак не проявилась? и т. п.). Но они деликатно указывают ему на то, что денег у него никаких нет, неизвестно, будут ли, а если будут, то не худо было бы помочь матери и сестрам в деревне, которым грозит конфискация поместья. Смирнова-Россет пишет ему в письме из Петербурга:

"С вашими планами для студентов вы мне напомнили одного фурьериста, который свой капитал растратил для общественного блага, а потом сам с женой и детьми умер с голоду; кончилось тем, что брыкнул в жену ногой, а сам для общественного блага заперся в четвертом этаже. Знаете ли, что Святой Франциск Сальский говорит: "Мы наслаждаемся мыслью о том, как нам быть добрыми ангелами, и забываем, что прежде всего наш долг - быть добрыми людьми" /22/.

"Прошу не ставить мне памятника" - так начинает пер-

сонаж Н. В. Гоголь свою книгу, но тут же подробно и со страстью разъясняет, как, где и почему следует или не следует печатать его портреты. Тщеславие - одна из самых заметных слабостей этого героя. Друзья относятся к ней снисходительно, а если и подтрунивают, то с замечательным тактом. Графиня Вьельгорская пользуется примером Шатобриана, чтобы поиронизировать над жадной славой и намекнуть Гоголю на необходимость построже следить за собой в этом плане:

"Завистники его (Шатобриана) славы... говорят, как будто он теперь беспокойного характера, терзаем желанием занимать свет своей особой и славой. Прошедшее невозвратно, но и слава прошедших дней прекрасна, и ею надобно довольствоваться, когда она бессмертна, как французский язык и французская литература. И вам, любезный друг, и Жуковскому, Пушкину, Языкову, и некоторым другим предстоит бессмертие и на земле, а нам, несчастным, совершенное забвение. Эта мысль меня часто огорчает. Дайте мне хороший совет, чтобы сделаться как можно скорее известною, выдумайте что-нибудь необыкновенное" /23/.

Другое заметное свойство Гоголя-персонажа - отсутствие такта. И друзья не скрывают своего огорчения, когда письма его ранят их. Вот слепнувший Сергей Тимофеевич Аксаков сообщил Гоголю о своей болезни. И Гоголь не нашел лучшего утешения, как заявить, что Всемогущий Бог, "отнимая зрение чувственное, дает зрение духовное" /24/. На это Аксаков отвечает:

"Все ваши слова справедливы, но... надобно иметь сердце, исполненное теплой веры и преданности воле Божией безусловно, чтоб находить отраду... в самой мысли: что значит потеря зрения телесного, когда человеку открывается зрение духовное!.. Я хотел от вас живого участия, боялся даже, что слишком вас огорчил... Я - человек, и потому хотел человеческого огорчения, ропота... Я слепну, рвусь от тоски и гнева, прихожу в отчаяние иногда, и вы думали меня утешить, сказав, что слепота ничего не значит?" /25/

В другой раз Гоголь рекомендует своему другу читать регулярно "Подражание Христу" Фомы Кемпийского, причем желательно "после чаю или кофию, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас" /26/. Аксаков не в силах скрыть горестного возмущения:

"Мне пятьдесят три года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились... И смешно, и досадно... И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнение. Я боюсь, как огня, мистицизма; а мне кажется, он как-то проглядывает у вас... Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!.. Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника" /27/.

С наименьшей страстью восстает актер Щепкин против нового толкования "Ревизора", присланного Гоголем:

"Я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще - это было бы действие бессовестное... Оставьте мне их, как они есть, я их люблю, люблю их со всеми слабостями, как и вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился... Нет, я их вам не отдам, не отдам, пока существую. После меня переделывайте хотя в козлов, а до тех пор я не уступлю вам даже Держиморды, потому что и он мне дорог" /28/.

Но точно так же, как он отверг в те годы лучшие образы, созданные им в "Ревизоре", "Мертвых душах", "Театральном разъезде", так отвергал он и глубокие и искренние чувства друзей своих, разбуженные им. В "Выбранные места" не включено ни одного письма к тем, кто решительно отказывался принимать его притязания на роль проповедника, - Плетневу, Аксаковым, Шевыреву. Даже следа их мыслей, протестов, возражений нет в окончательном издании книги.

Макс Брод не выполнил посмертную волю Кафки и из-

дал неопубликованные произведения своего покойного друга, пересортировав их и приблизив по возможности к законченным формам. Если бы когда-нибудь нашелся смелый и талантливый издатель, который предпринял бы новое издание "Выбранных мест", куда обильно включены были бы отклики друзей Гоголя, это могла бы получиться интереснейшая книга, полная подлинного драматизма и ярчайших характеров. Художническое чутье не обманывало Гоголя: он верно ощущал, что в те годы переписка с друзьями была пиком его творческой активности. Но он сам вторгся в нее с цензорскими ножницами и орудовал до тех пор, пока не вытравил из замечательного литературного материала всю драматическую и жизненную напряженность. Он не заметил, что его друзья - такие, какими они предстают перед нами в своих письмах, - и были теми положительными героями, взятыми из гущи русской жизни, которых он так страстно искал для продолжения "Мертвых душ".

4

Что заставляло Гоголя так упорно и последовательно отвергать всё лучшее, что было в его жизни и творчестве, остается загадкой. Ни одна из известных биографий не дает убедительного ответа на этот вопрос. И добро бы избранный им путь дал ему мир душевный. Но нет - он довел его до полного жизненного и творческого тупика. Он, быть может, единственный писатель, причину смерти которого врачи не сумели определить. Ибо нет такого диагноза: "умер от горя".

Сравнение идейной основы "Театрального разъезда" и "Выбранных мест" ясно показывает, что уже в 1836 году Гоголь был убежден: искусство призвано учить добру, а если оно этого не делает, значит это плохое искусство и должно быть отвергнуто. Глубокий внутренний переворот, случившийся с ним в начале 40-х годов и закончившийся обращением к христианству, хронологически не мог быть

причиной созревания этих убеждений. Наоборот: в христианстве Гоголь искал выхода из того духовного кризиса, в который его погрузило столкновение двух самых главных страстей его души: страсти к творчеству и страсти к добру. Как язычник Платон, как христианин Боттичелли, как еретик Толстой, он ужаснулся искушающей силы искусства и проклял ее.

Нет смысла искать виновных в его драме, нет смысла обвинять друзей, которые якобы не сумели поддержать его, или религиозных фанатиков, якобы сбивших его с толку. Десятки дружеских рук были протянуты к нему - но он не мог опереться на них. Ибо гениальность неразрывно связана с тем, что она погружает человека в такие бездны или уносит на такие холодные вершины, куда наши советы и наша помощь уже не достигают. Он всё решает и делает один. Погибнет он при этом или спасется - он все равно останется один.

5

Карикатурный образ Гоголя, взятый Достоевским в качестве главного героя повести "Село Степанчиково", легко узнаваем:

"Говорили, во-первых, что он (Фома Фомич Опискин) когда-то и где-то служил, где-то пострадал и уж, разумеется, "за правду". (Прямая отсылка к Чичикову. - И. Е.) Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере... Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния... Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях... ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего" /29/.

Тыцьянов в своей статье "Достоевский и Гоголь" тщательно прослеживает пародирование "Выбранных мест" в речи, поступках и судьбе Фомы Фомича /30/. Приживал, ханжа, враль, ловкий манипулятор, эгоист, бывший литератор Опискин, действительно - смешная и убийственная карикатура на Гоголя. В портрете отсутствуют, однако, две немаловажные "детали": литературная гениальность и глубокое непрекращающееся душевное страдание.

Из-за чего страдает Гоголь?

Понять это было нелегко даже самым близким друзьям его. Он либо объяснялся загадками, либо приводил какие-то совершенно неубедительные причины, либо жаловался на какие-то уникальные, неизвестные медицине заболевания. Единственное, что мы видим ясно: он бежит от всего, что любит. Он не скрывает своей любви к славе, но при этом мучается восторгами публики по поводу "Ревизора", а когда весь зал начинает аплодировать ложе, в которой он сидит, сползает чуть ли не на пол, а потом убегает /31/. Он без конца говорит о своей любви к России, но годами кочует вдали от нее и не откликается на призывы друзей, зовущих его обратно. Он боготворит Пушкина, но уезжает в 1836 году за границу, даже не попрощавшись с ним и как раз в тот момент, когда началось его активное сотрудничество в пушкинском "Современнике". В письмах он изливает нежные чувства на друзей, но, наезжая в Москву и Петербург, предпочитает просиживать днями один взаперти. Один раз его дружба с женщиной (Анной Михайловной Вьельгорской) чуть не переросла в реальную любовь; поговаривали уже о возможном сватовстве, но в конце концов он убегает и от нее, опять кутаясь в загадочные причины. ("Нужна ли вам, точно, моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего..." /32/).

Создается впечатление, что любая прочная жизненная связь чревата для него болью. Он хотел бы полюбить что-то или кого-то всем сердцем, но любовь его выживает только до тех пор, пока он вдали от предмета любви.

Может быть, именно поэтому он так любит Бога и абстрактное Добро - они всегда где-то рядом и где-то далеко. Он хотел бы любить и себя тоже, но не может - слишком хорошо знает свое несовершенство. Литература кажется ему единственным прибежищем, где могло бы соединиться всё, что ему дорого на свете: Бог, Добро, Россия, достойные и умные люди. Но произведения, прославившие его, явно не годятся для этой цели. В них он видит только собственные пороки и слабости, гротескно раздутые и воплощенные в карикатурных персонажах. Любить их невозможно. Что ему за дело, что пол-России плачет от смеха и благодарности над его твореньями? Ведь он с трудом удерживается от того, чтобы сказать им: "Над кем смеетесь? Над мной смеетесь?" Он как-то мирится с героями "Мертвых душ" только благодаря тому, что объявляет их преддверьем, подножием величайшего эпоса, который он собирается создать и который должен быть сравним с Гомеровскими поэмами. Но эпос всё не пишется и не пишется. Почему?

И вдруг его осеняет.

Ведь до сих пор он мог описывать лишь то, что находил в собственной душе. Значит, чтобы описать характеры сильные и героические, ему самому следует сделаться таковым. Следовательно, единственный возможный путь - самоусовершенствование.

"Мог ли я выставить жизнь в ее глубине так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое *душа человеческая*? Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо" /33/.

Те же самые мысли высказывает Гоголь в большом письме Смирновой-Россет, написанном в 1845 году:

"Как Бог довел меня до этой мысли, как воспитывалась незримо от всех моя душа - это известно вполне Богу. Об этом не расскажешь... Да и к чему рассказывать о том, какие вещества горели и перегорали во мне? Когда

услышите потом раздавшееся благоухание, сами тогда догадаетесь, от горения каких веществ произошло благоуханье; если ж не услышите благоухания, то нечего и знать о том, что горело в душе моей" /34/.

"Выбранные места" должны были явиться первым свидетельством душевной перемены, произошедшей с автором. Увы, как мы видели, большинство друзей и поклонников не обнаружили в ней даже ума и искренности. Они так сердились на книгу, что, кажется, не заметили одной примечательной особенности: вся неправда, которая в ней содержится - непременно у т е ш и т е л ь н а я неправда.

"Мне бы хотелось говорить такие слова... такой дать совет, чтобы в ту же минуту сказали: "Он легок, его можно привести в исполнение" /35/.

"Совет должен быть легок" - вот главный критерий.

В исповедальном письме Жуковскому, которое Гоголь даже хотел вставить в новые издания "Выбранных мест" в качестве предисловия, вместо злополучного "Завещания", он объясняет истоки своего творчества:

"Болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения - вот происхождение моих повестей" /36/.

В повестях Гоголь р а з в л е к а е т себя. В "Выбранных местах" он себя у т е ш а е т, убаюкивает, завораживает. Он снова убегает - теперь уже в мир несбыточных грез. В этом мире всякое зло может быть побеждено легко и безболезненно. Это какое-то маниловское Зазеркалье, в котором стоит только назначить честных советников в губернское правление, как "тот же час будут честны капитан-исправник, заседатели, словом - всё станет честно" /37/. Поэты там не противостоят власти, а во всю мощь своих талантов поют о божественном предназначении царей и о своей к ним любви /38/. Никто не ограничивает свободу мысли и слова: имей только "чистую, благо-

устроенную душу, какую имел Карамзин... и все тебя выслушают, начиная от царя до последнего нищего в государстве" /39/. "Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России" /40/, тотчас исчезнут всякие беды и безобразия в отечестве нашем. Там "езде поприще примирителю", там "примирять не трудно" /41/, а главный "примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим, - наша церковь. Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю" /42/. И надрывный труд от зари до зари там станет веселым и приятным, стоит только помещику вовремя похвалить и поругать мужика, подобрать "все синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и все синонимы бабы для того, кого нужно попрекнуть" /43/.

Почему же читатели, с такой радостью участвовавшие в его развлечениях, с таким ожесточением отбросили его утешительные грезы?

Разве они не чувствуют, что слово обладает колдовской силой, что действительность можно заклясть словом?

Или она не причиняет им таких страданий, как ему?

Почему он так часто говорит и поступает неловко, невпопад?

Вот и Сергей Тимофеевич Аксаков рассердился на него за неправильные утешения по поводу надвигающейся слепоты.

И со старинным приятелем Погодиным никак не восстановить прежние дружеские отношения. Тот даже простил ему прямые нападки и оскорбления, включенные в "Выбранные места", а все равно осуждает книгу: описывает зачем-то страшную историю, как калужский помещик, имевший семью и детей, 25 лет насиловал своих крепостных девок и женщин, а потом они не выдержали и растерзали его, и как их пороли плетью, а потом отправили на каторгу, и заключает восклицанием: "Как скудна твоя книга пред русскими вопросами!" /44/ Другие же просто надолго прерывают переписку, даже не объясняя, чем он

их обидел, чем огорчил. Почему так много недоразумений, непонимания, почему все не видят того, что так ясно видится его внутреннему взору? Или наоборот - они видят что-то, чего не видит он?

Судьба Гоголя - непрерывное бегство. Он убегает от любого источника боли, в том числе и от боли сострадания - от друзей, от России, от родственников, от безжалостной правды. Пытаясь найти разгадку этой судьбы, мы говорим себе вслед за Аксаковым: наверное, он в десять раз чувствительнее, чем остальные люди. Но одновременно с этим он так горд, что ни за что не захочет признать, что судьба обделила его душевной силой, необходимой человеку для противостояния ужасу жизни. Кажется, нигде в его произведениях или письмах не найдем мы слова, обозначающего эту силу, никогда он не упомянет ее, не покажет, что умеет видеть и ценить ее в других. Получив непомерный художественный дар, доброе и отзывчивое сердце, веселый нрав, безудержное воображение, он постепенно, год за годом убеждается, что чего-то нет, какого-то важного свойства недодано, а без него все остальное может легко обернуться в прах.

Он признается во всех грехах, пороках, слабостях, мерзостях, но никогда не скажет просто и честно: духу не хватило.

Ибо есть слово, которое изгнано из его словаря.

Слово это - "мужество". •

6

Речь здесь пойдет, конечно, не о том мужестве, которое необходимо было Толстому для вступления в военную службу или Достоевскому для участия в запрещенных собраниях. Философско-религиозное истолкование категории мужества впервые было дано экзистенциальной философией и наиболее ясно представлено в книге теолога Пауля Тиллиха "Мужество быть". В ней он объясняет, что

мужество не является просто одной из добродетелей: нет, это сила духа, которая помогает человеку преодолевать онтологическую тревогу, рождаемую осознанной угрозой небытия. Он подробно разбирает различные соотношения тревоги, мужества, бытия и небытия. Вариант наиболее близкий к судьбе Гоголя мы находим в главе 3: "Патологическая тревога, жизнестойкость и мужество". Вот что там говорится о невротической тревоге:

"Невротик более чувствителен, чем средний человек к угрозе небытия. И поскольку небытие приоткрывает загадку бытия, он может быть в большей степени творцом, чем средний... Таких примеров предостаточно в биографиях творческих личностей... История человеческой культуры снова и снова доказывает, что невротическая тревога прорывается сквозь стены ординарного самоутверждения и открывает реальность на таких уровнях, которые остаются скрытыми от нормального сознания...

Неврозы - это избегание небытия путем избегания бытия" /45/.

Пожалуй, мы нигде не найдем более полного и сжатого описания жизненного пути Гоголя: "избегание небытия путем избегания бытия". Надо иметь в виду, что здесь речь идет не только о физическом небытии, то есть о смерти, но также и о духовном и моральном небытии, то есть об утрате смысла жизни или надежды на оправдание.

Во многих письмах Гоголя находим мы страстные просьбы к друзьям не скрывать от него его промахов и недостатков, говорить ему прямо обо всем, в чем он был неправ. Но эта готовность принимать упреки и обвинения - кажущаяся. Стоит друзьям поддаться на его уговоры и высказать искренне свое недовольство какими-то его словами и поступками, как в ответ они получают длинные и довольно сердитые разъяснения того, почему они неправы, а он, Гоголь, - во всем прав и поступал единственно возможным образом. (См. письмо к Смирновой-Россет от 9 янв. 1845 года, т. 2, с. 136; письма к Погодину и т. д.) Смирненная поза - пожалуйста, просьбы простить и любить по-

прежнему - сколько угодно. Но ни одного признания неправоты и искреннего раскаяния хотя бы в одном, даже маловажном поступке. Друзья считали это проявлением непомерной гордыни и много раз говорили ему, что его смирение - паче гордости. Однако истолкование подобного поведения, даваемое философом Тиллихом, представляется более глубоким и убедительным:

"Невротическая тревога строит тесный замок определенности, который может быть защищен и защищается с невероятным упорством. Вопрошающая сила человека не допускается до проявления в этой сфере, и если опасность ее проявления обнаруживается снаружи, невротик отвечает на нее фанатическим отвержением. Замок не подлежащий сомнению определенности строится, однако, не на скале реальности. Неспособность невротика к полному соприкосновению с действительностью делает его сомнения так же, как и его убеждения, иррациональными" /46/.

Иррациональные - именно этот эпитет напрашивается очень часто, когда читаешь оправдательно-обвинительные послания Гоголя друзьям. Как адвокат, пытающийся красноречивым многословием запутать присяжных, он нагромождает псевдоаргументы, раздутые эмоции, призывы к сердечному участию, напоминания о случаях поспешных и несправедливых обвинительных приговоров, и всё это - ради оправдательного приговора своему клиенту. То есть себе. Он пытается доказать недоказуемое и оправдать то, что не имеет оправдания. Когда он чувствует, что аргументы не срабатывают, он гневно требует от друзей слепого доверия и приятия: "если вы мне настоящие друзья, вы должны поверить, что у меня были основательные причины так поступить!"

И друзья поддаются, смиряются, как бы исключают его из-под действия законов обычной человеческой морали. "Бог вас знает, какие у вас на этот счет понятия!" - горестно восклицает Смирнова-Россет, когда Гоголь очередной раз ставит ее в тупик своим поведением в отношении своих и чужих денег /47/. "Назначь и объяви, что тебе

нужно. Ты увидишь, что я, отказавшись от имени твоего друга, сделаю столько же, сколько бы сделал и освятившись им", - заключает Плетнев свое горестное письмо от 27 октября 1847 г. /48/. Гоголю прощают оскорбленные друзья, уязвленные женщины, осмеянные собраты по перу. Но есть один судья, который остается безжалостным и непреклонным, которого не заговоришь, не разжалобишь слезами, не запугаешь.

Судья этот - искусство.

Только ему дано пробить стену в замке, выстроенном Гоголем, только оно снова и снова ставит его лицом к лицу с правдой - в том числе и с ужасом небытия.

Сколько усилий потратил Гоголь на то, чтобы навязать искусству законы морали, сколько изворотливости проявляет, чтобы втиснуть его шею в ярмо полезного добра!

"Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творенье свое в поученье людей... Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличное от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более как естественное явление, законный ход его необыкновенного организма, состояние временное духа, может показаться другим людям верховною точкою, до которой следует всем дойти. Чем больше одушевится он любовью к героям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большею живостью выставит их, тем больше вреда" /49/.

Но искусство не поддается, отказывается подчиняться критериям "вредно-полезно", остается целиком между своими извечными полюсами - прекрасного и убогого, богатого и жалкого, яркого и бледного, глубокого и плоского.

Оно отказывается заниматься поучениями, ибо знает, что его истинная задача - не поучать ум, а обогащать сердце.

Всё тщетно.

Гоголь не может изменить искусству, не может начать

писать плохо. Искусство же взыскует правды чувства, а правда ставит художника лицом к лицу с неистребимостью страданий, с порочностью человеческой природы, с бедностью души, с возможностью небытия. Ужас, рождаемый этим сознанием, требует мужества. Если мужества нет, человек погружается в отчаяние. Но мужество невозможно воспитать в себе, его невозможно выпросить. В религиозной терминологии, утверждает Тиллих, мужество - это благодать, даруемая свыше. За что она даруется, за что отнимается - это остается для нас непостижимой тайной. Но мы знаем, что без мужества радость бытия невозможна.

"Радость есть выражение мужественного "да" своему подлинному бытию. Соединение мужества и радости яснее показывает нам онтологический характер мужества... Можно сказать, что мужество быть - это мужество принимать себя как принятого (Богом) вопреки явной своей неприемлемости" /50/.

Гоголь пытался спастись от отчаяния, утешая нас - а в первую очередь себя - несбыточными обещаниями, примирительными увещеваниями, невыполнимыми советами. Но проповедям его мы не верим, а продолжаем всматриваться в страшную драму его жизни. Ибо чувствуем, что именно в ней - главная наука для нас. И если бы потребовалось свести ее к просто морали, то надо было бы сказать примерно следующее: ни яркий талант, ни слава, ни любовь ближних, ни другие дары, которых мы просим обычно у судьбы, не дадут нам счастья, если не сподобимся мы при этом получить необходимый запас мужества.

Где и как его можно добыть - это остается загадкой, разрешить которую без помощи религии, веры вряд ли возможно.

*Статья была представлена (в сокращенном виде)
в качестве доклада на конференции AATSEEL
29 декабря 1989 г. в Вашингтоне*

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Н. В. Гоголь. Переписка (Москва: Художественная литература, 1988), т. 1, стр. 209.
2. Там же, т. 2, стр. 191.
3. Там же, т. 2, стр. 232.
4. С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. Собрание сочинений (Москва: Художественная литература, 1956), т. 3, стр. 343.
5. В. Г. Белинский. "Письмо к Гоголю". Цитируется по "Переписка Гоголя" (ук. соч.), т. 2, стр. 272.
6. Переписка (ук. соч.), т. 2, стр. 123.
7. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем (ук. соч.), стр. 282-83.
8. Переписка (ук. соч.), т. 2, стр. 186.
9. В книге Аксакова "История моего знакомства с Гоголем" (ук. соч.), стр. 351.
10. Гоголь. Театральный разъезд. Собрание сочинений (Москва: Художественная литература, 1977), т. 4, стр. 229.
11. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Собрание сочинений (ук. соч.), т. 6, стр. 260.
12. Там же, стр. 244-46.
13. Гоголь. Театральный разъезд (ук. соч.), т. 4, стр. 243.
14. Там же, стр. 232.
15. Там же, стр. 235.
16. Переписка (ук. соч.), т. 2, стр. 182-83.
17. Гоголь. Выбранные места (ук. соч.), стр. 279.
18. Гоголь. Театральный разъезд (ук. соч.), стр. 255.
19. В. Г. Белинский. Собрание сочинений, т. 6, стр. 663.
20. С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем (ук. соч.), стр. 255.
21. Переписка (ук. соч.), т. 1, стр. 213.
22. Там же, т. 2, стр. 131.
23. Там же, т. 2, стр. 213.
24. В книге Аксакова "История моего знакомства с Гоголем" (ук. соч.), стр. 316.
25. Там же, стр. 317.
26. Там же, стр. 296.
27. Там же, стр. 298.
28. Переписка (ук. соч.), т. 1, стр. 468-69.
29. Ф. М. Достоевский. Село Степанчиково. Собрание сочинений (Ленинград: Наука, 1972), т. 3, стр. 7-8.
30. Ю. Н. Тынянов. Статья "Достоевский и Гоголь". Архаисты и новаторы (Мюнхен: Wilhelm Fink Verlag, 1967, репринт издания 1929 года, Ленинград), стр. 412-56.

31. Аксаков. "История моего знакомства с Гоголем" (ук. соч.), стр. 212.
32. Гоголь. Переписка (ук. соч.), т. 2, стр. 258.
33. Там же, т. 1, стр. 214.
34. Там же, т. 2, стр. 140.
35. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями (ук. соч.), стр. 278.
36. Гоголь. Переписка (ук. соч.), т. 1, стр. 212.
37. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями (ук. соч.), письмо 21, стр. 278.
38. Там же, письмо 10, стр. 218.
39. Там же, письмо 13, стр. 233.
40. Там же, письмо 19, стр. 265.
41. Там же, письмо 20, стр. 270.
42. Там же, письмо 17, стр. 249.
43. Там же, письмо 22, стр. 289.
44. Переписка (ук. соч.), т. 1, стр. 418-19.
45. Поль Тиллих. Мужество быть (Самиздат, рукописный перевод С. Ястржембовского, 1970-е), стр. 43.
46. Там же, стр. 47.
47. Переписка (ук. соч.), т. 2, стр. 130.
48. Там же, т. 1, стр. 249.
49. Гоголь. Авторская исповедь. Собрание сочинений (ук. соч.), т. 6, стр. 443-44.
50. Тиллих. Мужество быть (ук. соч.), стр. 9, 102.



О художественности русской литературы

*(размышления над "Выбранными местами
из переписки с друзьями" Н. В. Гоголя
и "Дневниками писателя" Ф. М. Достоевского)*

"Для современников, близко знавших Гоголя, этот человек был загадкой. Загадкою остается он и для нас", - писал Д. Н. Овсянико-Куликовский в 1907 г. "Гоголь принадлежит к самым загадочным русским писателям, и еще мало сделано для его познания. Он загадочнее Достоевского", - утверждал десятилетие спустя, уже после Октябрьской революции, Н. А. Бердяев. Можно утверждать, что и сейчас, через семь с половиной десятилетий, Гоголь по-прежнему остается для нас загадкой более, чем кто-либо из русских писателей-классиков.

Одни исследователи - и среди них немало умных и достойных - называют его последовательным реалистом, другие - и среди них тоже немало значительных имен - Розанов, Мережковский, Брюсов, Набоков - не менее убедительно доказывают, что мир Гоголя ничего общего не имеет с действительностью, являет собой лишь плод его фантазмагорических иллюзий. Всю жизнь Гоголь стремился к утверждению православных идеалов, меж тем одни склонны подозревать, что он проиграл в борьбе с Сатаной и силами тьмы, другие называют его "творцом языческого Ренессанса", третьи - тайным приверженцем католицизма. Можно привести еще немало подобных парадоксов, скажу

лишь, что в атмосферу загадок, тайн и странностей погружаешься сразу же, как только с более или менее серьезными целями подступаешь к гоголевскому миру, к его личности. Это, я думаю, подтвердят многие: столкнулся с этим и я. Когда мысль сопоставить "Выбранные места из переписки с друзьями" и "Дневник писателя" только пришла на ум, был уверен: она столь очевидна, что существует обширная литература на сей счет. Однако - удивительное дело - мне до последних пор не удалось обнаружить ни одной работы, специально посвященной этой теме. Возможно, что такие и есть, но уже то удивительно, что их надо искать так долго! Из известных мне зарубежных работ проблема поставлена в книге Д. В. Гришина "Достоевский - человек, писатель и мифы. Достоевский и его "Дневник писателя". Мельбурн, 1971.

Конечно, отсутствие подобных работ в советском литературоведении достаточно легко объяснимо: долгое время оба этих произведения, особенно "Выбранные места...", оставались чем-то вроде заминированной территории - лучше не подходить слишком близко... Лишь буквально в последние полгода появились две очень интересные работы: Е. Г. Падерина (Новосибирск) "Гоголь и Достоевский. Проблема образа автора" и Т. В. Захарова (Тюмень) "Выбранные места из переписки с друзьями" Н. В. Гоголя и "Дневник писателя" Ф. М. Достоевского ("кризис авторства" и проблема авторского статуса)". Обе пока нигде не опубликованы, первая из них была защищена в качестве кандидатской диссертации в минувшем году, вторая послужила основой доклада на VI Старорусских чтениях в 1991 г. В этих работах, как явствует из названий, интересующая нас проблема рассмотрена в рамках теории "образа автора", с привлечением философско-эстетического и социально-психологического анализа. В моей статье избран иной аспект.

У "Переписки" и "Дневника" (так я позволю себе, для краткости, именовать в дальнейшем эти произведения) много общего. Прежде всего - это не имеющие аналогов в

русской литературе XIX в. прямые обращения писателя к своим читателям в формах достаточно интимных, рассчитанных на глубокий личностный контакт - открытого дневника или открытой переписки. При том главная цель такого обращения - прямое духовное наставничество. Очень много тематических совпадений в обоих произведениях - о самовоспитании личности, о путях внутреннего совершенствования, о роли Церкви в России, о просвещении, о сути, целях и задачах литературы, о роли и назначении русской женщины, о славянофилах и западниках, о Пушкине, о вине всех за всех, о сущности и назначении искусства, о социальных противоречиях и будущем России. Однако в данной работе меня интересует другое. Мне хотелось бы сосредоточиться на сопоставлении духовных и творческих индивидуальностей двух писателей, являющих, на мой взгляд, два основных типа русского религиозно-художественного сознания. А затем попытаться ответить на актуальный ныне вопрос - что такое художественность русской литературы. Все чаще приходится слышать, будто русская классическая литература, тенденциозная, морализующая и учительная, явилась прямой предшественницей литературы социалистического реализма, а сейчас-де пришло время отказаться от всего этого - наша новая литература должна быть только художественной и ставить только эстетические задачи.

Конечно же, на деле официальная советская литература если и имеет генетическую преемственность с русской классикой, то лишь обратную: чем больше в произведении было примет "официальной советской литературы", тем меньше его связи с русской классикой, и наоборот. Но это тема специальных работ; в первую очередь необходимо определить суть самого понятия "художественность" в русской классической литературной традиции. Мне представляется, что оно здесь имеет иной смысл, нежели мы в него вкладываем в соответствии с общепринятым представлением.

Читательская судьба "Переписки" и "Дневника" была

различной. По свидетельству современников, из лиц, причастных к русской литературе и прочитавших "Переписку", более 90% оказались против нее; отрицательной была реакция и большинства рядовых читателей. Казалось, в одночасье рухнула связь Гоголя со всей русской читающей публикой. Даже искренне любившие Гоголя люди не приняли "Переписку". Выразалось мнение, что он погиб как художник.

В то же время читательская судьба "Дневника" была более успешной. Он с большим воодушевлением и даже с восторгом был встречен читающей Россией, и после его появления почти никто не выражал опасений, что Достоевский-художник погиб.

На первый взгляд, причина такой реакции лежит на поверхности. Напыщенный морализаторский тон "Переписки" отталкивал читателей, заставляя их подозревать в авторе фальшь и вызывая неприятие подобного поучительства. В то же время простой и искренний, без тени нажима тон "Дневника" (включавшего, к тому же, ряд чисто художественных фрагментов), располагал читателя к доверию и приятию.

Но можем ли мы предполагать, что такой мастер слова, как Гоголь - в XIX в. равным ему в этом мастерстве был, пожалуй, лишь Пушкин, - так тщательно отделявший каждую фразу, переписывавший свои произведения по нескольку раз, не нашел верных слов и интонаций в этой, самой главной для него книге? Что он, при том страстном религиозном напряжении, которое владело им всегда, а особенно на протяжении последнего десятилетия жизни, не сумел убедительно передать этого читателю? А с другой стороны - разве не был Достоевский во всех своих произведениях в подлинном смысле слова морализатором и проповедником? И разве не затевался "Дневник" именно для того, чтобы *провести идею*: "Тут отчет о событиях не столько как о новости, - писал сам Достоевский, - сколько о том, что из него останется как более постоянное, более связанное с общей, с цельной идеей"? И Достоевский пре-

тендовал на роль духовного наставника, но многие читатели "Дневника" с радостью соглашались его в таком качестве принять.

Наиболее известное высказывание Достоевского о "Переписке" напрямую связано с интересующим нас вопросом - с понятием художественности: "И что за мысль, что художественность исключает внутреннее содержание? Напротив, дает его в высшей степени: Гоголь в своей "Переписке..." слаб, хотя и характерен, Гоголь же в тех местах "Мертвых душ", где, переставая быть художником, начинает рассуждать прямо от себя, просто слаб и даже не характерен, а между тем его создания, его "Мертвые души" - самые глубочайшие произведения, самые богатые внутренним содержанием". Таким образом, основную слабость "Переписки" Достоевский видел именно в отсутствии художественности. "Дневнику" же мало кто отказывал в художественности. Сам Достоевский называл его "сочинением"; как художественное произведение расценивают его и большинство исследователей. Видимо, в этом и заключается причина их разной читательской судьбы. Но можем ли мы определить то качество - художественность, по которому различаются эти произведения?

А. Плетнев сказал однажды: "Переписка" есть начало русской литературы". Прочитав это мудрое высказывание, Д. Мережковский пишет в своей книге о Гоголе: "Если заменить здесь слово "литература" словом "критика"... в смысле перехода от бессознательного творчества к творческому сознанию - то это и будет наша мысль. В "Переписке" нам слышится именно конец, совершенство, неповторяемость Пушкина, т. е. конец всей русской литературы и начало того, что за Пушкиным, за русской литературой, конец поэзии - начало религии... Он (Гоголь. - К.С.) первый заговорил о Боге не отвлеченно, не созерцательно, не догматически, а жизненно, действительно - так, как еще никто никогда не говорил в русском обществе. Правду или неправду он говорил, неотразимо все-таки чувствуется, что вопрос о Боге есть для него самого воп-

рос жизни и смерти, полный бесконечного ужаса, вопрос его собственного, личного и общего русского и мирового спасения”.

Но Мережковский, по-моему, слишком резко разделяет литературу и религию, и отграничивает литературу послепушкинских времен от предшествующей. О Боге - имея в виду именно личное, русское и всемирное спасение - говорила русская литература всегда, начиная со своих истоков. Конечно, долгое время литература была преимущественно церковной и ставить иных задач не могла (но тут можно отметить, что и так называемые ”бытовые повести” русского средневековья - в отличие, скажем, от ”Декамерона” - говорят, в конечном итоге, именно об этом же). В Новое время ситуация существенно изменилась, предопределяя специфику развития русской литературы на многие последующие века. Специфика эта заключалась вот в чем. В русской духовной традиции религиозность определяет не одну лишь собственно церковную сферу жизни человека, а все его бытие целиком, от важнейших жизненных проблем до самых бытовых. Человек ощущает себя в некоей вселенской Церкви, предстоящим перед Богом всегда, в любое мгновение своей жизни (в XX в., в период отпадения от Бога, сохранившаяся, но так сказать, опустевшая религиозность принесла много злых плодов, но это иная тема). Возвращаясь же к началу Нового времени, необходимо сказать, что изменения в религиозном и культурном сознании, неизбежные в процессе развития человечества и получившие на Западе наименование Реформации, не могли миновать и Россию. Но здесь секуляризация жизни вела не к отторжению от религии тех или иных сфер жизни и не к упрощению (исчезновению) обрядов, как на Западе, а к тому, напротив, что религиозная духовная жизнь, не будучи связана уже преимущественно с Церковью, завоевывала новые области, главным образом литературу. Литература должна была выполнить роль как бы мирской заместительницы или

преддверия Церкви^{*}. Начало этого процесса в силу своей гениальной прозорливости интуитивно угадал Пушкин: к концу своей великой, но все же такой короткой жизни он шел к ясному осознанию и воплощению этого. Но во всей своей немыслимой сложности эта задача выпала именно на долю Гоголя. Кульминацией же здесь стала "Переписка".

Однако реакция читателей была, как я уже говорил, не та, которую ожидал Гоголь. Да и отзыв духовных лиц на "Переписку" был довольно сдержанным. Митрополит Филарет, радуясь "христианскому направлению" автора, считал, что Гоголь "во многом заблуждается". Иннокентий Херсонский просил Гоголя, через Погодина, не "пародировать набожность", которая "любит внутреннюю клеть, а в противном случае - плода не будет". Преосв. Григорий, епископ Калужский, с горечью заметил, что автор не богослов, а "просто сбившийся с пути истинного пустослов". Духовник Гоголя, о. Матвей, заявил, что "Переписка" вообще должна произвести вредное воздействие, и Гоголь даст за нее ответ Богу; "не лучше ли ему совсем бросить литературу и идти в монастырь".

Тот же Мережковский, правда, видит в подобных отзывах свидетельство того, что эти духовные лица не дали себе труда вдуматься, вчувствоваться в трагедию автора "Переписки" (хотя мне представляется, что сам Мережковский не дал себе труда вдуматься по крайней мере в некоторые из этих отзывов). Но существует еще один развернутый отзыв духовного лица о "Переписке" - это письмо-отзыв на пришедшую в библиотеку Оптиной пустыни

^{*} В дальнейшем для довольно большой части русской интеллигенции эта литература стала своего рода "заменителем" Церкви, некоей альтернативной религией, что и дало, видимо, возможность для многих подобных читателей в свою очередь заменить затем эту "религию" на марксизм, соцреализм, нацреализм (термин, встретившийся мне в работах украинского критика В. Звизняцкого). Вина ли тут литературы или читателей - еще предстоит понять.

"Переписку", написано, по-видимому, в 1847 г.; по мнению исследователей и, в частности, Л. Соколова, письмо это принадлежит о. Игнатию Брянчанинову. Это удивительное по глубокой мудрости и ясности духа письмо и уж оно никоим образом не дает оснований упрекать его автора в поверхностном подходе к этой книге.

Автор письма, признавая, что в книге "виден человек, обратившийся к Богу с горячностью сердца", считает, тем не менее, что книга "издает из себя и свет, и тьму". Для того же, чтобы книга издавала "неподдельный свет", нужна "о п р е д е л и т е л ь н о с т ь", заключающаяся "в точном познании истины, в отделении ее от всего ложного, от всего лишь кажущегося истинным". Но этого мало: ученики Христа, будучи *очищены* истиной, затем были *оживлены* святым Духом. "До принятия Духа Святого они не были способны научить человечество, хотя уже и были чисты". Сие должно совершиться и с каждым христианином.

Отчего же произошло в "Переписке" это "смещение света с тьмой"? И почему же нет в этой книге Святого Духа?

Известно такое свидетельство К. С. Аксакова: "Я не знаю, любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю, что нет, да это и невозможно... Всякому было ясно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела; конечно, бывали исключительные мгновения, но весьма редкие и весьма для немногих".

Но есть и такое свидетельство, члена той же семьи Аксаковых, О. С. Аксаковой: "Отчего это каждое слово Гоголя подымает так душу со дна... тревожит ее снова и цель ее существования и долг ее на земле... И вообще во всех его дружеских письмах столько теплой любви, душевной заботливости об каждом. Вот откуда проистекает его желание учить других - из этого неисчерпаемого источника любви к людям, из этой неутомимой скорби, заботливости о них, которая даже простиралась и на внешние обстоятельства каждого. Вот почему каждое его слово

возбуждает в душе каждого ту же любовь..." Здесь, заметим, речь идет не о воздействии Гоголя-личности, а о воздействии написанных им слов. Но все же между этими двумя высказываниями есть, казалось бы, явное противоречие.

Гоголь практически первым из русских писателей понял, что в период оскудения влияния Церкви на сознание общества именно писатели должны стать духовными поводами людей. Свойственная ему с детства убежденность в своем высоком предназначении привела его к мысли, что таким главным поводом может и должен быть именно он. Но с детства же присущая Гоголю крайняя (на грани греховности) духовная самостоятельность, скрытность и отъединенность от окружающих, вплоть до презрения к многим из них, привели к тому, что в зрелом возрасте Гоголь ощущал себя в некотором роде Моисеем, посредником между Богом и своими погрязшими в грехах современниками, которые не способны понять его и с которыми, в силу этого, практически невозможен равный, полностью искренний духовный контакт. Но в то же время автор "Мертвых душ" был одушевляем великой любовью к людям, к своему народу и человечеству - вплоть до жертвы всей своей жизнью.

Со времен Достоевского и вообще героев поздней русской классики мы привыкли скептически воспринимать подобное сочетание - любовь ко всему человечеству с отсутствием любви к ближним - как красивое прикрытие мелких и крупных эгоистов. Но в данном случае всё обстояло иначе. Будем помнить, что период зрелого духовного и художественного творчества Гоголя от времени создания Достоевским своих великих романов отделяет более четверти века. За это время происходили быстрые и интенсивные изменения в русском общественном сознании (русское общество вообще очень динамично развивалось в то время). В 60-70-е гг. XIX в. любовь ко всему человечеству становилась уже как бы необходимой нравственной нормой развитого интеллигента, интенсивно осмыслялась,

часто декларировалась и действительно в основном маскировала в глазах окружающих (и зачастую самой личности) отсутствие любви к ближним своим. Во времена Гоголя было не так. Тогда как раз любовь к ближним - семейная, родственная любовь - была нормой, а любовь ко всему народу, во всем многообразии его конкретных сословий и лиц, ко всему человечеству была чем-то теоретическим, далеким от нормальной жизни, как Небо от земли. Сознательно отдать всю свою жизнь, до последней капли, на служение людям - в мирное время - было действительно высоким духовным подвигом. Нам, может быть, сейчас трудно представить это, но ведь Гоголь был абсолютно уверен, что от состояния его души и от его слова зависит судьба народа русского (если не больше). Каково жить, ежедневно, ежечасно осознавая себя тоненькой ниточкой, на которой подвешена судьба всего народа? Как Гоголь исполнил эту роль - об этом написаны и еще будут написаны сотни томов, но сейчас необходимо отметить главное - после Гоголя русскому писателю уже невозможно было соглашаться на роль ниже, соглашаться на статус беллетриста.

Но те задачи, которые ставил Гоголь перед собой, можно было осуществить, лишь оставив литературу и уйдя в монастырь (именно это и советовал Гоголю о. Матвей). Однако Гоголь избрал иной путь: оставаясь в миру, оставаясь при этом еще и писателем, мало того - решая поставленную перед собой задачу средствами литературы. Возможно ли это в принципе - вот главный вопрос, интересующий нас в данном исследовании.

Истоки художественного дара Гоголя лежат в языческом мироощущении - мироощущении, которое, в общем, так и не было изжито Гоголем до последних лет жизни. В зрелые годы взгляды Гоголя претерпели существенную эволюцию - но, да позволено мне будет подобным образом судить, эволюционировали они до стадии ветхозаветного мироощущения (о самой последней поре его жизни не говорю - это опять же особая тема). А для такого сознания

прекрасное лежит в сфере безблагодатного, неизбежен конфликт между религией и искусством; конфликт этот *подзаконным* сознанием решается изгнанием художества.

Я уже говорил о самосознании Гоголем себя среди своих современников - в некотором роде моисеевском; но таким же было и его творческое самосознание.

В феврале 1846 г. Достоевский писал брату: "Во мне находят новую оригинальную струю... состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, т. е. иду в глубину, а разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое, и оттого не так глубок, как я". Слово "Синтез" вообще встречается в работах, посвященных исследованию гоголевского художественного мира, довольно часто. Речь идет о том, что высокий идеальный фон этого мира достигается именно синтезом: то есть в изображаемый мир пошлости, бездуховности, мир "мертвых душ" сознательное присутствие автора, внеположного этому миру, вносит высокую духовность, норму.

В силу тех качеств своего таланта и духовного мира, о которых я говорил, Гоголь не мог, не умел воплощать независимый от автора *положительный духовный идеал* в создаваемом им художественном мире. (Творческая история второго тома "Мертвых душ" являет собой одну из величайших духовных трагедий в истории русской литературы.) Однако зримое воплощение идеала Гоголь считал себя обязанным России дать. И тогда Гоголь решается на обращение к ждущим его слов соотечественникам напрямую - в некотором роде предлагая им в качестве образца для подражания собственные жизненные установки, собственное поведение. Но обращение напрямую подразумевает предельную степень открытости - на что пойти Гоголь тоже не мог. В результате он создает некий *образ* - образ чистого душой, искреннего и духовно просветленного учителя-наставника, помогающего читателям-слушателям обратиться на путь истинный. То есть вступает здесь обратно на путь художественного творчества - вернее, он с него и не сходил - но при этом отрицая данный факт и *перед чи-*

тателем, и перед самим собой, отрицая дистанцию между собой как реальным автором и образом автора "Переписки", не желая этого, отвергая самую возможность использования художественной прозы в данных целях. Однако проповедническое слово требует полной исповедальности - личность идеального проповедника должна быть абсолютно прозрачна для тех, к кому он обращается. Гоголь же подобной ясности и спокойствия был лишен, т. е. был лишен устойчивости, лишен второй опоры человека: одна - Бог во мне, другая - Бог в людях.

Ю. Ф. Самарин писал: "Личность (проповедника. - К. С.) есть та прозрачная среда, сквозь которую проходят лучи вечной истины, согревая и освещая человечество. Если же субъективность проповедника выступит вперед и станет перед слушателями в своей резкой исключительности, как твердое, непроницаемое тело, то она, как преграда, заслонит от них общее". И, как свидетельствует современник, по выходе "Переписки" все действительно занялись именно личностью Гоголя. Наконец, замыкание автора в границах своего "я" лишало читателя возможности сотворчества - важнейшего фактора всякого духовного общения. Вот что пишет современный исследователь: "Можно сказать, что как духовный наставник Гоголь в чем-то, и немало, уступает наставнику-монаху; он лишен его терпимости и любовного внимания к чужому слову".

В художественных произведениях Гоголя недостаток подобной авторской позиции еще не приводил к нарушению контакта. Все свои знаменитые лирические отступления и все свои произведения вообще Гоголь, естественно, обращал к некоему "другому" - гипотетическому собирательному читателю. Этот читатель тоже не был равен автору, тоже находился в положении наставляемого. Но писательский авторитет Гоголя в то время признавался практически всей читающей Россией; общение между писателем и читателем опосредовано - не носит столь сокровенный характер, как общение в духовно-религиозной сфере. К тому же между автором и читателем были сати-

рически изображенные персонажи - и одинаково критическое отношение к ним позволяло читателям в определенной степени уравнивать себя с автором. Всё это позволяло ощущать себя с автором. И это же позволяло ощущать себя - хотя и с известными ограничениями - другим субъектом, к которому обращено гоголевское слово. Но в "Переписке" этот же конкретный читатель вынужден был воспринимать себя в качестве персонажа - то есть объекта однонаправленного авторского слова - и духовного контакта не произошло.

Таким образом, сделать писательское слово средством духовного просвещения Гоголю не удалось. Разрешить эту задачу суждено было Достоевскому.

"Я действую Анализом, а не Синтезом" - это высказывание Достоевского сопоставимо с другим: *"При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного)"*. Найти образ Божий в каждом человеке - вот как понимаю я данное высказывание Достоевского. В начале поприща Достоевского воспринимали как прямого продолжателя Гоголя, затем становилось всё более ясно современникам, что Достоевский как бы пародирует - во всех смыслах - гоголевскую манеру, что создается (первоначально в гоголевских формах) новое содержание (потом потребовавшее и новых форм). Очень важно тут, что, как отметил в своем замечательном исследовании "Села Степанчикова" Ю. Тынянов, "позиция Достоевского здесь расходится с гоголевской еще и по такому утверждению: прекрасен несовершенный человек". Действительно, Гоголь с невероятной силой показал процесс омертвления живого человека, превращения его в функцию - практически до забвения той истины, что любой человек есть образ и подобие Божье; Достоевский же, прямо с "Бедных людей" начиная, доказывал, какие неисчерпаемые глубины, вполне равновеликие авторским, содержатся в душе любого, самого забитого человека.

Но по сути дела Достоевский был прямым продолжателем дела Гоголя в русской и мировой литературе. Гоголь впервые поставил перед литературой задачу: направить человека на путь постижения Божественной истины, увидеть Лик Божий в мире и в себе самом. Достоевский понял - и сумел воплотить это в художественном творчестве, - что такое постижение возможно лишь всем миром, возможно *не* посредством приобщения к высокой истине лишь одного, а затем поучительства, растолковывания - сверху вниз, а путем равноправного диалога. Диалога, непременным условием которого является, повторяю, умение увидеть Лик Божий в каждом человеке.

Вера Гоголя основывалась на страхе - страхе Божьем, который есть, как сказано, *начало* всякой премудрости, но в котором может содержаться - и содержалась в данном случае - немалая доля языческого страха перед наказанием со стороны высших сил - и неуверенности в благодати Промысла, недоверия к человеку. Отсюда, кстати, и убежденность Гоголя в том, что "писатель может выступать перед читателями только тогда, когда он уже всё разрешил в себе, что не тревожит его самого, если он сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще".

Но если страх есть начало премудрости Божьей, то *совершенная любовь* изгоняет страх. Духовное и художественное творчество Достоевского основывалось именно на этом принципе. И только любовь позволяет увидеть в ближнем брата своего, увидеть Лик Божий в человеке.

О принципе диалогизма в поэтике Достоевского написано очень много. В рамках данной работы важно то обстоятельство, что на диалогическом принципе основаны *взаимоотношения* не только между персонажами, но между персонажами и автором. Не только Достоевский создавал Раскольников, Мышкина, Лебедева, Ставрогина, Макара, Подростка, Алешу, Дмитрия и Ивана, но и каждый из этих героев по-своему создавал Достоевского как личность. В "Дневнике писателя" эти принципы - как и в "Переписке" - оказались перенесены на взаимоотношения автора с читателями.

По сути дела, все произведения Достоевского представляют собой проповеди, но поскольку автор ничего не скрывает от читателя - с которым стоит на одном уровне - не скрывает свои слабости, те сомнения, через горнило которых прошла его осанна, то перед нами своего рода сочетание проповеди с исповедью. Исповедь же, помимо искренности, подразумевает и отказ от самовозвеличения и самоприкрашивания (как говорит Дмитрий: "Дай мне Бог теперь не врать и себя не хвалить").

"За Вашими строками видно Вас самих; Вас словно узнаешь, знакомишься с Вами, читая Ваш "Дневник", - пишет Достоевскому его корреспондент. Достоевский и сам указывал, что читатели "Дневника" более всего хвалят его "за искренность и прямоту". Но очень важно и то, что одним из основных содержательных и формообразующих принципов "Дневника" стал диалогический - на всех уровнях, но главное: не только автор, по мере выхода очередных выпусков "Дневника", обогащает идеями читателей, но и сам обогащается, "строится", воспринимая от них и фактическую информацию, и духовное знание. При том, что личность автора в "Дневнике", казалось бы, постоянно на авансцене, но она не заслоняет читателю горизонт, читателю предоставлена свобода для собственных выводов и заключений, ему только указан тот уровень вечности, на который должен постоянно ориентироваться в своих решениях и поступках человек. Это же вполне можно отнести и к романам Достоевского.

Речь, таким образом, может идти о *соборном* постижении истины, т. е. таком всеобщем братском постижении ее, в котором на равных правах участвует *личная творческая воля каждого*, ничей земной авторитет не подавляет других - и свет Целого озаряет всех. Это и есть основа классической русской литературной традиции, которая со временем становилась все яснее.

И, завершая разговор, вернемся к художественности, вернее, категории прекрасного, - в том преломлении, которое она получила в русской классической литературе. Здесь позволю себе привести одно из основных положений

труда П. А. Флоренского "Столп и утверждение Истины": Флоренский объединяет несколько постулатов - познание Истины есть познание Бога, познание Истины возможно только в любви одного субъекта к другому субъекту, процесс "любовного постижения Истины, т. е. процесс пресуществления человека, обожение его, с точки зрения воспринимающего, есть Красота - объединяет их в следующем рассуждении: *"Истина, Добро и Красота"* - эта метафизическая триада есть не три разных начала, а одно. Это - одна и та же *духовная жизнь*, но под разными углами зрения рассматриваемая. Духовная жизнь, как из Я исходящая, в Я свое средоточие имеющая - есть Истина. Воспринимаемая как непосредственное действие другого - она есть Добро. Предметно же созерцаемая третьим, как вовне лучающаяся - Красота". И с этой точки зрения, никаких границ между художественной прозой Достоевского и "Дневником" не было.

Не побоюсь сказать, что это было неким провозвестием литературы будущего - провозвестием, получившим затем теоретическое обоснование в трудах Вл. Соловьева. В силу множества причин русская литература вскоре оставила этот благой путь и двинулась по разнообразным другим.

Очень хочется верить - и есть основания для такой веры - в возвращение; не вспять, конечно, а лишь на ту дорогу, что освещена целью - духовного преображения человека. Но будем помнить, что первые, самые тяжелые шаги по этой дороге довелось сделать Гоголю. "Другие дела наступают для поэзии", - пророчески писал он в "Переписке", мечтая о том времени, когда "мысль о внутреннем построении человека в том образе, в котором повелел ему состроиться Бог, из самородных начал земли своей, сделается у нас наконец общею по всей России и равно желанною всем" - и чтоб писатели этого будущего увидели, "что есть в нас лучшего, собственного нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение". Можно думать, что Гоголь тут провидел появление Достоевского, а может, глядел и дальше вперед.

Первый псалом Давида в переложениях русских поэтов

1

Слова Священного Писания есть та вода живая, о которой Христос говорил, что она "течет в жизнь вечную". Как в жизни отдельного человека путь подражания святым и праведникам приводит его к духовному совершенству, так в жизни общества, в той области ее, которую мы называем "культурой", постижение священных текстов через переложения и подражания в литературе, в живописи, в поэзии приводит к созданию творческих шедевров.

В русской духовной поэзии, источником которой являются сюжеты, образы и молитвы из книг Священного Писания, как один из жанров этой поэзии, выделяются разнообразные переложения, буквальные или вольные, псалмов Давида. Та высокая, утешительная и спасительная беседа с Богом, которую ведет псалмопевец, в сущности, есть та же беседа, которую ведет с Богом каждый верующий человек; но в псалмах она дана в словесных формулах непреходящей красоты и торжественности. Именно поэтому вечные истины, выраженные псалмопевцем в лаконичной поэтической форме, были и остаются источником вдохновения русских поэтов, начиная с XVII века и вплоть до XX века, поэтов, выступающих в различных жанрах: от оды у Тредиаковского до народного стиха у Шевченко.

Дó настоящего времени исследователями пока не было предпринято попытки собрать вместе, осмыслить и прокомментировать все имеющиеся в русской поэзии переложения библейских псалмов. Предлагаемая вниманию читателя статья является таким собранием, относящимся к первому псалму.

2

Блажен муж,
иже не иде на совет нечестивых,
и на пути грешных не ста,
и на седалище губителей не седе.

Но в законе Господни воля его,
и в законе его поучится день и ночь.

И будет яко древо насажденное при исходящих
вод,
еже плод свой даст во время свое:
и лист его не упадет,
и вся, елика аще творит, успеет.

Не тако нечестивии, не тако: но яко прах,
его же возметает ветер от лица земли.

Сего ради не воскреснут нечистивии
на суде, ниже грешницы в совет праведных.

Яко весть Господь путь праведных,
и путь нечестивых погибнет.

3

Первые строки славянского текста первого псалма Давида знакомы нам из службы Всенощного бдения, когда после завершения Великой ектеньи хор поет:

**"Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых.
Аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа..."**

Первый перевод Библии с греческого языка на славянский сделан был в IX веке святыми проповедниками Кириллом и Мефодием, первоучителями славянскими. От моравов Священное Писание было вместе с богослужебными книгами заимствовано болгарами, а от последних - Киевской Русью.

Первая Библия в полном составе была собрана новгородским владыкою Геннадием в 1499 г. - до этого Священное Писание было распространено в отрывках и отдельных книгах, а всех же книг в полном составе и одном свитке у нас не было. В этот же период были предприняты труды по исправлению славянского текста путем сличения его с греческими и еврейскими подлинниками. Самой замечательной работой такого рода был Новый Завет, писанный рукой московского святителя Алексия в 1355 г. Подобными же трудами по исправлению текста занимались митрополиты свв. Киприан и Филипп, а также Максим Грек.

По распоряжению митрополита Филиппа, воспитанник его, новокрещенный еврей Феодор, перевел с еврейского подлинника Псалтирь и книгу Есфирь. Им же сделаны и относящиеся к этому времени поправки в древне-славянском тексте Пятикнижия и пророческих книг.

Первая печатная Библия в России на славянском языке появилась в 1581 году благодаря трудам князя Константина Острожского. За основу при печатании был взят Геннадиевский сборник, исправленный по канону греческой Библии.

Дальнейшие заботы об исправлении и издании Библии принадлежат Петру Великому. В соответствии с его указом было поручено иеромонаху Софронию Лихудию и архимандриту Феофилакту Лопатинскому с помощниками вычитать славянскую Библию и согласить ее во всем с греческою семидесяти толковников.

Исправленная Библия была напечатана в 1751 году при

императрице Елизавете Петровне. Переводчики приняли во внимание все исправления прежних справщиков. Этот-то перевод Библии и был распространен в XVIII-XIX веках в России по благословению Святейшего Синода, пока в конце XIX века не был выполнен перевод на современный русский язык.

Таким образом, славянский текст Псалтири и, в частности, первого псалма учитывает правки, сделанные по еврейскому подлиннику Феодором, учеником Филиппа в XV веке.

4

Славянский текст первого псалма построен, как свободный стих, единство которого определяется не ритмом и рифмой, а смыслом, многообразным варьированием двух размышлений: блажен путь праведного и гибелен путь грешника.

Стихотворные строки псалма объединяются в шесть строф, каждая из которых представляет собой законченную мысль и оформлена как одно предложение. При этом первые три строфы рассказывают в ярких образах о жизненном успехе праведника, вторые три - о ничтожестве грешника.

5

Во второй половине XVII века, в 1678 году, монах Симеон Полоцкий, придворный поэт царя Алексея Михайловича, осуществил первое стихотворное переложение всей Псалтири, в том числе и первого псалма. Свой труд он назвал "Псалтирь рифмованная". В предисловии к книге он писал о мотивах, побудивших его совершить свой труд:

"Тем же я церковь мати по вся дни читает,
Во всяких си пениях их употребляет,

Полезно же и в домах оны честно пети, -
Но без глас подложенных трудно то умети.
И разум сокровенный спону содевает, -
Чтый более поющ псалмы со трудом той знает.
Тем во инех языцех в метры переведены,
Разумети и пети удобь устроены”.

Иными словами, Симеон пояснял, что он переложил Псалтирь стихами для удобства ее пения не в церкви, но в домашнем чтении и употреблении.

Во времена Симеона Полоцкого на Руси было распространено силлабическое виршевое стихосложение, в котором ритм стихов определялся не равномерностью чередования ударных и безударных слогов, а постоянным количеством слогов в строках; рифма употреблялась только парная.

Первый псалом переложен Симеоном в виде тринадцатисложника, состоящего, как и исходный текст, из 6-ти строф. При этом первая и третья строфы, как и в оригинале, состоят из 4-х стихов. Симеон старался почти полностью сохранить слова славянского текста; изменения допускались только ради рифмы или сохранения числа слогов.

Блажен муж, иже во злых совет не входяше,
ниже на путях грешных человек стояше,
ниже на седалищех восхоте седети,
тех иже не желают блага разумети, -

Но в законе Господни волю полагает,
тому днем и нощию себе поучает.

Будет бо яко древо, при водах сажденно,
еже дает во время си плод свой неизменно;
Лист его не отпадает; - и все, еже деет,
по желанию сердца онаго успеет.

Не тако нечестивый, ибо исчезает,
яко прах, его же ветер с земли развеваает.

Тем же нечестивии не имут востати,
на суд, ниже грешницы в совет правых стати.

Вестъ бо Господь путь правых, тыя защищает,
путь паки нечестивых в конец погубляет.

Хотя задача по переложению Псалтири стихами была нелегкая, Симеон Полоцкий выполнил ее за кратчайший срок - с 4 февраля по 20 марта 1678 года, - и с таким блеском, что книга его, изданная в 1680 году, пользовалась большой популярностью вплоть до XIX века. В 1680 году русский композитор В. П. Титов составил музыку ко всей Псалтири Симеона. Ломоносов впоследствии писал, что Псалтирь была именно той книгой, по которой он познакомился с российским стихосложением.

6

Силлабическое стихосложение просуществовало в России до середины XVIII века, до той поры, пока в 1735 году великий русский ученый и писатель Василий Кириллович Тредиаковский не подал в Академию свою работу "Новый и краткий способ к сложению российских стихов". В работе излагалась силлаботоническая система, более свойственная русскому языку, как языку со свободной позицией ударения в словах. Силлаботоническая система основана на регулярном чередовании ударных и безударных слогов.

В этой же работе Тредиаковский изложил систему жанров классицизма и впервые в русской поэзии дал образцы таких форм, как ода, сонет, рондо, мадригал.

Тредиаковский обратился к переложению псалмов для того, чтобы дополнить образцы жанра оды еще одной разновидностью: "Одой Божественной". К 1750 году он составил полное переложение Псалтири, но работа так и оста-

лась в рукописи. Лишь отдельные псалмы, в том числе первый, были включены в книгу "Сочинения и переводы", вышедшую в 1752 году. Предваряя в этой книге раздел "Оды Божественные", Тредиаковский писал:

"Всяк российский охотник может приметить высоту слова, каковая приличествует одам, в псалмах святого псалмопевца: ибо псалмы есть не что иное, как токмо оды... Увидит он тут и благородство материи, и богатство украшения, и великолепие изображений, увидит удивительное вознесение слога".

Первый псалом Давида переложен Тредиаковским стихами трехстопного хорея. В отличие от Симеона Полоцкого Тредиаковский отошел от структуры подлинника, написав вместо шести строф десять.

Муж поистине блажен,
Кой к совету нечестивых
Не был всякой приближен
Шествием для мнений льстивых.

Кой ниже, когда познал
Беззаконных путь лукавый,
И на том отнюдь не стал,
Зная, коль он есть неправый.

Кой не сел и на престол
Пагубников гордо злобных,
И на нем судя пробол
Как чужих, так и утробных.

Но закону отдает
Послушание Господню;
И Его всегда поет
Всю кланя власть преисподню.

Сей, как древо при водах,
Процветает насажденный;

Веселится при плодах
Правоты есть угожденный,

Как на том же древе лист
Чрез все время зеленеет;
Так весь век в делах он чист,
Что ни начнет, преуспеет.

Все не так с грешащим, кой
Ни стыда ни Вышня знает.
Он такие мзды в день свой
Никогда не получает.

Он презрен так равно есть,
Как валяйся прах в доле,
Что летя вихрь бурный несть
Может от земли по воле.

Тем то всяк из таковых
В милостивый суд не встанет;
И ниже в числе святых
В вечной радости предстанет.

Праведных стези весть Бог,
И всегда и Сам защитит;
Путь же злых хотя и мог,
Грозна гибель весь похитит.

7

Тоническая система русского стихосложения открыла новые просторы для поэтического творчества и дала в XVIII веке в России таких поэтов, как Сумароков, Кантемир, Ломоносов, Державин.

Михаил Васильевич Ломоносов, явивший свой само-бытный гений в различных науках, был и выдающимся филологом. Изучив работу Тредиаковского, он в своем

"Письме о правилах российского стихотворства" завершает разработку теоретических основ русского стихосложения. Теперь приобрели значение не общие принципы уже победившей тонической системы, а частные, однако весьма важные вопросы, как, например, о жанровой пригодности и допустимости различных размеров. Спор о свойствах ямба и хорее подал в 1743 году повод для своеобразного поэтического состязания. Три самых крупных поэта - Ломоносов, Тредиаковский и Сумароков - решили на практике доказать справедливость своих мнений и для этого переложить стихами 143-й псалом. Причем, Ломоносов и Сумароков, следуя своей концепции соответствия размера и содержания, выполнили переложение ямбом, Тредиаковский - хореем. Инициатива выбора именно этого псалма принадлежала Ломоносову, который по жалобе профессоров-иностранцев был в это время арестован и находился под стражей. При этих условиях тема псалма 143, где идет речь об избавлении от руки сынов чуждых, была созвучна тогдашнему настроению поэта.

В этом споре прав оказался Тредиаковский, который считал, что "никоторая из стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности; но что все сие зависит токмо от изображений, которые стихотворец употребляет в свое сочинение".

Переложение псалмов увлекло Ломоносова. Стремясь как можно точнее придерживаться оригинала, он выбирал для перевода те из них, которые более всего соответствовали его переживаниям.

Переложения Ломоносова поражают удивительным чувством русского языка. Не случайно Пушкин считал переложения псалмов лучшими произведениями его.

Переложение первого псалма вместе с 26-м и 34-м осуществлено в 1749-1750 годы. Духовная ода, являющаяся переложением первого псалма, посвящена высокому покровителю Ломоносова при дворе императрицы Елизаветы Петровны, человеку благороднейшего ума и качеств - Ивану Ивановичу Шувалову. Являясь генерал-адъютантом

императрицы и членом государственного совета, Шувалов действовал всегда бескорыстно и мягко, и со всеми ровно и добродушно, благодаря чему у него почти не было врагов. Он отказался от предложенных ему Елизаветой обширных поместий и графского титула. Главная же заслуга его заключалась в покровительстве, оказанном им образованию. В частности, в 1755 году Шувалов стал первым куратором основанного Ломоносовым Московского университета.

Первый псалом в переложении Ломоносова состоит, как и в славянском тексте, из шести строф. Стихи псалма написаны размером только что освоенного русскими поэтами четырехстопного ямба, впоследствии ставшего наиболее распространенным размером.

Блажен, кто к злым в совет не ходит,
Не хочет грешным в след ступить,
И с тем, кто в пагубу приводит,
В согласных мыслях заседать.

Но волю токмо подвергает
Закону Божию во всем,
И сердцем оный наблюдает
Во всем течении своем.

Как древо он распространится,
Что близ текущих вод растет,
Плодом своим обогатится,
И лист его не отпадет.

Он узрит следствия поспешны
В незлобивых своих делах;
Но пагубой смятутся грешны,
Как вихрем восхищенный прах.

И как злодеи не восстанут
Пред Вышнего Творца на суд,
И праведны не воспомянут
В своем соборе их отнюд.

Господь на праведных взирает
И их в пути своем хранит,
От грешных взор свой отвращает
И злобный путь их погубит.

8

Следующее после Ломоносова переложение первого псалма было выполнено почти сто лет спустя поэтом Николаем Языковым в 1844 году. Под пером Языкова строки псалма звучат уже не как духовная ода, а как политическое послание.

Николай Языков, начавший поэтический путь в 20-е годы как певец Вакха и любви, в 30-е годы становится глубоким религиозным поэтом, сближается с виднейшими русскими мыслителями-славянофилами Н. В. Гоголем, И. В. Киреевским, И. С. Аксаковым.

Первый псалом, написанный Языковым в ноябре 1844 года, образует общий тематический цикл стихов-посланий, вызванных горячими спорами между представителями двух основных течений тогдашней общественной мысли - "западниками" и "славянофилами".

Основной темой творчества Языкова в эти годы становится тема защиты национально-самобытного начала, вопрос о судьбе России. Одним из самых ярких и шумевших посланий этого цикла было стихотворение "К не нашим", обращенное к "западникам", которое заканчивается следующими строками:

"... Русская земля
От вас не примет просвещения,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею

Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык:
Крепка, надежна Русь Святая,
И русский Бог еще велик!"

Языков не ставил перед собой задачи буквального стихотворного перевода первого псалма. Его переложение носит название "Подражание псалму".

Блажен, кто мудрости высокой
Послушен сердцем и умом,
Кто при лампаде одинокой
И при сиянии дневном
Читает книгу ту святую,
Где явен Божеский закон:
Он не пойдет в беседу злую,
На путь греха не ступит он.

Ему не нужен пир разврата,
Он лишний гость на том пиру,
Где брат обманывает брата,
Сестра клеветает на сестру,
Ему не нужен праздник шумный,
Куда не входят стыд и честь,
Где суесловят вольнодумно
Хула, злоречие и лесть.

Блажен!.. Как древо у потока
Прозрачных, чистых, светлых вод
Стоит, - и тень его широка
Прохладу страннику дает,
И зеленеет величаво
Оно, красуясь плодом,
И своевременно и здраво
Растет и зреет плод на нем!

Таков он, муж боголюбивый,
Всегда, во всех его делах

Ему успех, а злоречивый...
Тот не таков, он словно прах!
Но злоречивый прав не будет,
Он на суде не устоит,
Зане Господь не лестно судит,
И беззаконного казнит.

9

Жанр "Оды духовной", каким было переложение псалмов для поэтов XVIII века, почти полностью исчезает из русской поэзии уже в первой половине XIX века с развитием поэзии романтической и обращением поэтов ко всему многообразию новых жанров - элегии, послания, сонета, мадригала и т. д.

В то же время творческое обращение к Священным текстам как Ветхого, так и Нового Завета у русских поэтов никогда не прерывалось. Стихи на тему Евангельских страстей мы встречаем в предсмертных творениях Пушкина. Библейские мотивы постоянно звучат в стихах Лермонтова. Обращение к образам Христа и Марии характерно для Тютчева. В начале XX века русские поэты - как символисты, так и акмеисты - используют образы Священного писания в своих стихах.

Только с наступлением послеоктябрьского мрака музыка духовной поэзии уходит с книжных страниц в глубины памяти и тайные хранения, как это было с духовной лирикой Ахматовой (стихи о Распятии) и лирикой Пастернака (стихи Страстного цикла).

Может быть, поэтому среди опубликованных стихов известных русских поэтов XX века мы не встречаем переложений псалмов Давида. До середины 80-х годов не принято было публиковать религиозную лирику современных русских поэтов. Но современная русская духовная поэзия существует, и существуют авторы, обращающиеся к такому неиссякаемому источнику, как псалмы Давида. В заключение приведем стихотворение, написанное в конце 80-х годов по мотивам первого псалма.

Блажен тот муж, который не идет
В совет неправедных и нечестивых.
Давид поет, что он подобен иве,
Растущей при потоке чистых вод,

Что он, как дерево, приносит плод
В тот час, когда тому наступит время,
Душевный мрак одолевая с теми,
Кого чрез жизнь высокий Дух ведет...

И лист его не вянет, а цветет
Во всем, что он ни делает, успеет,
К пределу смерти подойдя без страха...

А нечестивые - подобны праху,
Их ветер гнева разметет, развеет...

Москва, август 1991 г.



Р. ХИН-ГОЛЬДОВСКАЯ

Очарование старины*

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Рашель Мироновна Хин-Гольдовская (1863-1928) - русская писательница, драматург. Ее рассказы печатались в журналах "Русская мысль", "Вестник Европы", выходили отдельными сборниками; ее пьесы "Поросль" и "Наследники" шли на сцене Малого театра. Ее читали, знали; тогдашний руководитель Малого театра кн. А. И. Южин-Сумбатов высоко оценивал ее "вкус и изящество письма"...

Она получила прекрасное образование: после окончания Московской гимназии училась на медицинских курсах в Петербурге, а затем в Сорбонне. Круг ее интересов был довольно широк: музыка, медицина, политика и, конечно, литература. Первый муж ее - М. Фельдштейн, и второй - О. Б. Гольдовский - были присяжными поверенными. И тот и другой работали некоторое время помощниками у известнейшего адвоката князя А. И. Урусова. Отсюда эта дружба, которая дала обильный материал писательнице для создания литературного портрета князя Урусова. Вообще, "правоведы", как тогда называли юристов, занимают не последнее место на страницах ее дневника, особенно много внимания уделено Анатолию Федоровичу Кони и Владимиру Ивановичу Таневу.

Она дружила также с семьями профессоров Московского университета А. Н. Веселовского, И. И. Янжула, Н. И. Стороженко (последний познакомил ее с Л. Н. Толстым), присутствовала на лекциях В. О. Ключевского, была близка к музыкальному миру и особенно много соприкасалась с семьей скрипача Л. С. Ауэра и с ним самим; участвовала в литературных собраниях, - словом, была непосредственной свидетельницей многих событий.

* Публикация и предисловие М. М. Ситковецкой.

Свои дневники Р. М. Хин-Гольдовская вела с 1891-го по 1917 год. И вот, на закате дней своих, решила она выбрать из дневников наиболее интересные и ценные отрывки, справедливо полагая, что ее встречи, диалоги, описания, даже новеллы о разных знаменитых и не очень знаменитых людях важны для истории России и для всех тех, кому эта история дорога.

Она старалась (при перепечатке) убрать все личное, оставив только то, что касалось других – великих или просто интересных для нее людей; но ее присутствие ощущается в каждой строчке, – ее ум, наблюдательность, точность оценок, – пусть немного женских, но от этого не менее убедительных, интерес к людям. И, конечно, чувствуется огромная симпатия и уважение к ней всех, о ком она пишет.

Готовя свои дневники для публикации "в туманном будущем", Хин-Гольдовская хотела представить потомкам "канувший в Лету дооктябрьский быт некоторой части русского общества" – так она пишет в своем кратком предисловии. Но это далеко не только "быт" (хотя и он достаточно любопытен), – это жизнь русской интеллигенции, полная событий, иногда и не очень значительных, но окрашенных политическими красками того времени. И как бы сквозь увеличительное стекло видишь ожившие портреты писателей, историков, философов, музыкантов, юристов – властителей дум своего времени, чьи дела и мысли до сих пор могут волновать потомков.

Подлинные дневники Р. М. Хин-Гольдовской (32 тетради) хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве. Небольшие отрывки (о Л. Н. Толстом, М. Горьком, В. О. Ключевском) печатались в 80-е годы. В эту публикацию включены преимущественно никогда ранее не публиковавшиеся записи.

М. М. Ситковецкая

Из дневников

*"Река времен в своем теченьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей..."*

(Г. Державин)

*"Но, как вино, печаль минувших дней
В душе моей чем старе тем сильнее..."*

(А. Пушкин)

Вместо предисловия

Дневники - это не история, а субъективное отражение сменяющихся впечатлений незаметно убегаящей жизни. Когда же самую эту жизнь смыл девятый вал и на берегу остались разрозненные "щепки" былых кораблей, то и по ним новоявленный человек может восстановить свое родство с миром, которому сейчас отведено место в кунсткамере "давно минувших дней"...

Мои "Дневники" не были рассчитаны на читателя и если допускали его возможность, то лишь как туманный призрак в далеком будущем. Но всего предвидеть нельзя. Илья Муромец, удел которого почитался в смиренном "сиденьи сиднем", нежданно-негаданно так лихо зашагал "по морю как по сушу", что все понятия о давности переместились и записи вчерашних людей сразу превратились в архивные документы.

В качестве таковых я решаюсь развернуть перед нынешним читателем промелькнувшие на моем жизненном пути силуэты уже сошедших со сцены людей и канувший в Лету дооктябрьский быт некоторой части русского общества.

Р. М. Хин

1891 г.

4 января. Москва

Был Владимир Иванович Танеев¹. Такой же как всегда. У него особенный талант раздражать людей. Вл. Ив. добрый человек, но и доброта его какая-то раздражающая. Он все делает строго, холодно, сухо, с недостигаемой высоты и с брезгливой снисходительностью к человеческому "стаду"... Когда его благодарят за оказанную услугу, он возражает монотонным деревянным голосом: "Нет, не надо благодарить! Надо забывать услуги, потому что каждое доброе дело влечет за собой вражду и наказание". Вл. Ив. точно взял себе привилегию говорить человеку в лицо неприятные и щекотливые вещи. Все под соусом остроумных парадоксов. Это какая-то игра на людскую трусость. Никто не решается оборвать великолепного Вл. Ив. Как можно! У него чудная библиотека, из которой он никогда и никому не дает ни одной книги и над которой в виде "предупреждения" красуется плакат: "Triste est le sort d'un livre prêté, souvent il est perdu, toujours il est gâté"^{*}. (В этом он, увы, прав.) Вл. Ив. почитают не только за библиотеку, но и за связи, которые он редко для кого тревожит, и за родовитое имя, над которым он всегда острит, хотя в глубине души очень доволен, что он не "чумазый", что его дядюшка был министр при Николае Павловиче, а сам он правовед и самый тонкий юрист во всей Российской империи, да при этом еще философ, литератор, поэт, социолог, биолог, театрал и уж, конечно, первейший знаток французской революции... Все сносят выходки Танеева и в утешенье за его спиной говорят, что он чудака, оригинал, *enfant terrible*^{**}, которого нельзя принимать au sérieux,

^{*} "Печальна судьба одолженной книги: ее часто теряют и всегда портят".

^{**} Избалованный ребенок.

тем более, что несмотря на все свои "фокусы", он в самом деле добрый и безукоризненно порядочный человек.

Ко мне Вл. Ив. очень внимателен и даже любезен. Очень доволен, когда я у него завтракаю или обедаю и в городе и в деревне, в острогах, направленных на меня, он всегда соблюдает чувство меры. Мне пришлось несколько раз в обществе довольно внушительно - хотя и в очень мягкой форме - призвать его к "порядку". И вот он как-то пришел ко мне вечером и без всякого ломанья попросил не делать его смешным в присутствии других... "Когда никого нет, можете смеяться надо мной сколько угодно". Я возразила, что вообще не имею привычки делать из людей посмешище ни в обществе, ни en tete-à-tete, но что такой человек, как он, взявший для себя безграничную свободу слова, должен быть готов к тому, что он может встретить отпор. Чтобы подразнить его, я прибавила, что и так много ему спускаю из уважения к его возрасту. Бедный Вл. Ив. страшно огорчился. Он воображает, что благодаря "гигиене" и "дисциплине", он на тридцать лет моложе своих сверстников, и вдруг такая обида! Как бы то ни было, ко мне Танеев страшно мил, так что Урусов, говоря со мной, иначе не выражается, как "Ваш Танеев" или "Вы бы сделали внушение Танееву, он становится невыносим".

Танеев человек совсем не злой, даже добрый. Он только влюблен в себя до умиления, до восторга, до обожествления всех аксессуаров, имеющих непосредственное отношение к его особе. Он не только не умеет, но и не желает этого скрывать. Он все больше и больше *ничего не делает*, измалывает сам себя, все больше уходит от жизни, от людей, превращается в маньяка-коллекционера. Книжки, переплеты поглощают все средства обожающей его семьи. Жена, дочери, сыновья - все совершенно очаровательные - впряглись в хозяйство, а Вл. Ив. как высшее существо только острит и потешается. Он говорит, что единственное, что он мог бы еще делать, это - *управлять государством*. Но произносить свои речи (которые он называет "образцовыми произведениями") перед тремя "болвана-

ми" (судьями) - этого он уже не может. Бедный Вл. Ив.! В сущности, он просто либерал из "неслужащих дворян", замучивший сам себя вечной заботой - не быть похожим на всех... Винегрет из Руссо, Марата, Фурье, Маркса, Чернышевского, Пугачева, анархизма, гегельянства, позитивизма... Все это - помещичье времяпрепровождение, отрыжка крепостнического "вольтерьянства".

17 января.

Весь вечер сидел Урусов² и "перебирал" Танеева. Он называет Вл. Ив.: "последний барин". "Послушайте только, - говорит Урусов, - как этот "фурьерист" зовет прислугу. Он не позвонит и не крикнет, а как-то особенно, быстро и звонко, хлопнет в ладоши, и глядишь - растрепанная Дунька или Анютка уже летит, сломя голову, на барский зов... А с каким непередаваемым презрением он произносит: "богатые мужики" - когда речь пойдет о купцах... Правда ли, что из удовольствия выгнать вон купчика, он потерял 50.000 гонорара? За этот великолепный "жест" Вл. Ив. можно простить много чудачеств. Только не верится. Вы знаете эту историю?" - полюбопытствовал Урусов.

- Знаю. Мне ее рассказывал сам Вл. Ив., но сумму гонорара он не называл. Дело было так. Его клиентка, очень богатая женщина, немолодая и вдова, по его совету согласилась не разорять своих должников, а дать им возможность оправиться. Благодарные должники аккуратно и хорошо с ней расплачивались. Но вот, пожилая вдова вышла замуж за молодого бойкого приказчика. И вдруг Вл. Ив. получает от нее письмо в совершенно непривычном стиле, полное намеков, что адвокату иной раз выгодно "мирволить" противной стороне, но что такая "канитель" не в ее интересах и она просит покончить это дело "вчистую". Вл. Ив. ответил очень вежливо, что он желает обсудить это дело с ее супругом. Супруг явился. Вл. Ив. ласково спросил: "Это, конечно, вы писали письмо? Ваша жена не владеет таким литературным пером". Польщенный

автор скромно признался. Вл. Ив. захлопал в ладоши. Явилась прислуга. Вл. Ив. крикнул на весь дом: "Вон, мужик! Гоните его в шею!.." - что и было исполнено.

Урусов хохотал до слез и все повторял: "Какая прелесть! Ну, разумеется, "последний барин"!

Эту зиму у меня довольно часто бывает Нелли М.³. Она красавица, богачка, музыкантша и давно уже блестит яркой звездой на небосклоне московского "света". Одевается роскошно и эксцентрично. Несколько лет тому назад все ее видели с русыми волосами, - теперь она золотистая блондинка. Тогда она была идеально хороша. Помню, как я наслаждалась, когда в концертном зале, среди толпы обыкновенных, тусклых лиц, вдруг мелькнет очаровательная головка Нелли. Всегда окруженная поклонниками, нарядная, улыбающаяся, она казалась особенным, избранным существом какого-то иного, праздничного, недоступного для обыкновенных смертных мира. Теперь она растолстела, но все еще очень хороша. "Мир", в котором она живет и который мне издали казался таким праздничным, вблизи значительно проигрывает. Ее приятели, все больше музыканты и музыкантши - одни уже на линии признанных артистов, другие застряли в неудачниках... Раза два я видела у нее Рахманинова. Он мне понравился. У него оригинальное лицо, он изумительно играет и совсем не ломается. Говорит он как-то отрывисто, у него угловатые манеры и прелестная, освещающая все улыбка.

По отцу Нелли принадлежит к столпам московского купечества. Отец ее, известный московский миллионер и самодур, был женат на итальянке; кажется, она была венецианской танцовщицей. Нелли не рассказывала, что в детстве она была свидетельницей таких супружеских сцен между родителями, когда в воздухе летали кипящие чайники. Она мне показывала портрет своей матери, когда той было лет семнадцать. Это была совершенно исключительная красота. Дездемона не могла быть лучше. Сейчас она уродливая старуха, скупая, жадная, одетая в какое-

то тряпье, похожая на сказочную колдунью... Благодаря, вероятно, этой "разноплеменности", у Нелли и общество разношерстное. С одной стороны, артисты и богема, с другой - купеческая родня, и как одинокие посетители - Танев, Урусов, Минцлов, князь Питер Волхонский, Боборыкин, который описал ее в нескольких своих романах. Нелли приветлива, умна, обворожительная хозяйка, интересуется литературой, очень "себе на уме", отлично говорит по-французски, много видела, всех знает, держится с большим тактом и, должно быть, крутого нрава. Чувствуется, что весь ее роскошный дом, начиная с ее поклонников и кончая горничной, перед ней трепещет. Урусову очень нравится Нелли и, когда она у меня играет, он настаивает, чтобы я его звала, хотя он не любит и не понимает серьезной музыки. Это не мешает ему восторгаться ее игрой и превозносить Бетховена, предварительно спросив у меня шепотом: "Dites donc, c'est du Beethoven ou Bach?"*

1892 г.

22 января.

Невыносимо холодно. Этой зиме, кажется, конца не будет...

1 февраля.

Слушала лекции Ключевского⁴: "Два воспитания - семья и школа". Ключевский - замечательный лектор. Он обладает особенным даром рассказывать даже известные вещи так, что в воображении вдруг оживает целая эпоха, о которой в памяти, под грудой других воспоминаний, хранились какие-то обрывки. Ключевский не только боль-

* Скажите, это Бетховен или Бах?

шой ученый, он виртуоз, величайший актер, которому никто не посмеет, не помыслит указать на "актерство" - до того у него все выходит натурально. Я ни у кого, кроме Ленского, Коелена, Го (Got), не знаю такого мастерства оттенков в голосе, мимике, жестикуляции - и это при кажущемся однообразии тона, суховатости всей фигуры, строгой сдержанности в жесте. Он завораживает аудиторию. Пока он говорит, все во власти этого волшебника. В чем эти чары? В игре глаз? Неуловимой вибрации голоса? В особенном произношении слов? В особенной, мимолетной, внезапно вспыхивающей и внезапно угасающей усмешке рта? В лукавом выражении его сухого, умного лица? Не знаю. Что ему нравится, за что или за кого он стоит - никогда нельзя угадать. Сегодня он говорил о древнерусской семье. И как говорил! Прямо поэма. Муж-государь учит уму-разуму чад и домочадцев. Жена-государыня и "потрудилица" сияет как венец на голове мужа. Я подумала: вот его идеал. Вдруг медлительный эпический темп голоса дрогнул, по лицу скользнула мефистофельская улыбка и величавая фигура наставника и правдолюбца точно провалилась в люк, а на его месте очутился неуклюжий боярин, который тупо твердит домостроевскую мудрость: "любяй сына, улещай ему раны" и т. д. Это уж не богобоязненный глава семьи, а человек с автоматической совестью, которому "мирское строение" приуготовило мораль на все случаи жизни.

Особенно блестяща была вторая часть лекции: Екатерининская эпоха. Бецкий, его любимое детище - оранжерейный кадетский корпус... Бесподобны российские энциклопедисты, в один мах перескочившие от педагогики попа Сильвестра к философии Руссо и Дидерота. По плану Бецкого, чтобы создать идеальных воинов-граждан, шестилетних детей отрывают от семьи. Педагогическая казарма принимала человеческое "сырье" и превращала его в живую статую по рецепту Кондильяка. Вместо прежнего человека с "автоматической совестью" - появился новый манекен с "автоматическими чувствами". А семье... предо-

ставлялась роль "кустарной мастерской" для изготовления педагогического "материала". Огромная аудитория Исторического музея была полным полна. /.../

В начале этой зимы Боборыкин⁵ затеял устроить в Москве частные "рефератные собрания", наподобие петербургского Шекспировского кружка *без дам*. Собираться должны были по очереди у членов. Когда пришла очередь Алексея Николаевича (Веселовского)⁶, он заявил, что может принять гостей лишь при условии, что на собрании будет присутствовать (его жена) Александра Адольфовна. (Танеев мне уже это раньше рассказывал со своими обычными ужимками, задыхаясь от смеха, а вчера сама Александра Адольфовна передавала с возмущением, так сказать, весь процесс этой "затеи").

- Это все Боборыкина выдумки. Я и не думала отдавать себя на *их* критику, а прямо заявила, что раз у меня в доме, то не может быть вопроса о моем присутствии или неприсутствии. А если "они" не согласны, то пусть собираются хоть на Арбатской площади. Первое собрание было у Боборыкина, второе у Южина. Ни Софья Александровна, ни Мария Николаевна не присутствовали. А теперь они обе на меня в претензии... и т. д.)

Александра Адольфовна - умная, практичная, самоуверенная. И в общем, очень хорошая женщина, только ужасно властная и честолюбивая. Вот уж кто не боится "*prendre le taureau par les cornes*". Она знает, что на Руси без начальства никак невозможно, и умеет устроить так, что в своем приходе - начальствует она. Муж этим, кажется, очень доволен. Он вообще - "принц-консорт". Танеев как-то при мне сказал Минцлову⁷: "Вот, Рудольф Рудольфович, нам бы с Вами такую жену. Чего бы она из нас ни сделала!" Минцлов, у которого от смеха запрыгал его необъятный живот, возразил: "Почему же это нам с Вами? Уж кому-нибудь одному". На это Танеев скромно заметил: "Нет, для одного это чересчур тяжело, это только Алексей Николаевич может вынести".

Конечно, это привычное зубоскальство и танеевское

ехидство. Но верно, что если бы не жена, Веселовский не занял бы того положения, которое он занимает. Она убедила его, что он крупный ученый, литературный талант и, что гораздо интереснее, - сумела убедить в этом других. Танеев мне много раз рассказывал, что Веселовский всей своей карьерой обязан жене, что своей энергией и настойчивостью она из отставного поручика и неудавшегося певца сделала профессора-литератора. Алексей Николаевич и в университете никогда не был, но она решила, что он не должен уступать ни в чем своему брату Александру (петербургскому профессору, академику и знаменитому ученому, который, по уверениям Вл. Ив., был несчастливо влюблен в Александру Адольфовну). И вот, она увезла мужа в Париж и заставила его там учиться. Просидели они там несколько лет. В результате этого "сиденья" - явилась книга о Мольере, за которую московские профессора дали Алексею Николаевичу докторский диплом - *honoris causa* - и кафедру. Так рассказывает историю Веселовских Вл. Ив., их давний приятель.

Лектор Алексей Николаевич не из блестящих, хотя читает везде: в университете, на женских курсах, в драматической казенной школе, в Лазаревском институте. Все литературные юбилеи проходят при его участии. Никогда я не слыхала от него оригинальной мысли, даже просто интересного оборота речи, красивого образа, - но все правильно, гладко, только ужасно все банально и - по-моему - скучно.

Внешний вид у Веселовского очень важный; он высокий, полный, у него большая, высоко поднятая голова, длинные, зачесанные назад "профессорские" волосы, большие голубые выпученные глаза, аккуратно подстриженная борода; пухлую шею облегают выглаженный белоснежный воротник и такой же галстук бантом. Руки у него белые, выхоленные и весь он такой щеголеватый *bel homme**.

* Красавец-мужчина.

Каждое слово он произносит медленно, значительно. Мне не нравятся люди такого "именинного" типа. Но Веселовский человек добрый, корректный, либеральный, благожелательный, - такие качества надо очень и очень ценить.

Александра Адольфовна тоже хорошая женщина, и в молодости должно быть у нее было интересное лицо (еврейского типа, хотя она - немка). Теперь у нее слишком резкие черты. Вся "повадка" у нее очень решительная, говорит она обо всем с апломбом и любит поговорить; у нее умные глаза, приятный смех, улыбка, она образованна, отлично знает немецкий и английский и недурно французский, понимает музыку, во всей ее манере держаться видна *дама*... Ко мне она относится хорошо, но чуть-чуть с пренебрежением, как к существу, совершенно неприспособленному к жизни. А меня от нее отпугивает ее положительность, смелость и спокойная уверенность, что "свет - от Веселовских". Она, конечно, этого не говорит, но это чувствуется во всем. Она обожает мужа и сына Юрочку (преисполненный собственного величия гимназист), постоянно их восхваляет, говорит о них, точно это самые интересные предметы в мире.

Как-то я ей сказала, что хорошо бы устроить в Москве небольшое общество (терпеть не могу слова "кружок"), которое бы интересовалось литературой *an und für sich**, без коммерческих соображений - насколько то или другое произведение годится в данный момент для литературного рынка.

Александра Адольфовна меня предобродушно высмеяла и доказала как дважды два, что такое общество не имеет *raison d'être*** , что "серьезные" писатели в нем не нуждаются и что, в лучшем случае, это будет "времяпрепровождение" для дилетантов вроде "ваших друзей Уру-

* Как таковой.

** Права на существование.

сова, Танеева и Минцлова. - Так ведь они и так болтают с Вами о литературе. Вот Урусов! Говорят, двадцать лет изучает Флобера. А что он дал о Флобере? Ничего... только занимает дам..."

Что я могла на это возразить? Что это не совсем так? Что Урусов блестящий оратор, глубокий знаток и ценитель художественных произведений, что Минцлов - живая литературная энциклопедия, а Танеев при всех своих чудачествах, - один из самых образованных в России людей. "Они ничего после себя не оставят, это - эпикурейцы", - скажет Александра Рудольфовна. И уж сколько раз говорила...

11 марта.

На будущей неделе уезжаю в Швейцарию. /.../

1893 г.

4 октября. Москва.

Ну, вот я и дома. Заграница - Женева, Лозанна, Вевэ, Шенек, Париж, Рим - все промелькнуло, как сон. Возвращалась с Янжулами⁸. Они меня ждали в Зальцбурге. Какой очаровательный городок (я там жила в детстве). Два дня пробыли в Вене и сутки в Варшаве.

Янжулы необыкновенно практичны, знают, где лучше всего отдыхать и лечиться, где что покупать. Иван Иванович восторженно торгуется, сто раз проверяет каждый счет. Он взял меня под свою опеку и строго требовал от меня отчета в каждом истраченном гроше. Я никогда так дешево не ездила. Иной раз он донимал меня своим грохотом. Даже Екатерина Николаевна иногда ежится от его крика. Но он очень добрый, сентиментальный, накричит, а потом не знает, как задобрить. В общем, это хорошие супруги, дружные. Она очень милая и глубокая женщина, а Иван Иванович, несмотря на свою в самом деле огромную уче-

ность, довольно элементарный человек. Смышленный, с лукавинкой, любит *почет*. В нем ценно то, что у него есть такие *киты*, с которых его ни за какие коврижки не сдвинешь. И работник! Даже не по-русски, а по-европейски.

Был Танеев. Все те же анекдоты, парадоксы, остроты, словечки... Обедали у меня Янжулы. Танеев, конечно, не преминул поязвить на их счет.

Был Кони⁹. Постарел. Очень мил, нежен. "Какое счастье опять видеть Вас... Думал, что не дождусь". Анатолий Федорыч меланхолически рассказывал о нынешних "деятелях", главным образом о Николае Валерьяновиче Муравьеве¹⁰. Говорит (конечно, между нами), что если Муравьев будет министром, он, Кони, выйдет в отставку. Не отрицает, что знаменитый московский прокурор умен и талантлив, но находит, что это "тем хуже".

1 ноября.

31 октября была в университете на торжественном заседании Общества Любителей Российской Словесности в память десятилетия со дня смерти Тургенева. Это было нечто выдающееся по скуке... Сначала Тихонравов¹¹ заикался и мямлил битых полтора часа что-то очень глубокомысленное, в чем, однако, не было (по крайней мере, не чувствовалось) ни искры любви к Тургеневу, ни звука печали, что *его*, певца русской природы, поэта русской женщины, благородного, просвещенного и правдивого живописца русской жизни - уже нет с нами. Потом Бальмонт прочел стихотворение таким голосом, точно ему стянули горло бечевкой. Но всех лучше был критик "Русских ведомостей" Иван Иванов. Он скорбел о "бедном" (!) Тургеневе, попавшем в сети "коварной" женщины (т. е. м-ме Виардо). Например, такой перл: "Семья, которую Иван Сергеевич *осыпал своими милостями*, его обобрала" (!?!). И это говорилось про женщину, с которой Тургенев прожил

тридцать лет, благодаря которой, по его собственным признаниям, он научился работать, как европеец, в доме которой он впервые встретился с корифеями европейской мысли, поэзии, искусства, о которой он писал Флоберу, встревоженному слухом о ее смерти, что если бы м-ме Viardot умерла, то он уже "не в состоянии был бы писать это письмо"... А г. Иван Иванов эту гениальную артистку, славу XIX века, учительницу поколений, низвел на степень какой-то ловкой пройдохи. Оригинальная манера чествовать великого писателя. Хоть бы подумал, что ведь Полина Виардо еще жива... И как это никто из "синедриона" не просмотрел - он читал по листкам - речь Ивана Иванова.

На той неделе умер в Петербурге от холеры П. И. Чайковский. Из современных русских композиторов я его люблю больше всех.

Декабрь. Москва.

Вернулась из Тулы. Там было очень тяжело, и я, уезжая оттуда, мечтала попасть в отдельное купе, чтобы хоть несколько часов молчать и ни на кого не смотреть. Но отдельного купе не оказалось, а то, в которое я попала, было занято очень элегантною дамой. Она встретила меня приветливой улыбкой и гостеприимным жестом руки в шведской перчатке показала мне на противоположный диван, точно приглашала расположиться на нем, не стесняясь ее присутствием. Я поблагодарила поклоном. (Вероятно, она слышала, как я говорила кондуктору: "Нельзя ли отдельное купе, я очень устала".) Когда поезд тронулся, я достала из своего мешка подушечку, книжку, покрылась пледом и погрузилась в чтение, чтобы не дать моей спутнице никакого повода вступить со мной в беседу. Она тоже читала французский роман в желтой обложке. На крюке у двери покачивалось ее великолепное манто на красной шелковой подкладке. На столике - между нашими диванами - стоял огромный букет цветов, а во всем купе,

вместо- обычного, противного вагонного запаха, - пахло тонкими духами и пудрой, точно в будуаре. Я подумала: должно быть актриса возвращается из *tournée* с юга. Поглядела из-за книжки. Глаза наши встретились; все ее лицо светилось улыбкой, но я скорей спрятала свои глаза, чтобы *она* не вздумала со мной заговорить. Так я от нее пряталась около часу. Но *она* все-таки *одолела*. И когда лед был сломан - мы обе, как встретившиеся после жизненной разлуки сестры, не могли наговориться. О чем только мы не говорили! О литературе, жизни, московском и петербургском обществе, о скандинавских писателях и больше всего о Париже, о Париже... О чем бы мы ни говорили, мы понимали друг друга с полуслова. Мне никогда и ни с кем не было так по душе, легко. Когда она сказала, что она мадам Ауэр¹², то мне казалось, что это даже не нужно, что я ее все равно давно знаю. Говорили мы по-французски, потому что она говорит предпочтительно на этом языке. Сначала мне это не понравилось, показалось аффектацией, но я сейчас же поняла, что это ее привычка (так же, увы, как и моя). Она с уверенностью сказала: "*Je suis sur, que vous connaissez Ouroussov* Александр Иванович". Я засмеялась и ответила: "*Pourquoi en etes vous tellement sur?*" - "*Mais quand vous avez dit, que les murs de Toula suintent l'ennui, j'ai tout de suite compris, que ce ne serait pas naturel qu'il existe dans Moscou une femme comme vous et que Ouroussov ne soit pas son ami...*"*.

Я возразила, что *amie est peut-etre trop dire*** , но что, конечно, я хорошо знаю Александра Ивановича. Тут она стала так его превозносить, что я смеялась, спорила и уверяла ее, что в Москве он таким успехом не пользуется.

* - Я уверена, что вы знаете Урусова.

- Почему вы так уверены?

- А когда вы сказали, что стены Тулы источают скуку, я сразу же поняла, что было бы неестественно, что в Москве существует такая женщина, как вы, и... что Урусов не ее друг.

** Друг - это, может быть, слишком сильно сказано.

Когда мы подъезжали к Москве, я поблагодарила мадам Ауэр за наш "вагонный" роман, мы крепко поцеловались, она обещала приехать в Москву только для меня, звала меня в Петербург и сказала, что напишет мне очень скоро и что вообще она меня никогда не забудет...

1894 г.

7 января.

Пока Новый год идет совершенно в духе старого. Хвораю, кашляю. Получила прелестное письмо от мадам Ауэр. Как странно! В беседе она произвела на меня впечатление не только образованной, очень воспитанной, необыкновенно обаятельной женщины, но от всей ее манеры говорить и держаться, казалось мне, веет той свободой, которая дается спокойной верой в себя. И вот! Она пишет мне о себе, как о слабой, робкой женщине, совершенно лишенной инициативы и воли: ("*un chacun empiète sur ma vie*")*. Она мечтает (счастливая! у нее четыре дочери, старшей 18 лет, а она еще *мечтает*) - о жизни где-нибудь на юге, в маленьком доме, по соседству с каким-нибудь великим талантом, которому бы она могла "*se devouer*"**...

Как странно! Ведь муж мадам Ауэр знаменитый артист, если не единственный, то во всяком случае, один из первых скрипачей в *мире*... Зачем же "*weiter greifen*", когда "*das Gute liegt zu nah!*"***

Она мне про него пишет: "*Il est trop curieux des femmes...*"**** Не сладко, должно быть, ей жить в лучах

* Каждый вторгается в мою жизнь.

** Посвятить себя.

*** "Стремиться дальше, когда хорошее так близко" (И. Гете).

**** Где только женщины, он слишком любопытен.

этого великого таланта. Урусов (он почему-то не доволен моим "увлечением" мадам Ауэр и все старается меня "расхолодить"...) про Ауэра выражается так: "Un libertin de mauvais genre"* . Любопытно поглядеть вблизи на этот "ménage"**. Я Ауэра знаю только по концертам. Изумительный скрипач. Небольшого роста, седой человек, с умным еврейским лицом и великолепными черными глазами. Особенно хорошо он играет Баха, Моцарта, Бетховена...

Видела Янжулов. Они добрые, здоровые, ученые, практические, очень полезные люди. При них собственная жизненная неумелость и непригодность как-то особенно угнетает...

22 марта.

Весь вечер просидел Танеев и долго и длинно рассказывал об "инциденте"^{*} на обеде бывших правоведов в Эрмитаже. Прокурор суда Домерщиков предложил тост за Булыгина. Так как за обедом были правоведы гораздо старше, чем Булыгин, то Вл. Ив. с присущим ему тактом обратился к Домерщикову со словами: "Как вам не стыдно! Ведь Булыгин ничем, кроме того, что он занимает высокий административный пост, не отличился"¹³. И встав, Вл. Ив. предложил тост за самого молодого из присутствующих, за товарища прокурора Паркау. Сконфуженный Паркау поблагодарил, однако заметив, что он вполне присоединяется к тосту Домерщикова. На это Танеев сказал: "Очень вас жалею, что в такие молодые годы у вас уже такие хамские чувства!" Тут уж не вытерпел старик Маслов Федор Иванович, близкий друг Танеева, крикнувший

* Жуир дурного типа.

** "Супружеская жизнь".

на весь стол: "Ваши слова ни с чем не сообразны, Вл. Ив.! Всякому юродству есть мера!" На это Танеев возразил, что "вот и Федор Иванович ратует за хамов".

Маслов страшно обиделся и чтобы доказать Танееву, что он не "такой", поднялся и произнес целую речь на тему: что прежде, действительно, правоведаы занимали первое место в обществе, потому что они берегли свою независимость, а с тех пор, как они устремились в администрацию, они все больше приобретают хамские черты... Булыгин, весь красный, сидел как на иголках. Наконец, встал, воспользовавшись паузой, и скрылся.

- Вл. Ив., - сказала я, - ведь вы произвели форменный дебош на вашем "товарищеском" обеде. Не понимаю, почему они вас не выгнали.

Он так и залился.

- За что? Все в душе были очень довольны. И когда Булыгин и Домерщиков сбежали, было очень приятно и весело. Но, разумеется, Булыгин теперь моего имени слышать не может. Вот, если б я тогда знал, что мне придется перед этим болваном ходатайствовать, скажем, за вас, я бы, может быть, воздержался...

5 августа. Дуббельн.*

Совсем как-то неожиданно уступила настойчивым просьбам м-м Ауэр погостить у нее в Дуббельне. Я очень стосковалась по морю. Живу я отдельно, потому что жить я люблю только у себя. У Ауэров слишком шумно, масса народу, и вообще вся их "свита" мне чужда. Привлекает меня одна Надежда Евгеньевна (она настояла, чтобы я ее называла Nadine). Остальные члены семьи тоже интересны, даже забавны, но все же это очень для меня далекая "разновидность ближних".

* Теперь Дубулты (Латвия).

9 августа.

Nadine меня положительно "завоевывает". Она умна, деликатна, добра, удивительно приятна в общении. Она покоряет всех своей необычайной воспитанностью. Воспитанность, мне кажется, преобладающая черта ее личности. У нее мягкие, плавные манеры, милый, немного певучий голос. Лицо у нее совершенно неправильное и вместе с тем прелестное: умные, проникающие в душу серые с зелененькими искрами глаза и такая очаровательная, неотразимая улыбка! Она должна была иметь большой успех. Говорит она превосходно, но почти всегда по-французски, о чем я иногда сожалею. Мне кажется, что русская речь ей бы больше шла...

Как это ни странно, но Урусов нас и соединяет и разводит. Отношение Nadine к Урусову для меня непонятно. Она его двадцать лет боготворит, прощает ему решительно *всё*, знает все похождения нашего "мурзы" и не допускает (это ее слова) себя до "критики". "J'ai supporté la première déception sans broncher, et alors le reste m'était facile"* , - говорит она.

Сегодня на музыке с нами сидел П. Дм. Боборыкин и столько говорил обо всех и обо всем. И хоть бы остроумно! Нет, скучно, прямо скучно! И о чем бы он ни говорил, Боборыкин все сводит к себе и к неблагодарности русского общества к своему "бытописателю". Как-то неловко становится от этого брюзжания. Общие рассуждения Боборыкина отличаются категоричностью. Он всегда изрекает аксиомы. Nadine после говорила, что по слабости характера она никогда не решается *возражать*, даже когда она слушает такие раздражающие глупости, как "Петруши-

* Я вынесла, не сморгнув, первое разочарование, остальное уже было легко.

ны", но что она удивляется, - почему я ему не возражала. Я ответила, что я вообще не находчива и терпеть не могу споров, что в спорах слишком противно обнаруживается грубость человеческой природы, и так очевидно, что интересна вовсе не истина, а только собственная непогрешимость. Я прибавила, что знаю только одного человека, который умеет и с которым приятно спорить, - это Урусов, и вот за это я его очень люблю.

Она вздохнула. "Oh, avec celui-là je ne discute jamais, je suis toujours de son avis..."* Для меня такое рабство просто непостижимо. Я знаю, что Урусов "косил" женские сердца. У него и теперь тьма поклонниц. Ал. Ив. блестящ, остроумен, очень умен и всеми признанный "charmeur". Но он такой циник... К чести его надо сказать, что он этого не скрывает, т. е. *почти* не скрывает. Романы его - в самой их сущности - очень элементарны. С этой особенной, насмешливо-добродушной откровенностью Ал. Ив. говорит, что у него два рода романов: *le roman d'amour et le roman litteraire*** . "Литературный" приятно волнует, но "амурный", конечно, сильнее, потому что власть "тела" - *самая сильная власть*... И вот почему, влюбляясь без счету, Ал. Ив. по-настоящему любил и любит только свою законную жену, полуграмотную, типическую экономку-немку, очень добродушную и хорошую женщицу, Марию Федоровну. И она одна держит нашего "Петрония" в руках...

О романах своего мужа Nadine рассказывает с таким эпическим беспристрастием, что мне иногда просто тяжело слушать. Она вышла замуж по страстной любви - к нему и к его скрипке. Ей было 18-19 лет. Она была дочерью знаменитого ученого Евг. Бенц. Пеликана, лейб-медика, санов-

* С ним я никогда не спору, я всегда того же мнения, что и он.

** Роман амурный и роман литературный.

ника, а Ауэр - молодой венгерский еврей, красавец, придворный скрипач герцога Нассауского и лучший ученик Иоахима - был привезен из Германии Антоном Рубинштейном, который тогда собирал "звезд" для Петербургской консерватории. В Петербургском "свете" Ауэр легко занял свое место. Скрипка, как добрая волшебница, раскрывала перед ним настежь самые заповедные двери. "Toute les femmes se l'arrachaient"*.

Когда я слушаю рассказы Н. Е., я теряюсь и не знаю, что сказать. В нашем кругу *разврат* так плотно закрыт броней лицемерия, что он редко пробивается наружу. И уж если выплывает какая-нибудь "история", то она всегда имеет драматический, тяжелый финал. А тут это какое-то повседневное явление, неизбежное, к которому надо относиться "философски"...

Когда видишь "Польди" в роли хозяина дома, никогда в голову не придет, что он такой "Дон Жуан". Милый, ласковый, внимательный муж, добрый, хотя и строговатый отец, наблюдающий, чтобы девочки знали "порядок". Он очень гостеприимен, приятный, остроумный собеседник; очень *неглуп*, интересуется политикой, литературой, искусством. *Необычайно прост*, ни малейшей *позы*... Любой ученик консерватории больше важничает, чем он, европейская знаменитость. Н. Е. говорит, что он совсем не интриган, совсем не завистлив, что он - идеальный профессор и, как очень практический и деловой человек, умеет выводить своих учеников в люди. Несмотря на то, что его жизнь протекла в "высшем" обществе, в нем очень чувствуется еврей - в манерах, в остротах, в общих рассуждениях, в блеске огромных, черных, выпуклых глаз... Превосходно отполированный, отшлифованный, элегантный, европейский, но все-таки... еврей. И не *аристократ*-еврей, потомок благородных Акоста, а еврей из простонародья - умный, ловкий, хитрый, грубоватый и добрый.

* Женщины рвали его друг у друга.

У Ауэр четыре дочери¹⁴, но здесь в Дуббельне три. Старшая лет восемнадцати. Она очень красива, т. е. у нее даже не столько красивая, сколько интересная наружность. Небольшого роста, тоненькая, стройная, все движения, все манеры преисполнены кошачьей грации. Тянет слова, держится надменно, очень аффектирована. Лицом похожа на отца. Тот же оскал, большой нос, большой чувственный рот, те же огромные "черносливные" глаза. Только у отца блеск теплее, а у дочери они холодно поблескивают, как ножи. У нее удивительный цвет кожи: смуглый, с розовой желтизной, точно чайная роза; тонкая гибкая шея, темно-белокурые волосы, длинные, черные, словно кисточкой проведенные брови, крепкие белые зубы, прелестные породистые руки. Чрезвычайно интересна *somme apparition**...

Здесь все дожди. Скучно. С Nadine выдаюсь каждый день. Очень, очень она мне становится мила. Она много рассказывает о Брандесе, о Владимире Соловьеве, о своем отце и его друзьях - Сеченове, Боткине, об Антоне Рубинштейне, Давыдове, Есиповой, Метнере, о самом интересном круге лиц, среди которых протекала и протекает ее жизнь. Конечно, и в этой избранной сфере "именинников" на жизненном пиру - много грубости, подлости, распутства, корысти, пошлости, зависти... Но у них зато имеются такие *компенсации*! И красота декораций, и мягкость внешних форм...

Ауэр *goumê*. Он сам заказывает обед (стол у них изысканный). Я как-то сказала, что для меня самое большое наказание - заказывать обед. Он улыбнулся и заметил: "Вам это можно простить. (Он очень смешно, как анекдотические иностранцы, говорит по-русски, - по-французски хорошо, а по-немецки превосходно.) *Vous, vous êtes une*

* Как явление.

sérieuse artiste, j'ai pleuré en lisant votre "Макарка"*.
Mais elle (кивок головы на жену). Если она на один четверть тшасы позжи будет читать Journal des Goncourt - тоже не большой беда"...

18 августа.

Только что вернулась от Ауэр. Завтра у них утренний концерт, на который все билеты разобраны не только "курортными", но и рижским "мондом". Будет играть сам - Лев Семенович - и ученица Пабста, окончившая московскую консерваторию, Верочка М/аурина/. Для нее, собственно, чтобы дать ей возможность ехать за границу, и дается концерт. Мать ее, ученица Николая Рубинштейна, неустанно курит фимиам перед "Львом", Над. Евг., детьми и всем домом. Она все лето давала уроки младшей девочке Ауэр, конечно, безвозмездно. ("Для меня честь давать уроки дочери Ауэра", - говорит она всем, кому может.) Так вот, чтобы отблагодарить ее за оказанную ей "честь", Ауэр будет завтра пожинать лавры, а Верочка получить изряднуб сумму на заграницу. Билеты расписаны по очень высокой цене. В залу нельзя всунуть более 100 человек, а желающих столько, что пришлось поставить стулья в гостиной. Верочка не похожа на мать: черная, угрюмая, угловатая, они ни к кому не подделывается, очень застенчива, но о себе, т. е. о своей музыке чрезвычайно высокого мнения. Играет она отлично, как настоящая консерваторская медалистка.

Но не об этом я хотела писать. Так вот, вечером, часов около восьми, является за мной Муха с гувернанткой.

- Maman vous prie beaucoup-beaucoup de venir. On jouera et puis il y a une surprise pour vous**.

* Вы, вы серьезный художник, я плакал, читая вашего "Макарку".

** Мама вас очень-очень просит прийти. Там играют и для вас есть сюрприз.

Приходим. Н. Е. подводит меня к красивой полной брюнетке и говорит: - Eh, bien! Qui est-ce?* Та смеется, открывая при этом ослепительные зубы, крепко жмет мне руку и молчит. Я внимательно гляжу на нее и говорю: - C'est Barbi. Все очень довольны, что я угадала, но объясняют, что это уж не Barbi, а la baronne Wolf**. Но она нежно меня целует и шепчет в ухо: - Non! C'est toujours Barbi***.

Несколько дней тому назад за обедом я сказала, что из всех концертных певиц - за последние годы - ни одна не производила на меня такого впечатления, как Алиса Барби, приехавшая в Москву с бесподобным пианистом Чези. Тогда Ауэр и Над. Евг. стали наперебой рассказывать мне историю Барби. Всем своим артистическим образованием и музыкальной карьерой она обязана Чези. Он был профессором консерватории (кажется, в Милане) и так увлекся Барби, что бросил для нее семью, скомпрометировал свое положение, сделался ее *вещью*. Они довольно долго и безуспешно странствовали. Наконец, попали в Петербург, где Чези сразу обворожил Антона Григорьевича (Рубинштейна), и Ант. Григ., не знающий, что такое "зависть" (слово Над. Евг.), стал его "выводить" и "вывозить". Так же обворожила Ант. Григ. и "всех" Барби. Но итальянские артисты были до того бедны, что для первого концерта Над. Евг. перешивала для Барби свое платье. Первое выступление зато сразу обеспечило их карьеру. Это был сплошной триумф и начало их победоносных турне по всей России. В Москву они явились первоклассными знаменитостями. Вскоре Ант. Григ. пригласил Чези профессором в Петербургскую консерваторию, "божественная" Алиса стала разъезжать по России с импрессарио. Когда же она достиг-

* Ну, и кто это?

** Баронесса Вольф.

*** Нет, это всегда Барби.

ла вершины своего успеха и денег, она бросила своего благодетеля. Бедный Чези чуть не сошел с ума от отчаяния, ушел из консерватории, впал в нищету и, наконец, опасно захворал. Тогда, чтобы дать ему возможность вернуться на родину, в Неаполь, неистощимый в своей доброте Ант. Григ. решил дать для него концерт. Как раз в это время возвратилась из турне в Петербург Барби. Узнав о положении Чези, она сказала Ауэрам и Малоземовой: "Ce pauvre Cesi! Je voudrais tant faire quelque chose pour lui! Mais à présent que le programme est fait, je ne pourrai pas chanter..."*

Сентиментальная Софочка Малоземова, тридцать лет беззаветно и самоотверженно посвящающая свою жизнь на служение "Антону Григорьевичу", с волнением обратилась к итальянской диве: "Mais, chère Barbi! Vous pouvez faire mieux. Allez chez lui. Il n'a qu'un desir - vous voir encore une fois**". На это дива возразила: " а c'est impossible. Je souffre trop de voir les malades. Savez-vous, ma chère? Je lui enverrai 300 roubles..."***

Некоторое время спустя Алиса вышла замуж за богатого остзейского барона, у которого замок с башнями, подъемными мостами, рвами, гербами. Алисе эта "феодалщина", видно, очень импонирует. "Баронесса" беременна, но все еще хороша этой страстной итальянской красотой. Кожа золотисто-розовая, матовая, черные-черные волосы падают челкой на низкий лоб, великолепные черные глаза в синеватых белках, в огромных ресницах, небольшой орлиный нос с тонкими нервными ноздрями,

* Этот бедный Чези! Мне бы так хотелось что-нибудь для него сделать. Но программа уже заполнена и я не смогу петь.

** Милая Барби! Вы можете сделать лучше. Поезжайте к нему. У него только одно желание: видеть вас еще один раз.

*** Это невозможно. Я слишком страдаю, когда вижу больных. Знаете что, милая? Я ему пошлю 300 рублей.

большой, прекрасного рисунка рот и эти чудесные зубы, эта солнечная улыбка! Конечно, красавица! И перед этим блеском и зноем все наши поэтические "северные розы" - такая печаль, такое малокровие... или белокровие... Бедные, мы бедные: только вздыхаем.

Барон трехаршинного роста, тощий, прямой, как палка, гладко остриженный, с жидкой бороденкой и холодной остзейской физиономией. Сух, важен, учтив. Ауэры очень любезны с баронской четой. "Польди" сыграл для них весь завтрашний концерт и сверх того все, что просила Барби. (Какой он изумительный артист, казалось, век бы его слушать!) Когда он играл *Andante* из Крейцеровой сонаты, Барби прошептала: "*C'est trop beau! C'est douloureux!*"* - и закрыла глаза платком. Должно быть, чтобы не видеть своего барона (а может быть, она вспомнила бедного Чези). Потом, когда Ауэр заиграл *Playera* (Сарасате), она вздохнула: "*Oh, comme je voudrais chanter!*" - "*Eh, bien! Chantez!*"** - сказала. Она подняла на меня свои великолепные, полные слез глаза, покачала головой и прошептала: "*Tempi passati*"***.

Верочка М/аурина/ честно аккомпанировала Ауэру и, по просьбе Над. Евг. и Барби, играла еще и сверх программы приготовленное на "бисы". Играла очень хорошо, бегло, чисто, не "по-ученически". Из нее, вероятно, выйдет отличная пианистка. Все ее очень хвалили. Лев Сем. ее гладил по голове, хлопал по плечу и приговаривал: "Молодец, Верочка! Только затшем так спешийт? Вы ишо савсем малядая... ишо все успэить..." И сам хохотал (он всегда смеется, когда говорит по-русски). Мамаша Верочки млела от счастья. Завтра, конечно, будет так: Ауэр будет блистать, публика будет слушать только его. Верочка

* Это слишком хорошо! Это мучительно.

** О, как бы я хотела спеть! - И пойте!

*** Время прошло.

струсит и "провалится". Мамаша будет в душе ругать Ауэра и громко уверять нас всех, что у Верочки была адская мигрень. Ауэр будет разносить Верочку и московскую консерваторию. Это уже было, когда Верочка провалилась в Майоренгофе*.

Так все и вышло. Ауэр в бархатной "жакетке", чтобы публика чувствовала, что он ее принимает у себя на даче, - так играл, что все сошли с ума от восторга. Верочку никто не слушал. От этого она еще пуще волновалась, торопилась, мазала, пальцы у нее, бедняжки, были как лед. После концерта она закатила такую истерику! Мать металась, как угорелая, она на нее рычала, Заза презрительно пожимала плечами, а Ауэр, весь красный, размахивая руками и бегая по веранде, выпаливал: "C'est idiot! C'est ridicule!.. Me faire jouer avec des élèves! Si c'était encore la mienne! Ah, je la connais l'école Pabst! Les doigts en bois! Jouer avec une gamine parce que ma femme a la rage de bienfaisance... Je déteste moi les concerts de bienfaisance... Je ne suis pas un queteur! Je suis musicien! Je ne peux pas jouer plus mal pour faire briller une petite fille! Ils sont idiots..."**

("Ils" - это, очевидно, собственное семейство.) Бедный го-виолон!*** Мне его было жалко.

* Теперь Майори (Латвия).

** Это идиотство! Заставлять меня играть с ученицей... И хотя бы еще с моей... О, я знаю эту школу Пабста! Деревянные пальцы... Играть с девчонкой, потому что моя жена помещана на благотворительности... Я ненавижу благотворительные концерты... Я не могу ходить с тарелкой... Я - музыкант! Я не могу играть "похуже", чтоб дать блеснуть маленькой девочке... Они идиоты.

*** Король скрипки.

Почти каждый день "беседую", т. е. слушаю Боборыкина. Он ужасно много говорит. Но он так много видел! Кого-кого он только не знал! И поэтому его интересно слушать. Он *очень прост*. Совсем не благожелателен, почти никого не хвалит *sans restriction** и до наивности полон собой. Это не фатовство, не самовлюбленность. Он просто верит, что П. Д. Боборыкин - центральная фигура второй половины русского XIX века, не оцененная современниками. Не значит это также, что кроме себя он не признает других "властителей дум". Нет, он ценит Тургенева, Островского, Гончарова, но не так, чтобы, мол: "куда мне до них!" На это, мне кажется, П. Д. просто не способен. Он все описывает, подмечает, щеголяет словечками, но он не умеет восторгаться. Он очень вспыльчив, резок и капризен. Мне он очень интересен как отличный фонограф, сохранивший целый мир звуков, как альбом старых драгоценных портретов...

Вчера он говорил о Соловьеве¹⁵ и Толстом. Про Соловьева - что он дилетант! Очень талантливый, но тем не менее дилетант в литературе и натуральный *sabotin*** в жизни. (Я не знаю Вл. Соловьева, но мне кажется, что это кощунство. Н. Е. очень дружна с Соловьевым, обожает его и говорит, что "Bobo est un idiot. Il ne peut pas, il est incapable de comprendre Wladimir"***).

Отдавая "должное" гению Толстого, Петр. Дм. тем не мене считает, что Лев Ник. болен "mania grandiosa"****.

* Без оговорок.

** Комедиант.

*** Бобо идиот. Он просто не способен понять Владимира.

**** Мания величия.

Жена Боборыкина, София Александровна, очень милая изящная, высокая, худая старуха. Прекрасно, хотя слишком аффектированно, произносит по-французски (она готовилась в молодости на французскую сцену). Обожает своего "Петрушу" и считает его великим писателем. Господи, какое счастье - слепо любить...

28 сентября.

Урусов сейчас в Крожах. Там идет интересный процесс о польском "бунте". Крожи - местечко в Гродненской губернии. Там произошел польский бунт в костеле; для взвешивания мятежников было приказано снести костел, утварь, какая годится, передать в православную церковь, остальное продать. Деньги передать в казну. Инициатива этого "патриотического" усердия принадлежит генерал-губернатору Оржевскому. Никакие ходатайства польских магнатов не помогли, - и в один печальный день костел во время богослужения был окружен урядниками и казаками, а молящимся было предложено убираться вон. Некоторые повиновались, а 70 человек (среди них больше всего женщин) отказались покинуть церковь до конца службы. Тогда казаки и урядники пустили в ход нагайки. В костеле произошло отвратительное избиение... И вот, в результате 70 человек преданы суду - за "сопротивление властям".

Защищают - Урусов (по просьбе Спасовича, который как поляк *не может* защищать сам, т. е. ему бы не разрешили), Андреевский и еще какие-то петербургские тузы. Дело идет, конечно, при закрытых дверях и в присутствии министра юстиции Муравьева. Урусов пишет, что адвокатам позволяют говорить *все*, но что подсудимым от этого будет не легче. Он думает, что дело кончится скверно.

Нечто в этом роде, не по результату, а по духу происходит в Москве. Теперь еврейские праздники - Новый год, Судный день и Кушей... И вот, под страхом административной кары евреям запрещено собираться для богослуже-

ния, даже в частных домах. (Синагога давно закрыта вел. кн. Серг. Алекс.) Некоторые полковые командиры пожалели своих солдат и разрешили им молиться в казармах. (Нельзя не удивляться благородству и смелости этих отцов-командиров.) Тогда к солдатам ринулись "штатские" под флагом "родственников". Командиры и к этой еврейской "хитрости" отнеслись благосклонно. (Какое счастье, что русские "начальники" не так непреклонно суровы, как, например, немецкие. Ну, какой "Oberst" пожалел бы еврея-солдата!) В казармах собралось человек триста. Духота, мрак, стон и плач... Чем не средневековье...

Четверг. 20 октября, 12 1/2 час ночи.

Государь скончался в Ливадии. Официальной телеграммы еще нет, но представления в театрах были прерваны и публике объявлено, что получено известие о кончине Государя. Слухи о его болезни ходили давно. Русская печать, конечно, о том молчала. С месяц тому назад появилось несколько правительственных бюллетеней. По обыкновению они были смутны, сбивчивы, даже бессмысленны. "Политики" дополняли их собственными комментариями. 13 лет царствования Александра III - не скоро забудутся. Для поляков, сектантов, финляндцев и особенно для евреев эпоха царя-миротворца была жестокая, мрачная и при этом поразительно нелепая эпоха. То же и для вольнолюбивых россиян. Погромы и "разгромы" сверху и снизу, отрыванье детей у родителей-духоборов, разоренье, измывательство, армянская резня, религиозные гонения, травливание "инородцев" друг на друга. А во внешней политике - франко-русский союз и "сердечная дружба" с приживальщиком и лизоблюдом кн. Черногорским. В Зимнем дворце, во всех торжественных случаях, оркестр исполняет наряду с "Боже, царя храни" - "Марсельезу". Ведь это только надо себе представить: "Contre nous de la tyrannie. L'étendart sanglant est levé!.. Aux armes - citoyens!" И тут же: "Сла-а-вному долгие дни"...

Неужели там, в "высших сферах", никому в голову не приходило - какая это буффонада! И французы хороши!

А между тем "общая молва" украшала государя солидными личными добродетелями. Прекрасный семьянин, прямодушный, добрый и застенчивый человек. От людей, вхожих в столь высокое место, приходилось слышать, что Александр III добрый человек, но совершенно необразованный, тупой, страшно вспыльчивый, упрямый и... пьяница. Из фигур, его окружавших, - самая крупная и самая зловещая, конечно, К. П. Победоносцев. Русский Торквемада.

О наследнике решительно ничего не известно.

21 октября.

"Русские ведомости" поместили *очень сдержанную* передовицу. "Новости дня" сравнивают Александра III с Петром Великим, причем "беспристрастно", не нарушая респекта к Петру, - отдают должное "Миротворцу", который был еще *выше*.

Была у Янжулов. Ив. Ив. рассказывал разные анекдоты про покойного государя. Между прочим (и это уже не анекдот, а "истинное происшествие"), когда министром финансов был Н. Х. Бунге, государь ему довольно раздраженным тоном однажды заявил, что он не желает, чтобы наш рубль постоянно колебался, что это "беспорядок" и чтобы этого больше не было. Бедный Бунге стал объяснять, что это вещь очень сложная, что это зависит от международного денежного рынка и т. д. Царь слушал, слушал и, наконец, возразил: "Ничего не понимаю, пришлите кого-нибудь, кто бы мог мне объяснить это на человеческом языке". Янжул уверяет, что это ему рассказывал сам Бунге. Очень вероятно, только мне кажется, что Ив. Ив. все-таки передает рассказ Бунге "своими" словами.

31 октября.

Я совершенно одна в доме. Все пошли смотреть похоронную процессию государя, которого сегодня увозят в Петербург. Я видела эту процессию вчера из квартиры знакомых, которые живут на Мясницкой. Вчера привезли тело из Ливадии и одну ночь оно оставалось в Архангельском соборе. Процессия чрезвычайно длинная, очень богатая, пышная, но не скажу, чтобы живописная. Я смотрела в бинокль и отлично видела лица. Почти все были в полной дисгармонии с печальным и, как бы ни относиться к личности Александра III, со значительным характером события. (Ведь никто не знает, кто и что такое Николай II. Может быть, будет "еще хуже".)

По улице тянулся бесконечный ряд людей с тупыми, безразличными или ухмыляющимися физиономиями. Депутаты были бы очень похожи на театральных статистов, если б они держались торжественно, а то они поминутно сбивались, догоняя друг друга. Предводитель дворянства кн. Трубецкой, в пенсне на посиневшем от холода носу, болтал, смеялся и упорно разглядывал публику в окнах. Городской голова Рукавишников хлопал в ладоши, чтобы согреть руки, как это делают извозчики в сильные морозы. (Как раз перед нашими окнами произошла какая-то заминка и процессия стояла на месте минуты три или пять.) Но всего удивительнее мне показалось духовенство. Ни одного интересного лица. Какие-то бессмысленные, одутловатые, большей частью жирные... Я заметила особенно одного попа с толстым фиолетовым носом, который тер левой рукой ухо, смеялся и разговаривал. Старые и худые священники гораздо приятнее на вид, но - импозантности, декоративности - ни малейшей. Облачения очень богатые, но тоже не живописные. Прямые жесткие ризы с дырой для головы - топорщатся во все стороны, тоненькие зеленые свечи то и дело гаснут и их "по-домашнему" зажигают друг у друга. Все угловато, холодно, "по-простецки". Ничего мягкого, таинственного, "надземного"... Я вспоми-

наю Рим. Длинные складки, драпирующие фигуру, белые, лиловые и пурпурные мантии, шлейфы, закрывающие ноги и дающие иллюзию чего-то скользящего по земле и возносящего *туда*, ввысь - моления о нас, грешных... Сухие, бритые, точеные черты, тонкие, изящные, благословляющие руки, благочестиво склоненные гордые головы... Словом, все, что придает такую картинность католической службе, католическим процессиям...¹⁶

Молодой император прошел совсем около нас. Это небольшого роста худой человек, с добрым и симпатичным, совсем молодым лицом. Все у него, как у миллиона молодых людей его возраста. Но он "Божией милостью" избавлен от трех четвертей страданий, терзающих человечество. Зависть, самолюбие, нужда, искательство, унижения, - все это для него лишь абстрактные представления. Наука, искусство, природа, любовь - к его услугам. Чего еще? Живи и благотвори копошащимся внизу смертным! Самый обыкновенный жест, обязательный для мало-мальски воспитанного "джентльмена", вроде: "Как поживает ваша жена? Кланяйтесь ей", - когда это исходит от *него*, - составляет радость и счастье для того, кто удостоился привлечь эту *милость*... Люди, которым ничего не стоит быть богатыми, прославляются, если они только не негодяи и не злодеи (да даже и в таких "случаях").

В Петербурге умер скоропостижно Антон Рубинштейн. Ничья музыка не производила на меня такого впечатления. Как пианист - он был гений. Виртуозов много, а он был *единственный*. Когда я слушала его, я совсем, совсем забывала *свою* жизнь. И вся зала, т. е. все люди, съехавшиеся из разных мест, из разных слоев общества и по разным побуждениям, - точно стряхивали с себя житейскую суету и жизненный гнет и сливались воедино: эстрада превращалась в алтарь. Только это был не церковный алтарь райских песнопений, блаженных, чистых, бесплотных радостей... Тут, под перстами волшебника, - рыдала, страдала, любила, уповала, пела, плясала, рождалась, молилась,

умирала и воскресала вся человеческая жизнь, вся человеческая душа...

9 ноября.

О покойном императоре. Отрывки из статьи в "Правительственном Вестнике": "Подобного ничего не было, не случалось того, чтобы к имени угасавшего Миротворца, в стоустной молве народа, в сердце всего человечества подходило само собой, как сродное сродному, как должное должному - наименование Великого. Наименование это, никем не оспариваемое, само заняло подле имени Александра III подобающее ему место".

Хоть бы Пушкина вспомнили:

"Льстецы, льстецы, старайтесь сохранять
И в самой подлости оттенок благородства..."

Боборыкин на днях прочел лекцию "Судьба русского романа". Студенты ему *шикали* за то, что он позволил себе "отрицательное" отношение к излюбленному приему русской критики, которая к художественным произведениям всегда предъявляет не художественные, а тенденциозные требования: общественные, политические, педагогические... Ведь это азбука. В Европе о таком "truisme" не стал бы говорить ни один conférencier. А у нас студенты *шикали* почтенному, образованному писателю.

29 ноября.

В субботу Ив. Ив. Янжул читал публичную лекцию о синдикатах. Интересно, но уж очень длинно. Он читал около трех часов. Зала музея была битком набита. Воскресенье (их журфикс) мы у них были. Как всегда, "нетолченная труба" народу, крик, шум, накурено. Янжулы чрезвычайно милые хозяева. Когда у них Чупров, Эрисман, Стороженко - бывает интересно, но общий "фон" гостей серый...

Ключевский в Обществе русских древностей недавно прочитал такую лекцию - дифирамб минувшему царствованию, что все растерялись от неожиданности. Никто не понимает, что "сей сон значит". Мало этого, Ключевский напечатал свой панегирик Александру III брошюрой. Тогда студенты (которых научил кто-то из профессоров, у Янжулов говорили - кто, но я забыла) скупили брошюру, вклеили в нее басню Фонвизина "Лисица-Кознодей" и разослали всем московским "нотаблям". Басня очаровательная. Написана сто лет тому назад, а веет от нее такой современностью! Видно, *plus ça change, plus c'est la même chose*...*, особенно на святой Руси...

3 декабря (ночью).

Приехала из концерта в память Антона Рубинштейна. Грустно было смотреть на белый бюст Антона Григорьевича в темной зелени лавров. Казалось, то он прислушивается к звукам бетховенского похоронного марша... Еще так недавно он сам его играл. Прелестно пел Тартаков. Особенно удался ему романс "Слыхали ль вы за рощей глас ночной"...

Музыка самое волшебное из всех искусств. Прошлое оживает под звуки. Слушаешь и видишь то, чего уже давно нет, чего никакими силами не вернуть и не повторить. Не всегда, конечно. "Что прошло, то будет мило"... Но одного всегда жаль, - это промчавшейся молодости... "Сны беззаботные, сны мимолетные снятся лишь раз", - пел сегодня Тартаков. Да, они снятся лишь раз - в молодости! Это ведь и есть дыхание бессмертной богини Поэзии. Сколько раз в этой же зале будут раздаваться те же звуки, они будут волновать другие сердца, а наши давно уж истлеют в земле... И те, кого мы вырастили, кому отдавали всю силу любви, ради кого отказывались от счастья, давно забудут путь к нашим заглохшим могилам...

* Чем больше меняется, тем больше это одно и то же.

Два дня подряд по несколько часов просидела в суде. Слушала Урусова. Дело "литературное". Обвинялась в клевете судебная репортерша "Московских ведомостей". Но интересно было не дело и не обвиняемая, а публика. Зал был полон: весь московский "monde" собрался "на Урусова". Какой оратор! Лучше всех, кого я слышала. Вот это искусство! Умно, толково, благородно, а *просто* так, что даже досадно и обидно, что сам ни за что так не скажешь и не напишешь. Какое чувство меры и в остроумии, и в иронии, и в добродушии, в котором чувствуется и высокомерие, и жалостливые нотки презрения виртуоза к козявкам. Но именно - чувствуется... Уловить его невозможно... Я только теперь поняла, что такое "бархатный баритон" Урусова. Если бы я видела и слышала Ал. Ив. только в суде, я была бы от него без ума. Я больше не удивляюсь, что у него столько "обожательниц" по всей России. Стоит лишь представить себе сонную одурь русской провинциальной тоски и скуки... И вдруг это болото всколыхнет мошеничество, преступление, гадость... И среди всего этого - явление: Ал. Ив. Урусов! Великолепный, изящный, красивый, такой далекий от их противной жизни - и вдруг сразу такой близкий, доступный, все понимающий, все объясняющий, поднимающий убитый дух, говорящий таким голосом и такие слова, какие им бедным и во сне не снились... Как же не осыпать его цветами, не обожать, не просить на память карточку "с надписью". Ведь гастроль Урусова это эпоха в жизни русских "m-me Bonagu". А я - неблагодарная! Ведь он обещал, когда я обижалась, что он не позволяет мне послушать его в сенсационном процессе (он самым решительным образом воспротивился моему желанию поехать на процесс Орлова, убийцы хористки Бефани) - обещал устроить для меня "литературный спектакль"... И сдержал обещание.

В перерывах он несколько раз подходил ко мне и смотрел прямо в глаза своими смеющимися глазами, спрашивая с усмешкой:

- Ну что, довольны? Мне кажется скучновато...

Я сказала:

- Александр Иывныч! Вы какой-то совсем другой тут.

Он засмеялся:

- Не такой, как у вас в кабинете? Вы не голодны, Р. М.? Хотите чаю и бутербродов? Кстати посмотрите наш буфет.

Я отказалась. Ал. Ив. пошел "осчастливливать" других знакомых. Обнял за талию какого-то замухрышку, молодого адвоката-помощника, и стал с ним расхаживать по коридору. Молодой адвокат млел от счастья и даже не догадывался, как жалка его маленькая вихрастая фигурка, его торопливые, мелкие шажки рядом с великолепной фигурой знаменитого кн. Урусова. Публика с восторгом смотрела на Ал. Ив. Он точно не замечал устремленные на него взоры и так просто и ласково кланялся то тому, то другому, останавливался, шутил и плыл дальше на своих мягких, бесшумных подошвах. А рядом так плебейски скрипели сапоги улыбающегося, обласканного князем адвоката, у которого от напряжения физиономия становилась все глупей.

В университете целый скандал. Студенты освистали Ключевского. Университетская администрация пригласила полицию. Пошли, конечно, аресты. Кое-кого исключили. Досадно, конечно, что Ключевский явился таким панегиристом Александра III. Но и студенты хороши. Как-никак Ключевский - слава и гордость не одного только Московского университета, а всей русской историографии, и нельзя обращаться с ним, как с Брызгаловым. Говорят, что сам Василий Осипович хлопочет теперь за арестованных и исключенных. Это совсем в его духе. Мудрый, ничему не удивляющийся...

1895 г.

23 января.

На той неделе (кажется, 17-го) молодому императору представлялась депутация от земств по случаю его бракосочетания. Подавались адреса и подарки (на несколько

миллионов). До этого в публике и даже в печати прошли слухи, что некоторые земства (особенно называли Тверское) в своих адресах "намекают" о конституции. С новым царствованием все почему-то стали надеяться на "новый курс"... Повсюду рассказывались умильные анекдоты о доброте, мягкости и "простоте" молодого государя. Особенную сенсацию производил рассказ о том, как молодой царь пешком, без охраны, без свиты, вдвоем со своей невестой гулял по Невскому, зашел с ней в магазин и купил ей пару перчаток. Эта "пара перчаток" а fait le tour de la Russie et du mond*, об этом живописали все иностранные корреспонденты: в этом "предчувствовали" зарю новой исторической эры. И вот, отвечая тверским земцам на всеподданнейший адрес, государь взволнованным голосом выкрикнул, что надо оставить "бессмысленные мечтания". Говорят, что державший золотое блюдо с хлебом-солью тверской предводитель дворянства был так потрясен, что чуть-чуть не упал в обморок и уронил блюдо. Говорят, что депутаты оцепенели от ужаса, что в зале царило мертвое молчание и что только небольшая группа придворных и гвардейских офицеров кричала "ура". "Говорят" вообще очень много; только недавние восторги и чаяния сменились унынием. Газеты сразу очнулись от "бессмысленных мечтаний" и пишут суровые статьи о вреде "тумана" и о том, как хорошо, что все стало "ясно". Надо отдать справедливость "Русским ведомостям" - умеют хоть *молчать*. "Русская жизнь" закрыта.

Июль. Рауха.

"Франценсбад"... "Заграница"... Все промелькнуло...

Сейчас я в Финляндии у Ауэр. Они занимают отдельную дачу и домик в лесу, где "Польди" играет, вдали от

* Обошла Россию и весь мир.

любопытных, на скрипке. Nadine, как всегда, очень приятна. Маэстро любезен тоже, как всегда.

В день моего приезда я видела водопад только мельком, вернее слышала его грохот (Иматра от Рауха в шести верстах). А вчера я глядела на Иматру "во-всю". Это не водопад вроде швейцарских Штаубахов или Гисбахов, а огромная река, которая с головокружительной быстротой и яростным ревом несется меж узких гранитных берегов. Берег увенчан печальными, кривыми соснами... Мы сошли вниз по тропинке и смотрели на мост, перекинутый с одного берега на другой. Он точно висит в воздухе и из-под него, словно срываясь с неба, мчатся одна за другой огромные снежные горы пены. Навстречу им скачут такие же страшные горы... Налетают друг на друга, с воем вздымаются вверх, раскидывают фонтаны водяной пыли, лижут, вздыхая, каменные глыбы, мгновенно убегают прочь и слившись в kloкочущий сверкающий вал, все с тем же безумным ревом несутся дальше. А сверху в ожесточенном вихре стремятся новые чудовища, а внизу тихо течет и блещит холодным блеском река...

В общем, впечатление мрачное. Не то что на юге, где все - радость и восторг. Неудивительно, что у финляндцев такие унылые серые лица. (Юлия Павловна Маковская не любит Финляндии, потому что там все мужчины "похожи на Кони".)

Иногда мне тут неуютно. Что-то под этим блеском и "аристократизмом" беспокойное... Аристократична, в сущности, только одна Надежда Евгеньевна. Сам - великолепный музыкант, изумительный скрипач, человек очень "отполировавшийся" на европейских эстрадах и во всех кругах общества. Но... но еврей-плебей, и если у него отнять *скрипку*, то он может быть отличным биржевым маклером, комиссионером, дельцом, адвокатом, доктором, чем угодно... У него очень красивые черные, огромные, выпуклые, как яблоко, блестящие, точно политые маслом, глаза. Эта "поволока" исчезает только, когда он играет великолепно.

ные вещи - Бетховена, Баха. Тогда в них сверкают искры сурового огня... А так - горбатый нос с жадными ноздрями, толстые животные губы, слишком белые зубы...

Дочитала роман Bosny "L'autre femme"*.

Это роман à thèse, а "тэза" такая, что для мужа необходимо и даже законно, кроме жены, иметь еще женщин, чем больше, тем лучше. Ибо "le renouveau de l'idylle, l'esthétique de l'adultère"**, это такое зерно существования от которого мужчина не может отказаться. Другое дело женщина - жена... Она должна "subir"*** все обязательно до конца. Написано увлекательно, но гораздо слабее, чем фантастические романы Bosny, например, "Vamerch". Какая масса талантов у французов! Как они владеют ремеслом, т. е. самой техникой письма, - тем, что они так хорошо называют le métier de l'art****. Без овладения этим "métier" там никто не посмеет считать себя писателем, актером, певцом... Не то что мы, самородные таланты! Ничего не знаем, косноязычные, безграмотные, а воображаем, что именно мы-то и открываем каждый день никому не ведомые миры.

10 июля. Понедельник. Рауха.

Сегодня на мою долю выпало редкое наслаждение. Уж совсем стемнело; Надежда Евгеньевна увлекла меня минут за пять отсюда в маленький домик среди соснового леса. В этом домике Ауэр занимается до обеда и после

* "Другая женщина".

** "Обновление идиллии, эстетика адюльтера".

*** Выносить.

**** Ремесло искусства.

дневной прогулки. В домике всего две комнатки. Самая примитивная финская мебель, большая печь, которую Надежда Евгеньевна задрапировала какой-то цветной шалью. Чисто, тихо. Мы сели в первой комнате, а в другой маэстро играл на своей волшебной скрипке. И как играл! Звуки в открытое окно неслись по всему лесу. И как это было хорошо, что он играл в другой комнате, что его не было видно, что можно было молчать и слушать. Какой артист этот хитрый "Лев Семеныч". Он играл Чайковского, Шумана и Бетховена. И я даже не знаю, что я больше испытывала - восторг или страдание... Когда слушаешь такую музыку - раскрывается вся *тайная* души, тоскующей о вечном и бесконечном...

Анатолий Федорович приехал провести меня. Я поехала его встретить на Иматру. Над. Евг. очень строго мне внушала, чтобы я наняла для Кони спокойную коляску, что его нельзя "тащить" шесть верст на таратайке. Я добросовестно искала (правда, только глазами) эту "спокойную" коляску, даже спрашивала буфетчика, но он флегматично что-то промямлил по-фински. Я решила, что не беда, если Анат. Фед. прокатится в таратайке, но для очистки совести спросила его, не поискать ли нам вместе более удобный экипаж. Он только посмеялся над этой излишней заботливостью, и мы отлично доехали на той же таратайке и с тем же мальчишкой, который привез меня из Рауха. Один момент, когда мы мчались с горки, я испугалась, что мой сенатор вылетит, но все обошлось благополучно.

Прибежала Заза и сказала, что приехал Владимир Сергеевич Соловьев, что он сидит у Кони, но что он теперь мне не понравится, потому что он остригся... "Был похож на пророка, - журчала Заза, - а теперь совсем не интересный, и вы, Р. М., будете совсем разочарованы". В эту минуту с балкона раздался тонкий, взвизгивающий смех. "Это он так смеется, - шепотом сказала Заза. - Из того

окна вы можете его видеть, а он вас не увидит". Я подошла к крайнему окну. В уголке балкона, покачиваясь на стуле, сидел согнувшись страшно худой человек, с длинной полуседой бородой, закрывавшей ему весь рот, который он то прикрывал длинной тонкой рукой, то, нервно поглаживая свою бороду, смеялся переливчатым дрожащим смехом.

- Заза, - сказала я, - а ведь смех у него неприятный...

- Не говорите этого маме, - иронически протянула Заза. - Она примет это за критику. On n'a pas le droit de critiquer les grands hommes"*.

Кони совсем не было видно, он сидел у стены в другом уголке. У Соловьева голова почти белая, а брови черные, густые. Благородный, прекрасной формы лоб, синие, очень глубоко сидящие глаза. Вообще, верхняя часть лица необыкновенной строгости и изящества, а нижняя - нос, огромный рот, крутой подбородок - грубой лепки. Губы длинные, чувственные. "Полубог-полусатир". Я была очень довольна, что могла так незаметно рассмотреть лицо этого замечательного человека, которого мне так давно хотелось видеть.

Перед обедом мы познакомились с Владимиром Сергеевичем.

Над. Евг. подвела его ко мне и сказала: "Vous vous connaissez depuis longtemps, à présent il vous faut vous voir et... je te prie d'aimer Влад. Серг. sans raisonner..."**

Я ничего не сказала, а Влад. Серг. пристально поглядел на меня и засмеялся своим тонким смехом. За столом (мы обедали /в пансионе/ на большой террасе, но не за табльдотом, а отдельно) - первым солистом был Кони. Он блис-

* Нельзя критиковать великих людей.

** "Вы давно знаете друг друга, теперь вам надо только видиться, и... я тебя прошу любить Влад. Серг. без рассуждений..."

тал и чаровал решительно всех, был мил и внимателен от старших до гувернантки и младшей дочери Над. Евг. Ауэру он рассказывал немецкие "вицы", нас пленял литературными и житейскими воспоминаниями, отечески кокетничал с Заза; девочки и гувернантка покатывались, слушая, как европеец в китайском ресторане, думая, что ему подали кошку, спросил лакея: "мяу, мяу, мяу?" А лакей его успокаивал: "Никак нет-с! Это вауваувау..." Все были в восторге. Меня удивил Соловьев - так звонко, по-детски захлебываясь, он хохотал и радовался всякому анекдоту.

Мне было как-то неловко за равнодушие *нашего* "отборного" стола к полусотне людей, обедавших позади нас на той же террасе. Я чувствовала, с каким любопытством и, может быть, завистью прислушиваются к нашему смеху, как ловят каждое слово Кони или Соловьева, как робко говорят шепотом, а Заза нарочно говорит небрежно и громко, точно подчеркивая, что сидящие за табльдотом люди "другого круга", на которых не стоит обращать внимания. Может быть, мое воображение преувеличивало "психологию" двух столов, и остальная пансионская публика, состоящая из петербуржцев средней руки, - просто была очень довольна, что она может поглядеть и послушать таких знаменитостей, как Ауэр - не на эстраде, а Соловьев и Кони - не на кафедре, а так сказать, в обыкновенной обстановке. Но я не могла отделаться от чувства, что все мы немножко ломаемся перед этой самой публикой. Вполне самим собой мне казался только Вл. Серг., а остальные (даже Н. Е. в своей изысканной простоте) немножко позировали... Кофе пили не на общей террасе, а на балконе у маэстро - было гораздо приятней. Потом катались по озеру, а вечером, в маленьком домике, опять слушали чудную музыку Льва Семеновича.

Кони наслаждался, и когда "Польди" кончил, мечтательно, со вздохом произнес: "Какая разница между моим делом и делом Льва Семеныча! Он работает для удовольствия людей, а я решаю их судьбу. Он несет с собой одно

наслаждение, а я - страх и отчаяние" и т. д. Чтобы не остаться в долгу, "Польди" возразил, что Анатолий Федорович спасает невинных или что-то в этом роде. За вечерним столом Кони рассказал потрясающую историю о смерти, вернее, самоубийстве в бешеном вихре Иматры своего друга, доктора Левковича. А затем, чтобы рассеять мрачное впечатление, изумительно, как редкостный актер, прочел наизусть рассказ Щедрина "О губернаторе с фаршированной головой"¹⁸. Ауэр, барышни, Соловьев - помирили со смеху. Я заметила, что Nadine раздражена. Голос Кони до нее не доходит. Она видит, что все смеются, довольны, а сама ничего не слышит¹⁹. Наконец, разошлись по своим комнатам.

На следующий день после завтрака сенатор уехал. Перед отъездом он спросил счет у "синьора" ("синьор" - это здешний *gérant d'hôtel*^{*}, презабавный итальянец). "Синьор" сказал, что все уплачено *par ces dames*, Анатолий Федорович не настаивал, но, вернувшись к нам, сказал, что он в первый раз в жизни оказался на содержании у двух женщин, и должен сознаться, что ему не только не стыдно, а даже очень приятно...

12 июля. Среда.

Н. Е. говорит про Кони: "Tout ce qu'il dit est très joli, très spirituel, mais à la longue agaçant"^{**}. Это, конечно, неверно. Анатолий Федорович умен, холоден, сентиментален, до ужаса честен, редко кому верит и знает себе цену. Он отменно понимает "русский дух". Но сам он совсем не русский. Он аккуратен, трудолюбив и ни на какие "эксцессы" не способен. Никакой "достоевщины"... Все члены семьи Ауэр хвалили Анат. Фед., однако с прибавкой "но".

^{*} Управляющий отелем.

^{**} То, что он говорит, очень красиво, умно, но в конце концов надоедает.

"Синьор" с обезьяньими ужимками представлял, как г. сенатор колебался, - протянуть ли ему руку неизвестному итальянцу или нет, - и предложил ему сигару. Заза, которая сама обращается с "синьором", как с лакеем, - была очень довольна, что "разделяет" моего "друга", и все повторяла: "Р. М., вас, наверное, шокирует, что мы позволяем себе шутить над таким великим человеком? Это у нас такая глупая манера, mais nous l'admirons beaucoup"*. Соловьев говорил, что, хотя он сто раз слышал "репертуар" Кони, но каждый раз слушает с новым удовольствием - до того художественно Анат. Фед. его всегда сервирует. Большой мастер! "Польди" все повторял: "Ah, Koni! C'est la vertu meme!"** - и важно качал головой. Над. Евг., провожая меня в мою комнату, прибавила к этому вроде пояснения: Кони à supplanter*** Льва Семенича...

Соловьев очень обаятелен. Настоящий большой человек. Необыкновенно прост, остроумен, без всяких "frais"**** - ему это в самом деле ничего не стоит. Он хохочет, как ребенок, шутит, чарующе добр, минутами наивен - и вдруг сразу, неожиданно - все выражение лица у него меняется - и вместо только что хохотавшего по поводу пустяка человека, - видишь суровое, проникновенное лицо пророка. Он, правда, не от мира сего... И как к нему не идет общеевропейское платье! Ряса монаха-астролога, плащ крестоносца, латы Дон-Кихота, вериги схимника, рубище юродивого - все, что угодно, только не брюки, не сюртук, не галстук, не серая шляпа-котелок... У

* Но мы им восхищаемся.

** Ах, Кони! Это сама добродетель!

*** Вытеснил.

**** Затруднений.

него странные руки - длинные-длинные, как у обезьяны, а кисти рук до того худы, что можно, кажется, счесть все фаланги и кости. Пальцы как-то особенно подвижны, одухотворены - замечательные руки - ни у кого не видала таких выразительных говорящих рук (кроме Дузе). Главная мимика соловьевского лица сосредоточена во рту - в огромном, раскрывающемся, как пасть, когда он смеется, - и в его мягкой, бестелесной, чуть-чуть касающейся, скользящей по вас руке. Он очень любит читать вслух свои стихи. Ауэр как-то прослушал большое стихотворение и наивно сказал: "Sans doute, c'est admirable, mais j'avoue, que je comprends mieux quand c'est R. M. qui récite la poésie"* . Соловьев так громко, так весело расхохотался и стал меня просить прочесть то же стихотворение. Я прочла, и Ауэр "все понял". А Вл. Серг. так просто сказал: "Ну, конечно, вы читаете по-настоящему. Ваша "простота" - большая выучка, а я вою, как семинарист на акте. Зато декаденты читают еще хуже меня. Они косноязычные, гнусавые, не произносят букв, не знают ударений и воют, воют свои стихи в один голос - гораздо, гораздо хуже меня".

Соловьев очень любит "гротески" - даже как-то патологически; любит цинические анекдоты, каламбуры, карикатуры. И себя любит изображать в смешном виде. Nadine мне показала его стихи в "Вестнике Европы". Я посмеялась над стихом: "Лучей блестящих полк за *пóлком*"... Она ему это передала, и Вл. Серг. преподнес нам следующее стихотворение:

Нелепых виршей полк за полком
Нам шлет Владимир Соловьев,
И загребает тихомолком
Он гонорар набором слов...

* Это, конечно, великолепно, но я признаюсь, что я понимаю лучше, когда стихи читает Р. М.

Вотще! Нельзя прожить стихами -
Хоть как свинья будь плодовит,
Торгуй, несчастный, сапогами
И не мечтай, что ты пиит!
Нам все равно: зима иль лето,
Но ты стыдись седых волос,
Не жди от старости расцвета
И петь не смей, коль безголос.

Очень интересно отношение Соловьева к евреям и еврейству. Древний Израиль для него священен. Это я еще могу понять. Его возню с евреями тоже можно понять. Они его облепили со всех сторон, он с ними возится, потому что он готов возиться со всяким, кто к нему пристанет. Но он возится с евреями не только потому, что они к нему пристаю́т, - он их любит, - не жалеет, а именно любит. "Votre vice, c'est juifs, notre grande race"* - сказала я ему как-то, и он хохотал, хохотал и все повторял: "Конечно, *они* la grande race... Соловьев великолепно говорит, но совсем в другом роде, чем Урусов и Кони. У Кони никогда нет неожиданного - tout est prevu**, логично, все расставлено по своим местам, эффект нарастает и к мрачному финалу иногда прибавляется умилительный эпилог. Урусов остроумен, циничен, добродушен, артистически, как большой мастер, умеет "servir son plat"***, - а Соловьев - совсем другое. У него весь состав другой. Он все время в творчестве и никогда, по крайней мере мне так кажется, не думает о себе, о том, какое *он* производит или произведет впечатление. Страшно любит рискованные рассказы, каламбуры, живописные "гротески"; первый хохочет, заливаясь, когда он рассказывает что-нибудь смешное

* Ваш порок - это евреи, наша великая раса.

** Все предвидено.

*** "Умеет подать свое блюдо".

вообще и про себя самого, совсем себя не щадит, даже до карикатурности. Он мудр и наивен, страшно искренен, дружит Бог знает с кем, с самыми противными типами (вроде поэта В.) и любит этих своих приятелей. Я ему сказала как-то, что он вроде солнца, равно льет свет на добрых и злых... Настроение у него очень изменчивое - из самого веселого в самое мрачное. Большая его прелесть, что он *никого* не боится... /.../

20 июля. Марьинка.

Мы уже несколько дней в Марьинке у Урусова. Нам отвели две огромные комнаты наверху. Александр Иванович нас встретил, можно сказать, восторженно, с объятиями, возгласениями, лобзаниями. Марья Федоровна - тоже. Марьинка мне очень понравилась. Не так "грандиозно", как Демьяново, но гораздо уютней и куда "хозяйственней". Ну, да ведь и князь - "флюбертист" только в часы досуга, а вообще хороший хозяин, не то что Вл. Ив., который всю семью и самого себя принес на алтарь своей библиотеки.

В Марьинке прекрасный дом, каменный, двухэтажный, старый, но еще крепкий; небольшой запущенный сад и старый липовый парк, тоже небольшой. Усадьба эта принадлежала Фонвизину, автору "Недоросля". Урусов купил ее за бесценок, по какому-то "экстравагантному" случаю. Теперь он так увлечен Марьинкой, что тратит на нее массу денег, реставрирует дом, мебель, перестроил службы, "населяет" скотный двор, выписал какого-то чудовищного "йоркшира" (смотреть страшно на этого "творца породы") и, объясняя мне всю важность этого приобретения, жаловался, что "англичанин совершенно холоден к представленным ему русским дамам". "Tour du propriétaire"* - над которым Урусов всегда так острил, - теперь, когда он

* Прогулка по имению.

сам "попался", - он нас заставил проделать беспощадно. При этом, конечно, сам себя высмеивал.

Мне нравится новый "спорт" Ал. Ив. Я ведь до сих пор не могу забыть Борисково и ни о чем так страстно не мечтаю, как о *своем* деревенском убежище... Как мила мебель в доме и так напоминает мебель нашего детства! Кресла огромные и маленькие столы красного дерева, зеркала, трельяжи, пузатые комоды с бронзовыми ручками, ширмы с решетками, книжные шкафы со стеклянными рамами в бронзовых переплетах... Ал. Ив. на чердаке, в кладовых и флигелях разыскал и собрал целую библиотеку - агрономические сочинения в *свинных* переплетах, энциклопедисты, французские, английские и итальянские романы XVIII века... Теперь все это вычищено, переписано и красуется в реставрированных шкафах. В гостиной все стены покрыты семейными портретами. Мужчины в напудренных париках с косичкой, в мундирах, жабо, орденах; дамы декольтированные, в буклях и платьях екатерининской эпохи. Денис Иванович Фонвизин в рединготе с большими пуговицами, в кружевном жабо; рядом с ним в круглой золоченой раме его жена - в розовом платье - миниатюрное нежное личико, обрамленное длинными, пышными, золотистыми локонами, милые, невинные, покатые плечи... "Elle ressemble un peu à m-me Auer, c'est la meme figure moutonnière. Vous ne trouvez pas?"* - сказал Ал. Ив. И он так лукаво заглянул мне в глаза. Я сухо ответила: Non. Он засмеялся, взял мою руку и несколько раз поцеловал в ладонь. "Voyons, ne soyez pas si ridicule, avouez, que votre amie a une figure moutonnière"**.

Меня ужасно возмущает это совсем уж не "джентль-

* Она немножко похожа на м-ме Ауэр - тоже овечье лицо. Вы не находите?

** Полно, почему вы так суровы? Признайтесь, что у вашей подружки овечье лицо.

менское" отношение. И ведь persiffage* Ал. Ив. не искренен. Его злит, что я ему ничего не рассказываю, и он по несколько раз в день, как будто случайно, - роняет иронические вопросы, вроде: ну, кто же теперь там главный герой салона? Toujours la meme soif des célébrités?** Владимир Соловьев? Он вам нравится? Я, простой смертный, совсем его не чувствую. Недавно Ермолова - голосом Орлеанской девы - смотря на его портрет, воскликнула: вот в кого можно влюбиться... *идейно*, конечно... И выпучив глаза, выпятив губы, Ал. Ив. так заразительно захохотал, что я невольно засмеялась.

- Ну, слава Богу! - сказал Ал. Ив. - А то вы какая-то совсем чужая стали... Ну, скажите, по крайней мере, какая из дочерей м-ме Ауэр вам больше нравится?

Я поглядела на него и сказала:

- Младшая.

Едим, пьем чай с вареньем, катаемся... Ал. Ив. снимает нас во всех видах и бегаёт во флигель проявлять. По вечерам он читает вслух Флобера и Бодлера, несколько не стесняясь тем, что "Marie" ни звука не понимает. Она штопает, вяжет, я вышиваю. Марья Фед. очень добродушна и очень просто - без всякой "тенденции" обидеть Ал. Ив. - не обращает ни малейшего внимания на его чтение и потихоньку отдаёт фрейлен Юлии какое-нибудь распоряжение по хозяйству или шепотом спрашивает меня, не хочу ли я изменить что-нибудь в меню завтрашнего обеда... Удивительная чета! Этот знаменитый русский адвокат, европейский *lettré* и *grand seigneur* и... полуграмотная, добрая, совсем элементарная, прибалтийская немка... Он называет её "Mariele, mein Schatz", она его "Александр Иванитш"... И ничего! Живут не хуже, а может быть,

* Зубоскальство.

** Все такая же жажда знаменитостей?

лучше многих других "супружеских пар". Саши никогда нет дома, вечно на охоте. Марьянка ему не нравится, потому что тут нет "настоящей охоты". Ал. Ив. обожает сына. Он рассказывал, что какой-то приятель Саши застрелился, но умер не сразу, а промучался несколько часов. "И представьте, - говорил Ал. Ив., - "неудача" произошла из-за скверного револьвера". "Если бы он взял мой револьвер, - он бы ушел в момент", - повторял Саша. "Вот что значит настоящий спортсмен", - не без гордости заключил Ал. Ив.

Мне тут скучно. Конец лета проведу на мельнице, в Демьянове.

Август.

Уж несколько дней, как я на мельнице. Погода стоит осенняя. Танеев и Танеевы - Ел. Серг., сыновья, дочери - все милее и лучше. Вл. Ив. постарел, но все тот же. Он затеял литературные вечера. На первом он читал (очень хорошо) рассказ Слепцова. Я - стихи Фета и Майкова, а Юрочка Веселовский²⁰ - свои переводы армянских поэтов (довольно скучно). Вчера был второй вечер. Вл. Ив. читал "Укрощение строптивой" (очень плохо). Мишенька Эртель - рассказ Лейкина (из рук вон плохо). А Юрочка - свои переводы из Гейне (очень недурно; даже Вл. Ив., который не жалуется, по его выражению, "литературно-мещанскую фирму" Веселовских, похвалил Юрочку, и Александра Адольфовна сразу просветлела).

Из "именитых" дачников в Демьянове это лето, кроме Веселовских, еще петербургский профессор Сергеевич с семьей, их родственники - Щ. - красавица-сестра и очень красивые братья-студенты, захудалая княгиня Голицына с двумя хорошенькими дочками. Из "не именитых" - добродушный полковник Скрябин, и у него племянник, кадет лет семнадцати, *изумительный пианист и композитор*²¹. Потом еще инспектор какой-то гимназии с семьей, какая-

то богатая купчиха, над которой Вл. Ив. потешается, и я - на мельнице. Так хорошо, что я далеко от усадьбы и "дачников". Сашенька говорит: "Дачник - это лютый зверь!"

Погода совсем осенняя. Дождь льет с утра, не переставая. На мельнице блаженная тишина...

КОММЕНТАРИИ

1. Владимир Иванович Танеев (1840-1921) - общественный деятель, адвокат, автор исторических исследований о Французской революции, социологических исследований о нравственности, любви, браке; занимался проблемами проституции. Брат композитора С. И. Танеева.

2. Александр Иванович Урусов, князь (1843-1900) - общественный деятель, адвокат, выступал как литератор и театральный критик, был знаком с И. С. Тургеневым, Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, А. П. Чеховым. К. Д. Бальмонт писал ему: "...Среди людей, с которыми я сталкивался в жизни, очень и очень немногие давали мне столько, сколько давали вы... Эту черту вашу - богатство личности и оригинальность художественных вкусов - я особенно ценю..." А. И. Урусов хорошо знал западно-европейскую и особенно французскую литературу, принимал участие в издании сборника "Le tombeau de Baudelaire" (Париж, 1896 г.), собрал большую коллекцию автографов французских писателей, в т. ч. де Мопассана, И. Тэна и др.

3. Нелли М. - Надежда Митрофановна Мазурина, пианистка, окончившая Московскую консерваторию. Известно, что на экзамене ее слушал П. И. Чайковский.

4. Ключевский Василий Осипович (1841-1911) - историк, профессор Московского университета, академик.

5. Боборыкин Петр Дмитриевич (1836-1921) - писатель, драматург.

6. Веселовский Алексей Николаевич (1843-1918) - историк литературы, профессор Московского университета, академик, редактор (совместно с Н. И. Стороженко) журнала "Артист", председатель Общества любителей российской словесности. Образование получил в Московском синодальном училище как певец, короткое время пел на оперной сцене.

7. Минцлов Рудольф Рудольфович (1815-1904) - юрист и публицист.

8. Янжулы: Иван Иванович (1845-1914) - экономист; Екатерина Николаевна (1873-1938?) - педагог.

9. Кони Анатолий Федорович (1844-1927) - юрист и общественный деятель, член Государственного Совета ("сенатор"), почетный академик, выдающийся оратор, автор книги воспоминаний в пяти томах "На жизненном пути".

10. Н. В. Муравьев (1850-1908) - генеральный прокурор, а с 1894 года - министр юстиции.

11. Тихонравов Николай Саввич (1832-1893) - историк литературы.

12. Ауэр Надежда Евгеньевна (урожд. Пеликан; 1855-1932) - жена скрипача и дирижера, профессора Петербургской консерватории Леопольда (Льва) Семеновича Ауэра (1845-1930).

13. А. Г. Булыгин был министром внутренних дел. Инициатор создания в 1905 г. первого высшего законосовещательного органа России, так называемой "Булыгинской думы". Проект не был осуществлен.

14. Четыре дочери Ауэров: Зоя ("Заза"), Надежда, Наталья и Мария ("Муха").

15. Речь идет о поэте и философе Владимире Сергеевиче Соловьеве (1853-1900).

16. Приблизительно в эти годы Р. М. Хин вышла замуж за О. Б. Гольдовского, вместе с которым она приняла католичество, совершив для этого поездку в Литву.

17. Басня Д. И. Фонвизина "Лисица-Кознодей".

18. Рассказ М. Е. Салтыкова-Шедрина ("о губернаторе с фаршированной головой") - ?????

19. Н. Е. Ауэр страдала прогрессирующей глухотой. Уже с 36-ти лет она почти перестала слышать. От этого в доме всегда было шумно, что раздражало нервного Льва Семеновича. Они развелись. В 1916 году (а не в 1918-м, как принято считать в литературе) вслед за своими учениками Я. Хейфецом и К. Цимбалистом Л. С. Ауэр уехал из России, где прослужил почти полвека. Надежда Евгеньевна вместе с дочерьми осталась в Москве. Младшие - Наталья и Мария - пели и преподавали. Зоя к музыке отношения не имела. Надежда Львовна Ауэр-Сибор была пианисткой, ученицей Софьи Александровны Малоземовой. Этой семье очень помог А. В. Луначарский, назначив пенсию Надежде Евгеньевне за Л. Ауэра. Внучка Л. Ауэра (дочь Надежды Львовны) Наталья Борисовна Сибор - арфистка, педагог Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Она рассказала автору настоящей публикации, что Надежда Евгеньевна дружила с Р. М. Хин-Гольдовской до ее последних дней, что они

всей семьей бывали в гостях у Р. М. на Сивцеве-Вражке - их приглашали туда на елку: "Она была очень приятная женщина. Это всегда был праздник".

20. Юрий Алексеевич Веселовский (1872-1919) стал профессиональным переводчиком и критиком, сотрудничал в ж. "Вестник Европы", газ. "Русские ведомости".

21. Речь идет об Александре Николаевиче Скрябине (1871/72-1915).



Колдун из Загорска

В "Князе Серебряном" есть великолепный старик-мельник, колдун, к которому судьба заносит молодую боярыню Морозову, и он прячет ее от разбойных опричников, поит мёдом и называет "ягодкой".

Трясаясь в автобусе по проселочной дороге, я думала про себя: "Тоже ведь какие были дикие времена: и жгли, и резали, и на колья сажали, а до чего красиво, как цветное окно, осветилось у "старинного" Алексея Толстого - эта ночь, мельница, белобородый колдун, боярыня... Сто лет назад читала, а до сих пор помню. И не просто помню, еще и совпадения умудряюсь находить того дремучего, книжного, волшебного, с теперешним, с грустной действительностью, в которой откуда бы взяться такой красоте? Но что-то все же берется и зажигается, с цветными стеклами, "окно в темном срубе русской жизни, в совином ее уха-нье, волчьем вое..."

Пронзительный закатный свет лежал на морщинистой земле, на желто-малиновых, погружаемых в ночь стволах, на ненасытном соловьином пении, на лугах, на колодезном надсадном скрипе. И словно бы тот же свет пронизывал память, которая, подчиняясь переживаемому, благодарно извлекала из темных складок своих куски раннего детства (соловей! лес!), и не только детства, но и всей, обращенной в одно воспоминание жизни, которая была когда-то здесь, в России, где калитки и колодцы, старухи в темных платочках, белоголовые, босые дети на ржавых велосипедах. От себя самой, растянутой временем до хруста в костях, куда денешься?

В тот вечер мы ехали к знахарю, колдуну, целителю, жившему верст за сто от Москвы, искали национальную экзотику.

У калитки стояли двое: огромного роста старик, в какой-то черной папахе на голове, в раскрытой на мощной груди бурой рубашке и другой - маленький, шупленький, пьяненький, с лицом без всяких определенных примет, одно хмельное покачивание да сиплый мат вполголоса.

- Жорик, - ласково гудел ему старик. - Иди домой. Ну, чего тебе тут?

- Я те подожду, - икнул маленький и выругался. - Подожду те, дьявола старого, и пойду.

- Жорик, - старик легонечко выталкивал его. - Не видишь? Гости ко мне приехали, с Москвы. Иди домой от греха!

Мы вошли в палисадник, и старик распахнул дверь в избу: "Заходите!" Мы зашли. И задохнулись. В избе нечем было дышать. Кислый жар защекотал горло. Плотно были закрыты маленькие, заставленные пунцовой геранью окна. Мухи сладостно кружились под потолком и облепляли стены. На лавке, рядом с ведром, прикрытым зеленой дощечкой, тихо сидела длинноносая, с восковыми щеками старушка в темном ситцевом платье и кротко смотрела на нас выпуклыми, неподвижными глазами. Скрюченные на животе руки напоминали куриные лапки.

- Супруга моя законная Марья Степанна! - широкой ладонью старик махнул в ее сторону. Она испуганно закивала восковой головкой. - А вы сюда, ко мне проходите, здесь и знакомиться будем!

Мы осторожно нагнули головы, чтобы не стукнуться о притолоку, и прошли во вторую, крошечную комнату. Вошли и замерли. Освещенная множеством свечей комнатка была поразительно хороша тем наивным вкусом, с которым нищета борется с собою и украшает свои жилища. Бумажные цветы лимонной и огненной окраски свисали с обоев, за стеклом в маленьком шкафчике плыли стеклянные лебеди, балерины в золоченых пачках - те самые, из

привокзальных сельпо моего детства, оттопыривали розовые глазированные ноги, оранжевыми горохами разбегались праздничные именинные чашки, синели хрупкие рюмочки на отломанных ножках, на пожелтевшей вате горели елочные звезды, но больше всего было - икон и распятий. Мы расселись: кто за столом, кто прямо на пол, и тут я увидела еще один кусок стены, при входе не замеченный мною. Это были фотографии. Они упорядоченно покрывали собою все пространство между занавеской и шкафом, и их черно-белая, местами пожелтевшая глянцевая поверхность ловила свечное пламя и пульсировала. На фотографиях была целая жизнь, родовое существование в рамках и без рамок, под стеклом и без, схваченное когда-то ловким заезжим фотографом и навсегда застывшее между занавеской и шкафом. Кудрявые женихи и испуганные невесты, белоснежный младенец в гробу, и мать этого младенца, закрывшая лицо черной кружевной косынкой, покойные родители с одинаковыми глазами на крылечке давно не существующего дома, брат у окопа, опирающийся на приклад, племянница в нарядном платье, губки - бантиком, брови - елочкой, перебравшаяся в город в начале тридцатых, еще чей-то гроб, закрытый, еще чья-то испуганная свадьба... С темнолицых мадонн, с их длинных смуглых пальцев - на голубом, золотом, белом - прижимающих к себе волооких детей с окруженными игольчатым сиянием круглыми головами, я переводила глаза на эти фотографии, потом - через дымный свет свечей - на старика с багровым лицом, в расстегнутой на груди бурой рубашке, и казалось, что зрачки мои, независимо от воли, впитывают всё это, чтобы в будущем не забыть и не утратить.

А между тем в комнате уже начался разговор, и знахарь Георгий Иванович, свирепо шевеля сросшимися бровями, отвечал на вопросы тем характерным, мимическим мощным и словесно бедным русским языком, который совсем не просто понять даже хорошо знающим его иностранцам.

- Ну, как чего я делаю? Пользую я. Людей всяких

пользую. Придет старуха какая, вся гнилая да немощная, одно название, что человек, вся черная, хворь-то ее косит, ну, а я ей пошепчу, да к святой иконе - лицом, да травками... Так над ей целый день проскворчу, бывает.... Ну, и уйдет облегченная, бабка-то... А то, бывает, дитенка принесут в падучей, так я и его...

- Ну, и очень прекрасно, - с чувством сказал мой американский коллега, невольно подражая старицовой интонации. - Очень прекрасно. А если вы нам можете что-то показать...

Но старик его не слушал. Своими маленькими, почти белыми глазами - настолько вылиняла их природная голубизна - он гневно оглядывал гостей, и брови его свирепо дергались.

- Ну, а ты чего сидишь, - вдруг гаркнул он на кудрявую лохматую Джин, которая сидела на полу, скрестив ноги. - Детей ждешь?

Ничего не понимавшая Джин вопросительно взглянула на меня. Я смутилась.

- Да чего! - яростно крикнул он и дернул кадыком. - Я чего, не вижу, что ль, чего с ней делается! Ей детков надо, а их нетути! Во какие дела. Ты ее спроси, она брюхатела когда или нет?

Самое удивительное было то, что огненно покрасневшая Джин вся поддалась вперед и не улыбаясь и не смущаясь, смотрела ему в рот, словно изо всех сил желая понять, что ей говорят. Я неловко спросила, была ли она когда-нибудь беременна. Она отрицательно затрясла кудрями и неестественно засмеялась.

- Ну! - он изо всей силы треснул ладонью по столу. - А я об чем? Нечего ей, дура, к доктором бегать. Доктора в этом ничего не смыслят, только напортить могут. А ей молитва надобна да травки весенние, вот, что я скажу. А дело это непростое, не грибы собирать. У ей там внутри, - и он выразительно выгнул огромные красные руки. - У ей там один ма-а-хонький недодел есть, его убрать - раз плюнуть, если умеючи. Но перво-наперво молитва, без молитвы никуда. Вот какое дело...

Я перевела в двух словах. Лицо Джин совершенно преобразилось, как будто внутри зажгли лампочку. Она вся дрожала, и короткий нос ее покрылся мелкими капельками пота.

- Спроси его, - звонко сказала она. - Спроси, можно мне приехать к нему осенью? Он поможет мне?

Меньше всего я ожидала, что калифорнийская американка так разлетится навстречу этим красным корявым пальцам, этим вылинявшим до белизны сердитым слезящимся глазам! Что-то странное происходило в душной освещенной свечами комнате...

- Ну, и пусть едет, не дождавшись конца моей фразы, - сказал старик. - Решил, что помогу, значит, помогу. Но чтоб она без вас, хлопоглазых, приезжала, потому что тут тишина нужна, дело серьезное...

Он умолк. Вылинявшие до белизны глаза погасли.

- Покажите нам что-нибудь, - мягко попросил Ричард.

- Чего показать? - брови его опять подпрыгнули. - Может, чесотка у кого есть? Так это снять можно, это ничего.

Девочка с бархатными, карими глазами, милая, смуглая, улыбчивая, оказавшаяся в нашей группе почти случайно, потому что ни к документальному кино, ни к России не имела никакого отношения, протянула ему маленькие руки с просвечивающими венками:

- У меня экзема. Вот и вот еще. Если он может...

- Иди сюда, - голос его вдруг смягчился. - Ишь ты какая! Мериканка! Где у тебя зудит-то?

Вдруг я заметила, что он не просто смотрит. Он разглядывал ее так, словно выискивал что-то под смуглой кожей, проскваживал со всех сторон это нежное лицо, руки с тонкими венками... Его вылинявшие до белизны глаза стали еще светлее, а лоб покраснел, и видно было, что все мы, остальные, своим присутствием в комнате ему мешаем.

- Бабка, подь сюда! - негромко сказал он в сторону двери. - Целить будем!

Восковая старуха появилась на пороге с длинным

страшным ножом в куриных пальчиках, скорбно взглянула на нас и потупилась.

- Господи! - покатилося мое сердце. - А нож-то зачем?

Видно, кареглазой Келли тоже пришло в голову что-то тревожное, потому что она испуганно блеснула на меня зрачками и прошептала:

- Меня, что, резать будут?

Я не успела перевести, как свирепый колдун хохотнул и сразу закашлялся.

- Резать тебя будем. Сиди тихо. Крест-то носишь?

Келли покраснела:

- Нет, к сожалению. Простите...

Он достал из коробки маленький медный крестик на простой веревке, из тех, грошовых, которыми торгуют иногда в деревенских церквях, и корявыми пальцами надел на ее смуглую вытянувшуюся шейку.

- Ну, давай, бабка, заступай.

Восковая старуха sprыснула Келли водой из бутылки и бескровные губы ее быстро-быстро задвигались в молитве. Ножом она, не дотрагиваясь, чертила над руками и плечами Келли какие-то странные узоры, среди которых отчетливо мелькал крест. Я сидела, ни жива, ни мертва. Пьяный Жорик опять просунул в дверь всклокоченную петушиную головку: "Ну, вы чё тут? Я вас щас!" Свечи плавилась, пламя их неровно дрожало. Богородица на стене, печальная, чудесная, прижимала к груди круглоголового младенца длинными темными пальцами. Господи, куда меня занесло? Где я, что со мною?

- Маслом этим будешь руки смазывать на ночь. Две недели мажь и чтоб без пропуска, а то не поможет. И каждое утро на руки водой брызгай из этой бутылки. А креста не снимай. Что ты за человек без креста-то?

Он протянул ей две заткнутые бумажными пробками бутылки. Келли покорно опустила ресницы. Мы с облегчением переглянулись.

- А спроси его, - вдруг медленно произнес долговязый, похожий на гусеницу, режиссер Чарли в кепочке на про-

свечивающей розовой кожей голове. - Спроси, можно мне прочесть его ладонь?

Лучше, наверное, было не удивляться ничему, и этому тоже. Я перевела, и старик, отчасти с любопытством, отчасти снисходительно, раскрыл перед Чарли свою огромную, в глубоких складках, красную руку. Тот задумался.

- Спроси его, - произнес он через минуту, - не случилось ли с ним чего-то очень важного, когда ему было примерно лет сорок-пятьдесят? Чего-то такого, что изменило всю его жизнь?

- Да ить, - ошарашенно сказал старик и обвел нас умоляющими белыми глазами. - Как же не случилось? А старец-то ко мне пришел. Во сне. Мне только-только сорок пять стукнуло. Он и пришел. И говорит мне: "Иди, пользуй! Чего лежишь? Тебе сила дадена!"

- Какой старец? - ахнула я.

- Ну-у какой? - Лицо его дрожало и, казалось, он сейчас заплачет. - Прекрасный пришел старец. Ночью. И говорит: "Чего лежишь-то?" А я не понимаю ничего, дурак дураком. А он мне молитву сказал. Я, как проснулся, сейчас ее записал. Да она у меня вот, вот она.

Дрожащими руками, торопясь, он полез в какой-то ящик и достал оттуда старенькую выгоревшую тетрадку с мятыми краями. Огромными карандашными буквами в ней была записана короткая молитва, обращенная к Богородице, но слов ее я не запомнила. Помню только эти корявые буквы на выцветшей бумаге.

- Я с ней уж, почитай, сорок лет живу. Никуда без нее. И пошел людей лечить. Сначала думал, да они ж меня пошлют куда подальше, на смех подымут, а оно вон как обернулось. Сила мне эта дадена. Она людям на пользу, а мне в тяготу, а мне уж теперь, почитай, и немоготу. День вот так промаешься над какой бабкой, а потом и лежишь в лежку. Ни ногой, ни рукой. И понос тебе, и трясучка...

Он замолчал, не сводя с нас умоляющих глаз. Чарли опять расправил его огромную красную руку.

- У него, - сказал он, видимо, наслаждаясь тем, как все его слушают. - У него должно быть двое сыновей...

Я перевела и сама испугалась. Знхарь вдруг закрылся ладонями и затрясся.

- Один, один остался! А Ваню схоронили! - Он снял со стены фотографию кудрявого серьезного парня в рубашке с галстуком. - Ваню-то мы схоронили! Какой был! - Слезы бежали по его трясущемуся красному лицу. - Какой был! Гармонист! Кудрявый! Золото, а не парень! Девки вешались. Женился. А я ему говорю: "Вань, не торопись. У тебя с ней не заладится, она с лица гладкая, а нутром порченная". Не послушался. Ладно. Мы со старухой ему последнее отдали. Он только из армии пришел. И вдруг, жили-жили, а он зóпил! Так зóпил, гореть начал! Черный весь стал, из золотого-то! Я у него в ногах валялся: "Сынок! - кричу. - Родимый! Угомонись!" Начну шептать, а не берет! Потому моя кровь-то, родная, не берет! Другого такого бы в два дня вылечил, и думать-то забыли бы, а родное не берет! Кровь-то моя! Ну, и...

Он закашлялся. Я не успевала переводить, да и переводить было неловко. Он обращался и ко мне, и к ничего не понимающему Чарли, и к кудрявой Джин на полу, он стоял и мучился, тыкая пальцем в это сфотографированное, кудрявое и серьезное лицо на столе, которое было сыном, Ваней, золотым, умершим...

- Я у него в ногах валяюсь, а он мне говорит: "Спасенья от голосов нету! Пока не напьюсь, они мне душу, как когтями, рвут!" Вот какое дело. Голоса его мучили. Уж он пил, пил! И сгорел. Так вот и схоронили. Мы со старухой ее, жену-то, и видеть не хотим. Потому, я думаю, что все с нее началось. А может, и нет. Кто знает? Кроме Господа Бога никто не знает. Схоронили, вот беда-то...

Чарлз потрепал старика по плечу.

- А спроси, что с его вторым сыном...

Я спросила. Старик отчаянно махнул рукой.

- Болеет так, что не приведи Бог. В больнице лежит, в сумасшедшем отделении. Тоже горит, как Ваня. Пить не пьет, а горит. Я на своих ногах еле до колодца дохожу. Погляди, какие у меня ноги-то, - он выставил из-под

стола распухшую, неправдоподобно большую ногу в распоротом валенке. - У меня ноги-то совсем отказываются, ни один валенок не налазеит, пороть приходится. А я на этих ногах каждую неделю до автобуса ковыляю, к нему ездию, в Загорск, в больницу эту. Плачу там. А лечить не могу, потому кровь-то моя! Не берет! Он тоже, как Ваня, голосами мается, глаз не смыкает. Вот как меня Бог наказал, детками-то...

Мы подавленно молчали.

- Это шизофрения, - уверенно сказал Чарли, сняв кепочку и задумчиво приглаживая свою просвечивающую розовой кожей голову. - Они, наверное, унаследовали это от отца. Но у него талант, сила, а у них, у детей, это обернулось болезнью. Дай мне опять свою руку, - обратился он к старику.

Знахарь протянул ему руку.

- Скажи ему, что его второй сын не умрет. Он очень болен, но он не умрет. И более того: его можно вылечить. Надо достать портативный магнитофон с наушниками, пусть он слушает классическую музыку, - Чарлз держал стариковскую руку в своих ладонях, но даже не смотрел на нее. - Он будет слушать музыку, и этот очаг в его мозгу постепенно погаснет. Он не умрет.

Старик, открыв рот, смотрел на заморского прорицателя. Восковая старуха неподвижно стояла в дверях. Бескровное личико ее не меняло своего кроткого испуганного выражения. Когда Чарли еще раз произнес настойчиво: "Он не умрет" и я перевела, старик снял с себя черную папаху и медленно, торжественно перекрестился.

- Слава те, Господи, услышал Ты слезы мои...

Слезы продолжали течь из его вылинявших глаз.

- Бабка, - обратился он к жене. - Давай пинжак с орденами, фотографироваться будем. Эти машины-то ваши, - он кивнул на кинокамеру. - Могут они с нас карточку снять? Чтоб на память?

Мы сказали, что могут. Он оживился, вскочил со стула.

- Давай пинжак, бабка!

Старуха вернулась из соседней комнаты с большим черным пиджаком, густо усеянным орденами. Не застегивая рубахи, старик надел пиджак, обхватил за плечо свою восковую подругу и застыл перед наведенной на него кинокамерой. Камера застрочила.

- Ну, вот и ладно! Ну и спасибо!

Он был счастлив как ребенок, глаза его из белых снова стали голубыми, заискрились.

- Угостить-то вас нечем. Хотя, может, вареница скушаете?

Мы отказались, и Ричард поставил на стол большую бутылку виски, которую мы привезли знахарю в подарок.

- Вот спасибо, удружил писатель, - сказал ему старик. - Я сам-то ничего не пью, а в больницу свезу, доктору поставлю. Скажу: "Лечи, старый хрен, он у меня один остался!" Вот какие дела...

При этих словах неподвижная старуха вдруг заплакала и стала быстро-быстро вытирать глаза кончиком выцветшего передника.

- Она тихая у меня, - неторопливо произнес знахарь. - Совсем тихая женщина, тише не бывает. А сердце милое. Я с фронта пришел, она мужа схоронила, жила себе, не видно, не слышно, на нее никто и не смотрел. А я заприметил. Нам с лица воду не пить, как люди говорят. А нутро у нее очень чистое. Чистое да легкое. И женился. Прописался тут. Так пятьдесят годиков скоротали.

Они сидели рядом, смотрели на нас. Они были похожи на детей, только старых и уже готовых к тому, чтобы проститься со всем этим: избушкой из двух крошечных комнат, и синим лесом за окном, и колодезным скрипом, и пьяным дыханием злого Жорика, проститься и уйти туда, где, выздоровевший, золотой, кудрявый Ваня сыграет им на баяне, где толпятся все эти белоснежные младенцы и их матери в кружевных траурных косынках, и братья, polegшие у своих окопов, и родители с остановившимися испуганными глазами, где светло, и тепло, и сытно, и не болят распухшие ноги, и сияет Богородица, успокоенная

за судьбу своего круглоголового, окруженного игольчатым сиянием сына...

Мы уже уходили, когда Ричард вдруг спросил у него:

- Ну, и что вы думаете - будет? Здесь, у вас, в России?

На секунду знахарь оторопел. Потом задумался. Важное старательное выражение, какое бывает у детей, когда взрослые задают им серьезные вопросы, появилось на его лице.

- Чего будет-то здесь? В России-то в нашей дурьей? Туда ее за ноги!

Он еще помолчал. Восковая старуха вдруг усмехнулась, ласково, понимающе. Они переглянулись как дети, как заговорщики.

- А потоп будет, вот чего. Слыхали про такое? Вода польется так, что не остановить. И будет она литься и литься. Так и будет себе литься и литься. Покудова всё не смоем. Потому как уж больно здесь грязно. Такая грязюка - ступить некуда!

Он замолчал, понурил голову. Все смотрели на него, на эту упавшую, седую, кудрявую голову в черной папахе. Он вдруг засмеялся тихо, будто про себя, поднял голубые глаза.

- Да вы не боитесь, - сказал он и подмигнул Ричарду. - Не боитесь. А после воды-то этой конфетки будут. Вон мне вчера говорят: "Иди, лапшу дают!" Пошел, взял. Ее, этой лапши-то, было - аж залейся! Ни талонов, ничего. Бери не хочю! А после потопа так с конфетками будет. Вот какое дело...



Дом

Нет у меня никакой ностальгии. Категорически! И когда американцы, проявляя осторожное любопытство цивилизованного человека, спрашивают: "Не скучаете ли вы, Юджиния (это я), по оставленным местам?" (слово "родина" они деликатно обходят) - угрюмо отвечаю "нет". Тем более, что этот ответ не требует особых лингвистических антраша и тридцати двух фуэте, без которых не обойтись, описывая странные и ненужные предметы, живущие как ночные совы в наметенных углах и паутинных чердаках памяти, психики и прочего подсознания, где проходит ветерковой рябью при таких интересных вопросах. Нишкни, подсознание, вражина! Геть! Тут хоть с сознанием бы как-нибудь разобраться. С сознанием бы разобраться, да с материей, которая прискорбно и грубо первична. Особенно там, где ее полно.

А помнить "оставленные места" - как же, как же, помню. Даже как бы четко вижу облупленный голубой газетный киоск на троллейбусной остановке "Площадь Свободы". В отечестве водилась выдающаяся по противности оттенка голубая масляная краска - помните? Ею крыли стены приемных в поликлиниках, а между окнами в простенке непременно полагался кремовый бюст Ильича и фикус с вывихнутыми суставами. Сбоку - наклеены лучшие люди и неугасимо светится витраж "желудочно-кишечные инфекции". Ох, какая тоска и жесткие стулья, какое ощущение пойманности! Этой же голубой красочкой красили фанерные "шайбы", "чайные домики" социализма,

где мужчина мог стряхнуть с себя груз проблем, ощутить себя личностью и отдаться старинному ритуалу. Не торопясь оценить скупую красоту традиционной граненой посуды, строгую функциональность интерьера. Там чувствительный, как самурай, к вопросам чести алкоголик вскрикивал: "Ты меня уважаешь?" - и всегда, ты понимаешь, всегда уважали. "Ромашка", "Росинка", "Фиалка" - трогательно нежный человек в исполнении придумывал голубым шайбам имена. Голубыми были и киоски "Союзпечати" - около них всегда дул ветер, устраивая на земле поп-шоу больших листов выкинутой "Правды", перекошенных картонных стаканчиков от мороженого и мелких цветных кордебалетных бумажек различного происхождения. Авангардное искусство ветра. На площади Свободы в скверике сидят полукругом бабки с детьми и сумками - перед ними гранитный в стиле конструктивизма памятник напрасным жертвам революции 1905 года. Дети, обдирая коленки, бессмысленно лезут на гладкие гранитные кубы и параллелограммы. Куда карабкаетесь, дети, перед вами же стена?! Время от времени подходит милиционер и жестом сгоняет мелких нарушителей. Если сесть с лицевой стороны монумента жертвам на троллейбус или же с изнанки дожидаться трамвая, то придешь к тому месту, где стоял странный дом нелепой и горькой судьбы - кривое зеркало, мутный бинокль времен российских. Там, в двух барских комнатах коммунальной квартиры, долго шло и быстро миновало мое глупое отрочество и юность. Там умер мой отец, не перенеся очередного отказа - в одночасье инфаркт и инсульт. Он был высоким седым замкнутым человеком с суровой внешностью - они-то и есть самые что ни на есть хрустальные вазы. Вскоре после его смерти и дому пришел конец - разорили, разобрали, вырыли котлован и бросили. Место это, тихое и в самом центре, приглядели для постройки спецгостиницы КГБ. Даже проект был одобрен и фонды выделили, но тут замаячили непонятные времена - перестройка. А перестройка - стройке враг.

Уже с визой в кармане пришла я ветренным апрельским днем на это место, стояла перед безобразной глубокой ямой с талой водой и глиной. Никакой особенный сантмент к сердцу не прихлынул - ничего уж не осталось. Глина и сырой ветер, гнилая весна. Даже почки на березе распуститься не могут - сил нет. Да и я уж несколько лет жила по другому адресу, а теперь уезжала насовсем - на вдох-выдох воздуха не хватало в родимых местах. Вот пришла - и попрощаться-то не с чем. Сбоку подковылял старенький, весь проспиртованный как медицинский препарат дядя Миша Камаев с нашего же двора из соседнего дома. Узнал:

- Видала, что делается? Пиздец, дочка, всему. Да и я стал никудышный. Бутылку только портвейну за раз выпью - и всё. Не могу больше. Приезжали из ЛТП - и то не взяли. Витьку взяли, а меня - нет. Не нужен, стало быть. Каюк. Помирать пора. Вино теперь только с часу, а на Тоньку - она кого знает давала с открытия, человеком была - так настучали, суки. Уволилась. Перетряска у состава, ядрит его в печень. Даже в кино пива не стало. Помирать пора, видно. И дом ваш бывший, вишь, снесли. Скажи, кому мешал-то?

Кому мешал? Да никому не мешал, просто весь вышел, изошла и кончилась его деревянная судьба. Дом этот возвел недалековидный от богатства купец Рукавишников в 1915 году - барский дом, солидный - для сдачи квартир хорошим господам. Мог бы и пораскинуть купчина мозгами, проанализировать момент и повременить с инвестментом в недвижимость - да все мы задним умом молодцы. Кто мог угадать тогда, что дом этот, холеный красавец с медовыми наборными паркетами, с белоснежными, увенчанными кудрявым бордюром и медными вьюшками, кафельными печами, с высокими лепными потолками, пройдет, как солдат сквозь строй - сквозь советский строй. И бесславно рухнет вместе с ним, разворованный и обезображенный.

Кто знает, удобно ли пожили господа пару годиков в

новых апартаментах, сообразили ли вовремя эмигрировать или, подобно мне, проворонили тот самый срок и за это расплатились сполна? Надломилось то поколение неуспешней расцвести прекрасно-упадочной лилией модерна. Где те золотокудрые, начитавшиеся Набокова, губки сердечком, алый крестик на косынке, сестры милосердия? Только руки заламывали, как актриса немого кино Вера Холодная. Краток был этот пролог в жизни дома и никогда больше к теплому боку его печи не прислонится такая - с нежными светлокариями глазами в шелковом платье цвета шантеклер с душистым черным кружевом. И никогда по его паркетам не протанцует в облаке старинного и сладкого, как слово "пожалуйста", воскового аромата свой экзотический танец усатый полотер.

При рабочей власти в дом ударила первая волна советских квартиросъемщиков - революционеры, большевики, ответственные товарищи из укома и комиссий. Коммунальный быт, ублюдочное дитя любви романтического коммунизма и подлой победы большевиков, ухмыльнулся своим повивальным бабкам, хамовато подмигнул синим глазом примусного огонька. Они белозубо улыбались в ответ: даешь общую кухню и отхожее место! Нам нечего скрывать от товарищей по борьбе! Долой дряблый индивидуализм культуры прошлого! Будущее - оно рукой подать. Уже почти вот! Сияющие электричеством цеха заводов с быстро вращающимися приводными ремнями станков и конвейеров. Даешь счастье народов! Уррра! Хрустальные дворцы труда - сияющие, естественно. Ликующие трудящиеся, тоже, конечно, ярко сияющие, все как один исполняют "Вставай, проклятьем заклеянный".

Две комнаты и бывшую ванну заселили дальние родственники пламенного большевика Серго Орджоникидзе - ветры свободы, совсем ошалев, занесли их в наш толстозадый купеческий волжский город. Краны к чертям отпилили, на ванну положили доски - мировой стол получился. Родственники были тоже очень пламенные, не хуже самого Серго - паркет прогорел дотла. В другой квартире страш-

но расплодилось революционные латышские стрелки Одынь - комнаты были разгорожены занозистым тёсом и фанерками на великое множество закутков и клетушек столь затейливо и хитроумно, что некоторые, не находя выхода, оставались там надолго, отчего семья разрасталась еще ветвистее. Жившие за стеной старые, не раз спорившие по идеологическим вопросам с лично товарищем Плехановым, аскетические еврейские большевики Кобыловы - муж и жена - решительно выдрали бронзовые витые дверные ручки. Ручки сопротивлялись слабо - гнилая, вялая, чуждая пролетариату буржуазная роскошь. Чекисту Афанасию Мочалову, вселившемуся с женой Шуркой и сопливым октябрёнком Кимкой в квартиру Кобыловых, оказавшихся тайными троцкистскими прихвостнями, даже и мебели от них никакой путной не досталось, только книжек ихних корыт десять на помойку вынести пришлось, до чего ж евреи захламили жилье. Деревянные полы из разносортных дощечек - которые квадратиком, которые треугольником - Шурка промыла щёлоком, хорошенько продрала голиком. Потом покрыли масляной краской в два слоя, чтобы всё культурно было. Повесили картину "Ленин и Сталин на скамейке" и ковер "Охотник, стреляющий оленя". Порядок и уют должен быть во всем! Так нас Феликс Эдмундович учил! А всю бы эту антильгенцию, болтунов жидконогих, Афоня бы так вот, как этот усатый на ковре - оленя. Жаль, команды пока не было. Ничего, дождемся!

Горестной, горестной была судьба этого дома. Без ухода подгнили большие затейливые балконы-веранды с витыми псевдорусскими столбиками, облупилась и опала штукатурка на карнизах и капителях. Мальчишки повыбивали стекла на лестнице. И неизвестный мастер не пожалел времени и сил вырезать краткое и ёмкое русское слово на больших дубовых дверях подъезда. Дуб - не липа, работать с ним нелегко и слово смотрелось как бы вырубленным вавилонской клинописью, да и буквы для клинописи были подходящие. Усталым, ободренным, беспарусным

кораблем плыл дом по новым временам, по бумажным водам. Пятилетки и денежные реформы, карточки и очереди, государственные займы и партийные чистки. Возводились монументы. Новое начальство не въезжало. Старое, небольшое, а кто и вовсе уже на персональной пенсии, жило по инерции. Широкая мраморная лестница бывшего парадного совсем общербатилась.

А в начале пятидесятых популяция большевиков окончательно обмелела, истончилась. Рассосались по новым местам да по разным тюрьмам. Подменившее их начальство в коммуналки уже не шло, разондравилось. Нехай пролетарии всех стран соединяются, а руководителям надо полноценно, согласиться, товарищи, отдыхать. Та ж партия тоже ж против обезлички... Дом замер - видно, предчувствовал всеми своими ревматическими балками вступление в свою новую пору - криминальную, повторяя с провинциальным запозданием общую позу лица всей державы. Года через два-три во всех квартирах запьют портвейн, запоят "Гоп со смыком", заскандалят щеголеватые и заносчивые карманники, угрюмые домушники с выраженными инженерно-техническими задатками, общительные скупщики краденного.

Как раз на этом историческом перегибе моя мама - молодая, в темно-синем бостоновом пальто с каракулевым воротником и каракулевой шапочке "кубанке", тоскующая по неиспытанной ею роскоши, посетила квартиру стрелков Одынь на предмет осмотра жилплощади. Народ увлекался обменом квартир - отчаянно хотелось куда-то деться, а до эмиграции еще не дожили. Латышские стрелки Одынь были готовы поменять свои любовно и хитроумно разгороженные лабиринты на нашу совсем незамысловатую коммуналку в худшем районе, к тому же напротив психбольницы. Наверное, им казалось, что в этом обмене посвечивает для них личная выгода. Какая уж выгода! - просто подняли неумолимую дирижерскую палочку гены судьбы. Приспела пора первой "революционной" волне жильцов покинуть избытое, изжитое место - и они, подоб-

но стаду леммингов, повинуюсь неясному, но мощному зову, торопливо уступали, как говорят ученые, социологическую нишу. Влипали в невыгодные обмены, оказывались платными или на общественных началах агентами США, а иные мирно помирали. Немного поплутав в лабиринтах, мама обомлела - перед ней явилась радостно сияющая кафельная печь и четыре высоких окна, за которыми над околдованными башнями белых деревьев апельсином висело мохнатое зимнее солнце. Дело было решено. Наша семья с узлами, матрацами, детской ванночкой, наполненной тарелками и кастрюлями, и двумя предметами роскоши - немецкой, цвета бордо плюшевой скатертью с тюльпанами по краям и жуткой картиной в раме "Литровая банка с букетом георгинов", въехала и стала ломать перегородки, добывать кремовые обои с золотом, хорошую олифу, просить Ольгу Львовну вспомнить адрес маляра, который ремонтировал комнату у ее племянницы и почти ни разу пьяный не пришел.

Зачем наше социально невыразительное и непьющее семейство оказалось там? В чем был сюжет судьбы? Дом балансировал на разломе своих этапов. Уголовники еще не обозначились окончательно. Непонятной жизнью проживали никакие люди - плановик Петрухин, высокая, жилистая, с сильно покрашенными губами медсестра Калерия, про которую говорили, что она за богатеньких старичков, своих пациентов, замуж выходит. Специально таких отыскивает. Ветхого старикашекку - уколами да этим самым, ну, сами, хи-хи, понимаете, быстренько-быстренько на тот свет, а денежки его - в карман. С чего ж еще, спрашиваю вас, драповое пальто с лисой справила и стол с шестью стульями - в один-то год? Жила стеснительная маникюрша Аня с лысым мужем и волосатой собачкой. Но в воздухе что-то уже реяло и назревало. Время было невнятное, межеумочное. Старуха Антониха видела на лестнице жирного тигрового кота с тремя ушами. Антониха завизжала от страха, а гнусный кот ощерился, явственно прошипел то самое слово, на двери вырезанное, и ширанул в подвал.

У техников по строительству Ставрогиных необъяснимо пропал из варящегося супа кусок говядины. Вот был - и вот нету. Жена Ставрогина ходила по соседям, рассказывала, почему она брала на рынке говядину, какой это был жирный соколóк от молодой коровы и как ее Костя любит, чтобы в супе был хороший кусок мяса, а не ошметки, как у некоторых, которые, видать, на чужое-то счастье и позарились. Только удачи им от этого никогда не будет - и каждому смотрела испытующе в глаза. Никто не признавался. Станный и, согласитесь, неприятный случай.

В "Правде" прочли о выродках, наемниках сионизма врачах-отравителях. В "Крокодиле" появилась карикатура - горбоносые, пузатые, пучеглазые, такие противные, со скрюченными пальцами, с которых стекает кровь - всех их сгребла за шкурки сильная и честная рука русского патриота - ага, попались, которые кусались! Нет, не пройдет номер, господа сионисты! Мама вздыхала, вытирала покрасневшие глаза, перебирала белье в шифоньере, складывала в стопочки, снова перекладывала и несколько дней не выпускала нас с братом гулять. Непонятно отчего загорелась принадлежащая трем сопредельным домам помойка, а когда приехали пожарные - не оказалось воды. Помойка тлела два дня, отравляя смрадом. Жалко - там мы со Светкой и Танькой находили разные цветные стеклышки - когда с розочкой, когда с золотенькими скобочками-лодочками, когда и просто в полосочку - очень красивые. А найдешь прозрачную стекляшку - через нее весь свет то зеленый, то золотой. Нас гоняли: "Как не стыдно! Уже школьницы, пионерки, наверно, - и на помойке роетесь! А ну, быстро отсюда!" Зато в наш двор приехали две настоящих пожарки - красных, с блестящим колоколом. И когда не было воды, ихний главный пожарный в каске орал непонятные слова, а Танька несколько запомнила и мне со Светкой потом сказала. Светка сразу завоображала: "Подумаешь, я всегда их знала! Спросили бы. Неужели правда не слыхала? Сейчас объясню. И другие знаю - ну, повторяй за мной! Да нет, не "п", а "б" вначале, меря-немеря, глу-

хая тетеря. Давай еще раз. Только дома не говори. Ой нет, написать не могу, вдруг получится с ошибками!"

На второй день пожара помойки помер бессмертный Иосиф Виссарионович, опухли от публичных рыданий все кадровики и классные руководительницы. Вернулся из тюрьмы соседкин сын Аскольд Курицын, домушник, умелец, золотые руки. Семейство Одынь при обмене не озаботилось поведать маме о будущем сомнительном соседстве. "Еще старые большевики, называется", - сетовала мама, но было уже поздно - поезд ушел, обои куплены. Опасный сосед оказался застенчивым, нерослым мужиком, с темным бугристым лицом и глубоко запрятанными маленькими глазами. По трезвости был тихий, а навеселе выходил в кухню точить топор. Мама много раз потихоньку прятала топор за сундук в прихожей или на полки, где пылились мешки для дров. Он каждый раз без упреков, молчаливо, упорно отыскивал топор и продолжал вострить его до состояния бритвы. Была такая мечта - зарубить хоть одного милиционера и несколько раз он был уже совсем близок к осуществлению, но как-то всё не везло по-настоящему... К Аскольду навевывалась в гости Ляля-резаная - соседка по лестничной площадке. Ляля трудилась приемщицей в сапожной мастерской, но по основной профессии была скупщицей краденого и жила со старухой-матерью ("работница культа" писала старуха загадочно свой род занятий в домовоей книге) и шестилетней дочкой, Веркой-упырихой, такой же скучнолицей, как и Лялька.

Однажды Лялька-резаная явилась к нам красная и похорошевшая от праведного гнева: "Люба, что ж это такое? Твой сын в мою Верку камнями кидал и дразнил. Жидовкой. Верка пришла домой - ревела белугой три часа. Скажи ему!"... "Нет дыма без огня", качая головой, повторял в те времена народ, сильно скорбя о безвременно ушедших заступниках и заботниках своих - товарище А. А. Жданове и генералиссимусе Иосифе Виссарионовиче Сталине. Хоть и было в газетах для блезиру разъяснение, что, мол, вовсе не профессор Вовси и его шайка виноваты, но

ставить пломбы у доктора Розенблита все же опасались. Народ - он, как водится, велик, мудр и нисколько не мстителен - почти все нам, евреям, простил. Однако население слово "жид" произносило часто. "Я ж без обиды для вас, Любовь Марковна, - оправдывался перед мамой Игорь Сорочко, бандит, - просто нация ваша такая". Галька Шорина из дома тридцать четыре даже родила из-за этих, извините за выражение... Побоялась делать аборт у евреечки Симы Исаевны - нужен Гальке был этот ребенок, как невесте гвоздь. Возись теперь с ним - как же не жида после того? Мой младший брат, попрыгивая в ногу со временем, осваивал употребительную лексику. Но по малолетству не смог ухватить реальный расклад, вот и обидел Верку-упыриху, обозвал, можно сказать, ни за что. Пришлось очень-очень извиняться.

После двадцатого съезда общество поддемократизировалось, стали повально рассказывать анекдоты про Никитку. Про Сталина не сочиняли - что ни говори, а как-то боязно. Легкий зефир восстановления ленинских норм коснулся и ланит домоуправления - заметно полегчало с пропиской. Вот и Аскольд прописал в комнату приятную с лица Валентину из трамвайного парка. Как положено, через три месяца на свет появился Игорек Курицын. Что за дом без детей? Говорить Игорек начал раньше, чем ходить, исключительно разнообразным, грамматически зрелым матом. Мальчик рос чудо какой сообразительный. Валентина с материнской гордостью рассказывала: "Он ведь не просто так матерится. Он же все понимает, сученок лысенкий, уржаться можно! Пошла я с ним вчера на Мытный рынок, ягод купить. Слышишь? Стоит одна с клубникой. Спрашиваю - почему? "Два с полтиной стакан" - говорит. Стакан называется, четыре клубничины. Не успела я чего ответить, а этот, слышишь, прямо с рук у меня: "Катись ты, говорит, бабуська хленовая, к мать-мать-перематери". Эта-то, бабка деревенская, только: "А, батюшки! А, батюшки!" Вот вам и батюшки-матушки - ребенок - он всегда прав, не дери по два с полтиной!"

В подвале дома угнездилась недавно отбывшая не-
длинный срок супружеская чета карманников Лёлочка и
Лёнечка. Оба чистенькие, аккуратные, светленькие, не-
большого росточка, с мелкими, считавшимися тогда сим-
патичными, чертами лица. Похожи, как брат с сестрой - и
всегда вместе. Работали тоже в паре. Всегда приветливые,
на "Вы" - "здравствуйте, здравствуйте, как ваша мамочка
поживает, что-то ее давно не видно было". В другой под-
вальной квартире - румяная великанша Зойка, женщина
античного темперамента, как-то излупившая до полусмер-
ти двух мужиков, тоже, надо полагать, не хрупких музей-
ных юношей, и севшая за это по статье, как она сама гово-
рила "хулиганство с нанесением". Однажды июньским
днем Лёлочка до нитки обчистила Лёнечку, что было пря-
мым нарушением профессиональной этики - честный кар-
манник не берет квартиры. Увы - это была сметающая со-
словные и профессиональные перегородки любовь. Лёлочка
оставила мужа и любимую работу, упав в объятия баяни-
ста из народного ансамбля. Лёнечка, напившись, плакал на
геркулесовом плече Зойки, которая старалась утешить со-
седа, достаточно плохо отзываясь о коварной Лёлочке,
баянисте, его инструменте и всем народном ансамбле. Но
вообще-то драмы были нечасты, криминальный период
дома находился в упругом расцвете. Аскольд чуть не за-
рубил прямо во дворе милиционера, тот позорно бежал,
откидывая толстые ноги вбок, как курица. Ляля-резаная
преуспевала в бизнесе, курила дорогую "Тройку" и приве-
ла в дом молодого мужа, семнадцатилетнего ученика са-
пожного мастерства Валеру в кепке с пуговкой и белом
кашне. Свадьбу хорошо гуляли три дня, гнали самогон,
варили свиной студень, пекли пироги с капустой, а также
с треской и луком, плясали вприсядку под радиолу на
площадке и во дворе, подрались, звали и нас, но мама
отказалась. Осенью Лёлочка, эта Манон Леско нашего дво-
ра, вернулась к законному Лёнечке с обшарпанным чемо-
данчиком "балетка" в руках. Лёнечка, поколотивши, про-
стил. Лёлочка старательно кричала "караул! убивают!!!",

великодушно показывая, что Лёнечкины побои достигают своей двойной цели - справедливого возмездия и народной педагогики. "Жизнь есть жизнь!" - назидательно, но непонятно высказалась, послушавши вопли, дворничиха, скандалистка и большая любительница справедливости тетя Лиза Рюмина. Через день супруги вышли на работу дружно - плечом к плечу.

Тетя Лиза была первопроходцем, пионером и провозвестником грядущей волны жильцов. Алкогольно-дворничье нашествие вскоре заполонило дом, сменив лихую преступную эпоху, как только лихое царствование лысого, авантюрного Никитки сменилось тупым сидением Бровеносца, являвшего собой прямоугольник, богато декорированный пуговицами и звездами по всему фасаду. От судьбы не увернешься, пришел исторический момент, и Аскольд обменял квартиру, совершив попутно пару легких афер с получением придачи и последующим обратным разменом. Ляля-резаная, вышвырнув на лестницу сначала пожитки младого сапожника Валеры, а через десять минут и его самого с расквашенным носом, сообщила куда всему этому надлежит отправиться, а сама завербовалась на север.

- Перредовым рабочим классом, лярва, брезговает! Удавлю! - проявил классовый подход к семейным проблемам Валера.

- Все вы одинаковые - только zenки залить бы! Рабочий класс, самогонка-квас! Рабочий класс Зимний брал, а ты - брандахлыст! Нет нынче рабочего класса, одни анжинеры да алкаши! Мети тут за вами! - опасно взвилась тетя Лиза, присутствующая везде, как гравитация.

- Ннну-ну! За такое знаешь... С кем говоришь, - шмыгая носом, Валера извлек из-под мышек некую засаленную книжечку в красной обложке. Но у тети Лизы была метла, и передовой представитель правящего класса позорно бежал, мешая политические угрозы с посулами сексуального характера.

Через пару месяцев прелестная карманница Лёлечка

снова оказалась в плену любви к сверкающему золотом зубов и перстней массовику-затейнику из дома отдыха - ее неудержимо влекло к незаурядным, творческим натурам. Лёначка с горя опустил, потерял квалификацию и серьезно запил, что избавило его от обмена или даже чего похуже - он вполне подходил дому в этом новом качестве. Только две семьи - наша и стеснительной маникюрши Анюты с мужем и стареющей собачкой - оказались удивительно неподверженными смене формаций. Видимо, мы были предназначены служить чем-то вроде нейтрального фона или точки отсчета, без которой, как известно, любые изменения суть чистое ничто. А может быть, мы были помещены туда надолго, чтобы бедный дом наш, опустившегося этого красавца, помнили. Я помню. И теплый кафель печей - такое счастье было прижаться к нему всем телом, попрощавшись с Виноградовым до полного околечения - на двадцатипятиградусном морозище в почти примерзнувших к ногам остекленевших капроновых чулках. Помню наш двухэтажный сарай с галерейкой. Розовые батистовые завитки бересты в мелкой муравке, аромат теплых березовых дров, глубокого земляного погребя, в котором росли ехидные бледно-перламутровые поганки. Там на черном сыром дне до августа сохранялись пористые, грязные ляпушки снега, а в углу таилось бесплотное и не имеющее запаха "оно", о котором лучше помалкивать. Но хочешь холодного с черникой молока в летний зной - значит лезь. Только папа пусть наверху постоит. Как забыть! Забыть ту березовую аллею с шестиугольной беседкой за домом, благодаря которой я никогда не целовалась в вонючем с жесткими углами подъезде. И неумело-старательно посаженную на субботнике нами, девятилетними дворовыми девочками, сирень. Сирень разрослась и цвела. Один куст оказался белым, махровым, каждый июнь - тяжелые, в горсти не уместить, прохладные, как кожа после купанья, гроздья. А в простой, сиреневой сирени мы искали "счастье" - пятилепестковые цветки, уродиков в четырехлепестковом обществе. Найдя, полагалось съесть, поэтому я

отлично знаю, каково счастье на вкус. Горько-сладкое... И на один зубок хватает. Впрочем, разговоры о счастье - банальная материя, много дураков об этом писало, а дело не подвинулось... В эпоху дворников сирень стала чахнуть. Тетя Лиза Рюмина даже как-то, сжалившись, полила ее несколько раз, хоть никто не заставлял. Но сирень жить отказывалась.

Дом сходил на нет, наступили его последние годы, даже всякие слова на стенах подъезда, не говоря о целых фразах, перестали писать - застой, тоска крошечная и апатия. Только бутылёк бы достать. Никто не ремонтировал свои квартиры, не покупал цветастых диванов, никто не гулял с колясочкой. Даже новых разрушений не появлялось на замученном теле дома - стоял по привычке, не было сил рухнуть. И толкнуть было некому, да и лень. Апатия. Боже, Боже, зачем мы здесь живем?

"Нина я...Ку...Кинстинтинновна, - представилась нам новая соседка, тихонько икнула и рухнула в коробку с кошки-Муркиным песком. - А вы кто? Имя и... ик... октчество, пррршу!" Нина Константиновна была женщина роковая, склонная к эксцессам и изыскам - пила одеколон "Майский ландыш", закусывала хлебом с чесночком. "Люббвь Маррковна, иди, посмотри - я Степана убила!" - весенним вечером доложила она, дыхнув чесноком и ландышем. Степан, похожий в трезвом виде на генерала де Голля, как его изображали в карикатурах Кукрыниксы, лежал под столом в глубокой алкогольной анестезии. Из порезанного осколком бутылки запястья стекал дешевой краснухой густой ручеек. Нина Константиновна встала над бездыханным Степаном, изогнув бедро - Кармен! Саломея! - и поставила ногу в чуяке на высовывающуюся из-под стола часть Степановой головы. "М-м-мн-шшшш" - сказала голова Степана. Прибывшая "Скорая" увезла жертву. "А назавтра они улыбались за окошком своим, как всегда" - обычное дело. В кухне неподвижно стоял, раскрыв большой рот, зачарованный Миня - в силу природной дебильности единственный непьющий член целого

семейства дворников, проживавшего на территории бывшей ванной и комнаты для прислуги.

Страна выполняла, невзирая ни на что, даже почти всё на четыре процента перевыполняла. Рапортовала, проводила "понедельники качества" и рыбные дни по четвергам, показывала кино. Империалисты лопались от зависти и бряцали боеголовками. В "Крокодиле" был нарисован для наглядности дядя Сэм в полосатом цилиндре, катящий в детской колясочке такую же пузатую, как и он сам, бомбу с буквой "А", атомную то есть. Вёз бряцать. Но мы срывали его планы ожесточенной борьбой за мир, невзирая на тяжелые погодные условия. Непьющий идиот Миня ночами столбом стоял на кухне, думал думу. Леониду Ильичу дали новую большую и блестящую звездочку, красиво сфотографировали. Минин пьющий брат Вова, по прозвищу "профессор" за очки, впал в белую горячку, ему чудился угнетенник на тополе под окном и он спалил сарай. Приехали на "Скорой" пьяные в драбадан санитары и увезли Вову - лечить. Девятый вал малярии нахлынул, но никак не мог сообразить, как отхлынуть. Режиссеры горячо лопотали о задумках, комсомолия - о живинках. "Ах, это всегда так волнительно". Господи, Господи, за что мы здесь живем?!

Я построила кооператив, новенькую маленькую квартиру на бывшем кладбище. Долго ее оглаживала, приручала - всё как-то сырой штукатуркой отдавало и нежилым. Купила стол, стулья, тахту, ковер синтетический, шкафы книжные - всё стояло будто временное, не приживалось. Нет, не жилье, сколько ни дыши - не надышишь. Да так и пробыла там семнадцать лет - замужество, ребенок, развод, диссертация, подача. Отказ, отказ, отказ... А старый дом наш агонизировал, дышал нутно. Ночью, в дождь, сгорел балкон - как он сгорел в дождь? Отец покрыл книги влажной простыней - такой был жар, боялись, что весь дом займется. Но не сумел загореться, устал он, дом-то, мучился, но не горел. Через месяц пьяненькая Нина Константиновна привалилась к парадному - тяжелые

дубовые двери отвалились и некоторое время валялись рядом с пришибленной старушкой. Полежав, дочь Константина поднялась на четвереньки, прочла клинописное слово на поверженных дверях и пошла жить дальше. А нам врезали еще отказ "по нецелесообразности", и папа умер. Через месяц пригнали бульдозер, развалили дом. Дворников, как ласточек из разоренного гнезда, расселили по окраинам. "Я - Нинна Кинсстантиновна! ♣ сказала мне она, качнувшись, когда я пришла помочь маме собрать вещички. - Я Ннинна Ки-инст... А тты кто?" А кто я? А я - тот, кто всё это помнит. Одним из бревен расщепило старый дуб, росший рядом. Дуб засох на корню, большой дуб был. По развалинам бродили какие-то хозяйственные мужички с сумками, выискивая витые медные ручки, старинные изразцы. Правильно, в хозяйстве всё сгодится. Двери украл хромой Лексеич - на загородку для поросенка. Скончался боевой генсек Леонид Ильич, похоронили с почестями, по телевизору все смотрели, так интересно было! Всё политбюро показали. Взрывались загремевшие вместо каникул в армию первокурсники из ограниченного контингента в Афгане - интернациональный долг, сами понимаете! Народ стал получать цинковые гробы. Тетя Лиза по большому секрету шептала: одной тут повезло. Пришел гроб с сыном, открывать не велено. А она мужу-то, он слесарь, - открой да открой, последний разочек на Сереженьку-то нашего дорогого глянуть, хоть рученька, хоть ноготка кусочек, поди, от него остался. Открой! Открыл. А там-то! Магнитофоны японские - ёлки зеленые! Что делать? Начальству не доложишь - открывать же не велено было. Да и чего ж добру пропадать - магнитофонов этих там на тысячу наложено, наверно. Магнитофоны - пока от греха к сестре в деревню, а гроб порожний-то похоронили чинчином. Ее подруга на похоронах спрашивает: "Что ж ты, Надя, и не повоеешь? Как не сына хоронишь". А она, не будь дура: "Мой сын Сергей Епифанов пал смертью храбрых при выполнении воинского долга. Это для нас большая честь". Теперь хоть надежда есть - может, живой

сынок-то, только у начальства военкоматского справок уж не наведешь. Скажут - что ты, гражданка Епифанова, обалдела? Ведь похоронила сына. Всё в норме. Документ вручен? Вручен! Порядок. Так? Так! В чем же дело теперь? Что-то, что-то тут не чисто - начнут допрашивать - глядишь всё и откроется. Тогда точно головы не сносить. Уж лучше помалкивать. Всё одно, считай - повезло бабе. Ох, беда-а-а! Если бы не Америка - ничего б того и не было, мир бы был и продукты были бы. Чего уж наши с ними, с америкашками-то этими, миндальничают - ай атомной бомбы жалко?

Ехать! Финита, товарищи, ля комедия. Я всё помню. Ехать, только ехать! Ничему и никому не помочь уже... Зачем, для чего мы здесь? Ехать! Прощайте, ребята! Нет, нет и это не возьму. Нет, не надо ничего... и вазу тоже не надо. Возьми себе на память. Да нет, какие вещи!.. Не жалко, нет... Конечно, налей!.. Давай поцелуемся. С чего ты взял? - я вовсе не плачу, это от смеха... Какая ностальгия?



Андрей ОРЛОВ

Люди игры

(о некоторых стилевых особенностях
современной российской интеллигенции)

Посвящается М. М. Бахтину

"Wir müssen schlafen gehn, Liebster, das Spiel ist aus..."

Ingeborg Bachmann. "Das Spiel ist aus"

Как личности пристало иметь особую, не похожую ни на кого другую манеру встраивания себя в бытие мира, сходную с обретением своего лица, так, наверно, и общности, обладающие развитым чувством индивидуальности (своего рода ликом социальности), в конечном итоге вырабатывают способы самоинтерпретации в своей же уникальной эстетике, находящей свое воплощение в необычной языковой интонации. Это можно назвать рождением специфической речи сообщества, знаменующим одновременно и появление нового социального мифа.

Однако в этой становящейся индивидуализации видится исток не только внутренней силы, но и внутренней слабости самопредставления. Ибо стремление быть истолкованным с точки зрения себя самого в определенной степени ограничивает возможности истолкования. Вероятно именно здесь закрываются двери во все другие, качественно иные, способы видения и услышания. Недостаточность подобного самоотстранения состоит в том, что в действительности мы-то ведь и не слышим подлинного

звучания своего голоса, подчас пугаясь и не узнавая записанное кем-то наше собственное речение. Чтобы понять это лучше, вступим в таящую обман стихию слова, чтобы еще раз услышать самих себя. Послушаем самопознающий голос одного из неоднозначных социальных образований европейской истории - социальности российской интеллигенции:*

"...Российская интеллигенция была уникальна. Никакая другая страна в мире не имела социальной группы, сравнимой с ней. Это был не класс, т. к. он не имел общей экономической основы. Она включала членов некоторых старейших аристократических семей, таких, как князья Долгорукие, Шаховские, Оболенские, Трубецкие. Среди ее сторонников мы находим таких богатейших промышленников, как Морозов, Коновалов, Третьяков, Поляков. Она включала также неимущий пролетариат, происходящий из низших слоев российского общества.

Еще меньше интеллигенция была политической партией в привычном смысле этого слова. Ее члены имели различные взгляды, такие, как либерализм, социализм, коммунизм, анархизм. Некоторые поощряли терроризм, другие были пацифистами.

Российская интеллигенция не может быть отождествлена и с интеллектуальной или творческой элитой науки. Некоторые из величайших ученых и писателей оставались вне ее.

Наконец интеллигенция была, строго говоря, даже не полностью русской и в XX веке она включала в себя немцев, грузин, армян, татар и особенно евреев, играющих важную и даже решающую роль в ее деятельности.

Хотя российская интеллигенция не была ни классом, ни партией, ни профессией, это не означало, что она была

* Из чьих уст персонально исходит речение, в данном случае не имеет значения. Оно в равной степени может принадлежать и Ленину, и Бердяеву, хотя в действительности принадлежит доктору Оксфордского университета Николаю Зернову.

чем-то аморфным, наоборот, она была ясно отделена от остального народа, и ее приверженцы могли узнавать друг друга и ожидать друг от друга похожего поведения, принципов и даже определенного сходства в одежде, манерах и словаре... Это было спонтанное движение, открытое для всех" (13, 2-4).

Подкупающая серьезная искренность этих слов, их поистине апокалиптический трагизм - вот основной интонационный стержень самоинтерпретации такого рода, доводящей себя до экзальтации в текстах Хомякова и Лаврова, Михайловского и Константина Леонтьева, Чаадаева и Бердяева*. Даже слабости и пороки в этой "языковой" традиции выражения вырастают в судьбоносные слабости и мессианские пороки. Однако намеренность в извечном убегании от самоиронии и табуирование самоусмешки (чего стоит только одна травля Розанова) при нескрываемом хохоте над всеми остальными, в том числе и над нежно любимым народом (к примеру - религиозный смех Гоголя или вице-губернаторский Салтыкова-Щедрина)**, заставляет по-другому взглянуть на проблему серьезного и несерьезного применительно к исследуемому нами здесь социальному образованию. Возникает вопрос: дано ли этой социальности из перспективы столь тщательно охраняемой серьезности понять весь спектр качеств, объединяющих ее в столь неоднозначное сообщество? Ведь, быть может, это сколь непроясненное, столь и маскируемое дополнительное измерение находится в отсутствующей несерьезности самоотношения. Что если из глубины заботливо драпируемой несерьезности - из игры (слова так язычески-кошунствен-

* Единственным, пожалуй, исключением в этом интонационном монологизме, лишний раз подтверждающем правило, был В. В. Розанов.

** В этой способности все-таки подсмеяться обнаруживается удивительная тонкость в отстранении от кого угодно, только не от себя.

но звучащего в этой атмосфере откровения) - явится нам что-то недостающее, еще один (в ряду других, возможных) способ выражения, стиль этого страта, так и не ставший для этой общности, а значит и для остальных, до конца проясненным, понятным.

Биография игры

Есть общности, которые как бы поглощают собой единичное человеческое существование. "Накрывая" человека, они растворяют его в себе. Мы видим это в толпе, публике, массе... Есть другие, в которых индивидуальное и есть способ пребывания социального. Социальность вырастает здесь из глубины личности. Именно к этому генетическому принципу принадлежит и традиционно принадлежала российская интеллигенция. Поэтому пытаюсь понять ее социальную "биографию", мы неминуемо обращаемся к биографиям ее представителей: ученых, художников, поэтов, философов...

Одна из таких возможных биографий - биобиблиография работ М. К. Мамардашвили (12, 357-359), философа, человека, традиционно привыкшего выражать и завершать себя в Слове.

При знакомстве с этой своеобразной хроникой мыслительной эволюции автора, ныне уже покойного, удивляет изначальная зрелость его философской позиции. Позиции интеллектуала, уже с первых своих работ задумавшегося над тем, "как человеку исполниться, пребыть, войти в историческое бытие". Понять эволюцию метафизика в этом смысле - сложнейшая задача, ибо он, как правило, заканчивает тем же, чем и начал. Во всяком случае, на уровне содержательном получается замкнутый круг - он начал с неразрешимости проблемы человеческого сознания и закончил ею.

Другое дело - те способы выражения, в том числе жанрово-стилевые особенности, которые он использовал. По-

этому обратимся к системе жанров, представленных в биобиблиографии.

Свою научно-философскую деятельность (если верить библиографии) М. К. Мамардашвили начал как переводчик: в 1958 году он участвует в переводе Н. Гартмана, затем Ю. Бохеньского и Дж. Соммервилла и наконец Норберта Винера. Собственное самовыражение Мамардашвили, вплоть до 1988 года, в жанровом отношении небогато и по сути протекает в трех жанровых разновидностях:

1. Научно-философская статья в специализированных изданиях (журналах, книгах, энциклопедиях).

2. Рецензия в специализированном (как правило - философском) журнале.

3. Научная монография.

Однако в 1988 году (если верить опять же той же библиографии) к перечню жанров, теперь уже для него традиционных, прибавляются другие, к которым он до того еще ни разу не обращался. Так в 1988 он активно начинает осваивать жанр интервью (телеинтервью) и беседы. В 1989 году интервью становится основной формой его философской рефлексии. За эти два года (1988-1989) он дает интервью корреспондентам "Учительской газеты" и "Нашего наследия", "Историко-философскому ежегоднику" и "Молодежи Грузии", "Философской и социологической мысли" и "Театру", "Роднику" и "Заре Востока", "Либерасьон" и популярной телепередаче "Киносерпантин".

Появление этих новых жанровых образований публицистического собеседования у автора, который традиционно любил диалогические отношения, но в других, академических, формах (лекциях, круглых столах, в философских журналах), заставляет нас обратиться в поисках объясне-

* Исследование библиографий в наше быстроменяющееся время - дело чрезвычайно полезное. Прелюбопытнейшее занятие наблюдать за метаморфозами жанров представителей нашей интеллигенции: Лихачева, Аверинцева, Померанца, Левады, Распутина и пр.

ния к глубочайшей связи, существующей между жанром и стилем: жанром творческого выражения личности и культурным стилем эпохи, в которой осуществляется это выражение*.

Меж двух эпох

В сколь утопическом, столь и актуально-реальном романе "Игра в бисер", описывая основную жанровую особенность фельетонной эпохи, времени, когда бои за "свободу" духа свершились... и привели к тому, что дух действительно обрел неслыханную и невыносимую уже для него самую свободу, преодолев церковную опеку полностью, а государственную частично, но все еще не нашел настоящего закона, сформулированного и чтимого им самим, настоящего нового авторитета и законопорядка (9,20), Герман Гессе дает нам широкую панораму перехода жанров специализированного диалога (научного, философского...) в его публицистическую (своего рода научно-колумнистскую) ипостась. "Излюбленным содержанием таких сочинений были анекдоты из жизни знаменитых мужчин и женщин и их переписка, озаглавлены они бывали, например, "Фридрих Ницше и дамская мода шестидесятых-семидесятых годов XIX века", или "Любимые блюда композитора Россини", или "Роль болонки в жизни великих куртизанок" и тому подобным образом. Популярны были также исторические экскурсы на темы злободневные для разговоров людей состоятельных, например: "Мечта об искусственном золоте в ходе веков" или "Попытки химико-физического воздействия на метеорологические условия" и сотни подобных вещей...

...Читались занимательные, темпераментные и остроум-

* Бахтин указывает на эту глубинную связь: "Где стиль, там и жанр. Переход стиля из одного жанра в другой не только меняет звучание стиля в условиях несвойственного ему жанра, но и разрушает или обновляет данный жанр" (2, 244).

ные доклады, например, о Гете, где он в синем фраке выходил из почтовых карет и соблазнял страсбургских и вецларских девушек, или доклады об арабской культуре, в которых какое-то количество модных интеллектуальных словечек перетряхивалось, как игральные кости в стакане, и каждый радовался, если одно из них с грехом пополам узнавал" (9, 21-23)*.

Анекдот, фельетон, доклад - этот фатальный, с точки зрения Гессе, для судеб духовности и культуры жанровый ряд противопоставляется в романе другому возможному набору - перевод, комментарий, сумма, характеризующие иной культурный стиль. Этот последний является стилем Игры в бисер, способом самопредставления культуры мифической страны Касталии. Именно в этом жанровом перечне, отличительным качеством которого является кристаллизация анонимности - суммирование того, что тебе вроде бы не принадлежит (в противоположность фельетонизму, где другой и его мысль - выступают лишь как повод для самопоказа), и осуществляется, по мнению автора "Игры в бисер", высшая цель культуры:

"Когда бывало в "Суммы" Аквината
Как в дивный храм, где мерой всё заклято,
Входили мы, нас ослеплял лучистый
Блеск истины, высокой, зрелой, чистой:
Там дух природой косной правил строго,
Там человек шел к Богу волей Бога,
Там в красоте закона и порядка
Всё закруглялось, всё сходилось гладко". (9,483)

Пытаясь найти основание ряду перечисленных жанров (перевод, комментарий, сумма), мы неизбежно подходим к их объединяющему началу, которое можно назвать соавторством. Действительно и перевод, и комментарий, и в

* Здесь и далее цитаты из Г. Гессе даны в переводе С. Апта.

конечном итоге сумма - как сложение существующих взглядов объединены глубинной диалогической идеей высказывания себя через другого*, по сути противостоящей иной форме культурного диалога - высказывании другого через себя (авторская культура, в противоположность со-авторской).

Может показаться странным, какое отношение имеет к "игровому", как его называет Гессе, способу существования культуры такое качество, как анонимность. Ведь мы привыкли к демонстративным ролевым проявлениям в игре. Между тем, в действительности подлинная игра только тогда становится самой собой, когда она способна обеспечить этот вид анонимного диалога - растворенность субъекта в процессе игры. В истинно-игровом по сути не существует растождествления на субъект игры и саму игру, ибо она, как отмечает Гадамер, "...имеет место там, и даже преимущественно и собственно там, где тематические горизонты не суживаются для - себя - бытием субъективности и где нет субъектов, ведущих себя по-игровому" (6, 148).

Иохан Хёйзинга обращает наше внимание на тот факт, что одним из сущностных качеств игры является то, что она, стоящая вполне сознательно в стороне от обычной жизни, "поглощает игрока сильно и полностью" (10, 13). Поэтому биографией игрока в подобной ситуации становится всепоглощающая "биография игры". Это свойство игры находит свое отражение и в известном нам уже романе, где искусство игры в бисер подается нам через жизнеописание Магистра игры - Йозефа Кнехта - человека, своим житнетворчеством осуществляющего эту игровую взаимоотнождественность.

* Такая тенденция в целом архитипична для "христианских" культур, особенно средневековых, столь близких Гессе, доренессансное авторское кредо которых выражалось фразой "Ничего от себя". "Новое средневековье" отчасти возродило эту традицию.

Впрочем, чего далеко ходить. И упомянутый нами уже М. К. Мамардашвили и другие не менее известные и менее известные представители интеллигенции до определенного времени имели возможность прикоснуться к этому "стилю анонимности" в своих переводах, рецензиях, книгах и статьях по критике... И это не случайно, что их жанровые предпочтения развивались именно в русле этого культурного стиля.

Анонимность игры, и шире, анонимность игровой культуры, эта способность сохранить культурное значение не за-явлением себя, а пред-явлением другого (классика, друга, врага...) в значительной мере определило появление игрового культурного стиля во времена, когда заявление своей позиции и своего авторства становится невозможным в силу каких-либо идеологических обстоятельств.

В этом случае находятся группы людей, владеющих формальной возможностью заменять тотально существующую идеологическую утопию другой утопической конструкцией - утопией игры.

Генезис утопизма

Размышляя о том, что в России альтернативой утопии стала увы не реальность, а всё та же утопия, но уже имеющая в своем основании игровой принцип, невозможно не сказать об этой навязчивой национальной мании утопического пространства, трагически уводящего от реальности и коренящейся в изначальном историософском мифе России. Само национальное самосознание в России было, по-видимому, всегда потенциально беременно утопией. В начале своего становления, в первом документе исторической рефлексии - в "Повести временных лет" (12 век), Россия предъявляет миру свою версию хилиазма. Этот христианский проект так никогда и не обрел форму реальности, с годами лишь обратившись для современников из утопии будущего в утопию прошлого. Глубокая мысль от-

ца Г. Флоровского о том, что уже Раскол был ностальгией по подлинной Руси, может служить ключом к пониманию данной метаморфозы (5). И в дальнейшем все попытки самоопределения строились либо как утопии прошлого (идеал Руси славянофилов), либо как утопии будущего (коммунистический идеал). "Россия" в этом смысле была идеально не уничтожима и, в конечном счете, и не была уничтожена коммунистической утопией, ибо представляла собой открытый утопическому пространству миф, питающийся культурными инвариантами утопизма. В конечном итоге все онтологические монстры русской революции (большевики, пролетариат) имели идеально типические прообразы в этом утопическом ящике Пандорры, ключи от которого хранились всё у той же русской интеллигенции.

Однако, анализируя генезис утопического идеала российской интеллигенции, нельзя не заметить, что необоримый российский утопизм вступает в XX веке в свою иную ипостась с точки зрения субъектного идеала утопии, что связано в свою очередь с разрушением православного утопического видения. В случае утопии игры и утопии идеологии мы встречаемся по сути с двумя кардинально отличными субъектными инвариантами: утопией индивидуальности и утопией "муравейника", если воспользоваться термином М. Lasky (11, 4-31).

В этих утопических измерениях мы можем наблюдать как бы два процесса, идущих навстречу один другому: кристаллизацию личности в игре и ее растворение в идеологии. Удивительно, что при кажущейся, на первый взгляд, бессубъективности игры, она тем не менее оказывается способной (особым, правда, способом, на уровне стиля и жанра, в чем мы сможем убедиться чуть позже) сохранять личность в утопии.

С другой стороны, идеолого-утопические призывы к всестороннему развитию личности оборачиваются в конечном итоге массовизацией и утерей "лица". Противопоставление массового-индивидуального применительно к утопизму заставляет нас вспомнить сходные тенденции разви-

тия утопии в западно-европейском сознании XX века (хотя бы та же игровая индивидуалистическая концепция Х. Ортеги-и-Гассета).

Как уже говорилось, развитие индивидуалистической игровой утопии было связано в России с процессами де-христианизации сознания интеллигенции. Не случайно, что игровой утопический идеал получает свою жизнь именно в те годы, когда доминирующая религиозная идеология оказывается в государственном масштабе побежденной социалистической идеологией. Ведь игра, как и игровой способ бытия, всегда традиционно противостояла христианскому мировоззрению. В православном христианском мироощущении (особенно старообрядческом) лицедейство, игра считалась большим грехом. Да и в других христианских конфессиях игровой стиль занимал всегда противоположную или противоположно-дополняющую (как в средневековом карнавале) позицию, что мы можем видеть в исследовании того же Бахтина (1). "Лицедейство" игровых жанров-стилей, где этическая позиция вынужденно переодевается, чтобы сохранить культурное значение, невыносимо для христианских жанров, с их подчеркнутой полемичностью и кристаллизацией своей этической позиции.

С уничтожением российской христианской культуры и с образованием в связи с этим, по словам В. В. Розанова, "колоссальных пустот" культурного смысла, с которых теперь были сняты табу игры, начинается их осваивание не только идеологической утопией, но и утопией игры. Разрушающаяся соборность христианского сознания также дает импульс для развития индивидуалистических форм утопии, таких, как игровая утопия, которые доселе не встречались в данном этносе. Ведь православие было по своей сути ближе к общинному, "муравьиному" типу утопизма. И не случайно, что эстафету здесь приняла "муравьиная утопия" социализма, явившаяся своего рода переходным этапом к утопии игры.

Анализируя игровые формы культуры (праздник, карнавал), Бахтин приходит к выводу, что "...праздничность в них становилась формой второй жизни народа, вступающего временно в у т о п и ч е с к о е царство всеобщности, свободы, равенства, изобилия" (1, 14). Эта особая разработка темы утопии-как-игры (или вернее - осуществлении утопии в игре) позволило автору "Франсуа Рабле..." приступить к исследованию утопизма совсем с другой, нежели мы привыкли видеть обыкновенно, стороны. При знакомстве лишь с определенным способом интерпретации утопии в ее идеологическом, а еще хуже - официально-идеологическом ракурсе (и в этом своем виде размышления о ней воспринимаются как банальность), удивление вызывает эта замечательная замеченность способности утопической формы идти из витальности, из игры. Воспринимаемое сначала как парадокс это прото-идеологическое измерение утопизма в игровой форме карнавала, где "сама жизнь играет, разыгрывая без сценической площадки, без рампы, без актеров, без зрителей, то есть без всякой художественно-театральной специфики - другую свободную (вольную) форму своего осуществления, свое возрождение и обновление на лучших началах (1, 12), заставляет говорить о некоем альтернативном утопическом пространстве, где "реальная форма жизни является... и ее возрожденной идеальной формой" (1,12). Отстраняясь от идеологической реальности, игра создает своего рода иллюзию (состояние, имеющее прямое отношение к игре, слово, буквально означающее "в-игре" - от *ilusio*, *illudere*). При этом реальность и иллюзия как бы меняются местами, представляя нам реальность иллюзии и иллюзорность реальности. Своим прошлым и будущим эпоха написания книги о Рабле напрямую связана (и это Бахтин вынес в собственной судьбе) с этими двумя утопическими измерениями: измерением утопии-как-идеологии в виде официальной коммунистической доктрины и вытекающей из

нее системы отношений и утопии-как-игры, которая существует в эти годы, в виде научных, творческих, повседневных областей анонимно-отстраненного, а по сути активно-соучаствующего культурного стиля интеллигенции.

Возникает соблазн представить две существующие тенденции в виде конфликта, однако взаимоотношение двух утопических решений (утопии-идеологии и утопии-игры), вынужденных сосуществовать в едином культурном пространстве, не может быть выражено только как противопоставление. Будучи на внешнем плане как бы противодействующими, они тем не менее поддерживают друг друга в своем генетическом и бытийном аспектах. Именно утопия-идеология служит своего рода контекстом, в котором утопия-игра получает свое экзистенциальное значение. Более того, от жесткости и тотальности идеологико-утопического окружения зависит сама жизнь игрового измерения, ибо первое как бы предохраняет второе от проникновения в зону, в которой игра неминуемо обречена на деструкцию и превращение в нечто неигровое. В то же самое время, когда идеологическая рамка, относительно которой данный игровой слой получил свое культурное значение, меняется, мы можем наблюдать разрушение игрового стиля и сопутствующих ему жанровых проявлений.

Проецируя эти гипотезы на идеологическую ситуацию нашего времени и нашего общества, мы можем найти основания для интерпретации наблюдаемых деструкций жанров, в которых традиционно выражала себя интеллигенция.

Касталийский стиль

Ограниченность нашей способности увидеть игровое в культуре определяется специфическим стереотипом в отношении игры и ее проявлений, который получил широкое распространение в обыденном сознании. В действительности, существующая в нескольких кардинально отличных

друг от друга разновидностях* игра тем не менее получает свое повседневное значение, исходя из принципа театрализации и связанными с этой игровой стратегией ролевыми, инверсионными, травестийными и прочими со-значениями.

Из перспективы данного взгляда многие игровые стили (например, упоминаемый нами касталийский) воспринимаются не более чем эффективные метафоры, ибо в них не находят узнаваемых признаков привычной игры. Между тем касталийский стиль имеет в своей основе как принцип совершенно другую игровую стратегию, не имеющую прямого отношения к театрализации и условно именуемую как игра случая (шанса)**. Смысл этого игрового действия (пример существования которого являют обычные игральные кости, лотереи, рулетка и тому подобное) заключается в особом игровом эффекте, возникающем при выпадении различных удачных или неудачных констелляций (фишек, цифр, очков, символов). К такого рода констелляционному игровому стилю, заключающемуся в собирании культурно значимых символов в специфические конфигурации, принадлежит и стиль Игры в бисер. Однако в отличие от рядовой игры, игровой культурный стиль имеет более обширные культурные возможности в выборе материала для констелляции***. "Игра в бисер - это, таким образом,

* Роже Кайка, например, выделяет четыре фундаментальных типа игровых действий (состязательное, подражательное, случайное и головокружительное), которые взаимопереплетаясь образуют все известные виды игр (4, 17-23).

** Поэтому тех, кто обращает свой взор только на внешнюю сторону игрового стиля, ожидая в "карнавальных" эффектах свидетельств игры, ждет в этом случае разочарование.

*** Следует отметить, что благодатной почвой для "касталийства" в России был тот факт, что ее культура по своему изначальному топологически-межкультурному положению генетически тяготела к констелляционному стилю. Касаясь мысли Р. Кайка о приоритете разных игровых стилей в разных культурах, можно сказать, что культура России имела направленность к выражению именно в этой игровой парадигме.

игра со всем содержанием и всеми ценностями нашей культуры, она играет ими примерно так, как во времена рассвета искусства живописец играл красками своей палитры... Всей этой огромной массой духовных ценностей умелец Игры играет, как органист на органе, и совершенство этого органа трудно себе представить - его клавиши и педали охватывают весь духовой космос, его регистры почти бесчисленны, теоретической игрой на этом инструменте можно воспроизвести всё духовное содержание мира" (9, 15).

Пропуском в этот игровой мир возможностей служит опять же анонимность ставки. Неназванность скрепляет воедино уже названное, совершая свой невидимый авторский процесс.

Однако анонимность как качество субъекта данного игрового стиля тем не менее не исчерпывает всего ряда сущностных особенностей, уникализирующих описываемую игровую стратегию. К ним, наряду с характеристиками субъекта игры, относятся также особенности пространства и времени данного культурного феномена и уникальная целевая заданность, помогающая отделить игру из континуальности неигрового. На этих особенностях мы и попробуем далее остановиться.

Пространство-время

Разговор об игровом стиле не будет завершен, если мы не затронем проблему конкретных пространственно-временных характеристик феномена игры. Трудно представить себе игру, которая существовала бы вне пространства и времени, она всегда есть "играние внутри" определенного хронотопа, который особым образом отстраняется от окружающего его социального неигрового хронотопа. По мнению Й. Хёйзинги, "игрой является свободная деятельность или занятие, производящееся в пределах определенно фиксированных границ времени и пространства"

(10, 28). Одним из главных свойств хронотопа игры является его социальная замкнутость. "Исключительная и специфическая позиция игры красноречиво проиллюстрирована фактом, что она любит окружать себя воздухом секретности" (10, 12).

Обращаясь к реальному пребыванию "касталийского" стиля, можно предположить, что эта социальная замкнутость игры находит поддержку в социально-пространственной замкнутости идеолого-утопической социальности, которая имела место в нашем обществе и теперь постепенно размывается. В этом смысле "железный занавес" неигровой социальности являлся внешней проекцией, помогающей неразмыканию внутреннего круга "касталийской" игры. В условиях деструкции внешнего круга и нарушении его "охранительных" функций мы можем видеть (да, теперь уже можем) последовательное разрушение пространственно-символической границы игровой социальности, при которой она стремится исполниться за пределами своих пространственных возможностей*.

Наше время, активно меняющее культурные стили, кардинальным образом затрагивает и трансформирует другую часть игрового хронотопа - время игры. Размышления о времени описываемого нами культурного стиля подводит нас к важному разделению, которое отличает время утопии-игры от времени идеологически-утопического. Дело в том, что в случае игры мы имеем кардинально отличное направление течения времени. Если характерным для идеологическо-утопического хронотопа является на-

* Здесь имеются в виду факты внутренней (бегство из традиционных "касталийских" форм существования и сообществ в новоиспеченные партии: в демократическую, патриотическую и пр. виды борьбы) и внешней (выезд из страны на стажировки, в командировки, насовсем) эмиграции значительной части современной российской интеллигенции. Надо отметить, что эта эмиграция может протекать по-разному и заключается, например, в незаметной, на первый взгляд, смене издания для чтения и выражения.

правленность из настоящего в будущее, именно там, в этом "светлом будущем", своего рода проективном временном пространстве, происходит осуществление утопии как идеологии, то в "касталийском" хронотопе мы видим нечто совершенно другое. Идеология-утопия не помнит прошлого, закрывая его культурное значение и низводя его на уровень подготовительного этапа. В то же самое время "касталийская" игра всей своей сутью обращена к прошлому. Именно там, а не в будущем или настоящем находится материал для построения констелляций, составляющих ядро культурного стиля. Ему не может быть места ни в будущем, ни в настоящем, содержание которых уже тотально заражено идеологией-утопией. Там уже невозможно "играть", ибо нет поля игры.

Однако по мере того, как неигровое будущее время освобождается от навязчивого присутствия "светлого будущего", оно образует своего рода вакуум, представляясь для игрового временного вектора специфической "черной дырой", изменяющей его направление своим присутствием. В связи с этим тематизация "будущего" в структурах и стратах, традиционно связанных с игровым культурным стилем, возрастает.

Цель игры

Точкой трудностей в изучении игровых феноменов всегда было определение их целевой ситуации, выражающейся в вопросе: для чего же существует игра? В конечном итоге от разрешения его зависит и сам образ игры. Осознавая важность поисков, одни из исследователей игры описывают источник и основания игры, как потребность в освобождении "переполненной жизненной энергии", другие, как удовлетворение неких "иммитационных" инстинктов. Для третьих - игра выполняет рекреационную функцию, то есть "диктуется определенной необходимостью расслабиться". Это мнение идет рядом с социобиоло-

гическими теориями о врожденной агрессивности человека и, в связи с этим, игре как определенной отдушине для выхода внешних импульсов, а также как средства для восстановления энергии, потерянной в однотонной деятельности*. Однако, как правильно отметил автор "Человека играющего...", весь этот научный кошмар, все эти "гипотезы" можно свести к одному подразумеваемому положению, которое скрыто или явно присутствует в подобных построениях. Все они исходят из допущения, что игра может служить с р е д с т в о м для чего-то, что не является игрой (для рекреации, обучения, моделирования), т. е., по их мнению, она должна иметь некую н е и г р о в у ю функцию (10, 2). При этом выяснение сложной игровой функции автоматически подменяется изучением более простых неигровых функций. Дистанцируясь от содержательных дискуссий Хёйзинги с его оппонентами, добавим, что, как нам кажется, вопрос "зачем существует игра?" вообще принципиально не может быть разрешен в содержательном аспекте. Для того, чтобы приблизиться к этому проблемному полю, вероятно, необходимо поставить акцент не на содержании игры, а на форме ее существования. И тогда вопрос "для чего же служит игра?" находит свое новое разрешение в прояснении особенностей стилей-жанров игры, переводя проблему из модуса научных дихотомий (типа цели-средства, функция-дисфункция) в модус философско-культурных парадигм, где эти полярности снимаются относительностью взгляда.

Ведь стиль игры (т. е. то, в какой манере она выра-

* Продолжая длинный ряд, можно вспомнить и нашу дихотомию игрового-идеологического, при размышлении над которой есть соблазн целиком представить утопию-игру как компенсацию идеологии-утопии. Однако не стоит это делать, ибо исполняясь, игровой стиль не восполняет чьи-то недостатки и промахи. Он прежде всего осуществляет свою собственную независимую ни от кого задачу, смысл которой заключается в том, чтобы "играть ради игры".

жается) по существу и является целью этого феномена*. Поскольку главным в игровом событии является не то, зачем оно осуществляется (играют ведь ради самой игры), а то, как оно осуществляется. По сути цель игры заключается в развертке формы, а не в разворачивании содержания (которое опасно игре своей предательской потенциальностью идеологического). В этой принципиальной бессодержательности динамики игры (при которой содержательные моменты, саморазворачиваясь, не затрагивают однако сути происходящего) лежит ее запредельность по отношению к языку** как некой целостности формы и содержания и отчасти объясняет нам прафеноменальность витгенштейнианского генетического принципа "лингвистических игр".

В этом пункте мы находим также ключ к интерпретации другого, важного для нашего исследования, понятия, который мы собственно называем здесь игровым стилем культуры. Игровой стиль - это особого рода динамическое

* Исходным пунктом данных размышлений послужили бахтинские определения жанра и стиля, данные им в "Эстетике словесного творчества". Под стилем мы здесь, следуя Бахтину, понимаем некую интенцию на выражение, особого рода смысловое задание субъекта, производящего текст. "Выбор языковых средств и речевого жанра определяется прежде всего предметно-смысловыми заданиями (замыслом) речевого субъекта (или автора). Это первый момент высказывания, определяющий его композиционно-стилевые особенности" (2, 263). Жанры же, по его мнению, это метаязыковые формы осуществления этой интенции "...кроме форм языка существуют еще и формы комбинации этих форм, т. е. ...речевые жанры" (2, 260). Главное отличие стиля от жанра в том, что первый имеет в своем составе еще и языковый (в смысле человеческого языка) компонент выражения.

** См. тезис Бахтина о том, что "жанровые формы, в которые мы отливаем нашу речь, конечно, существенно отличаются от форм языка в смысле их устойчивости и принудительности (нормативности для говорящего). Они, в общем, гораздо гибче, пластичнее и свободнее форм языка" (2, 258).

развертывание культурно-значимого результата, игнорирующего горизонтальное содержательное пространство (нежелающее производить своего "содержания") и переводящее себя в вертикальную плоскость формоактуализации, путем процессуализации целей культурного содержания.

Способность взаимопоглощения стиля и жанра (в их метаформальном, а не языковом аспекте), о котором говорил Бахтин, дает возможность осуществления этой замкнутой процессуализации игры в полном объеме. Однако стиль и жанр могут быть разделены в этом игровом единстве как его синхронический и диахронический аспект. Жанр при этом представляет точку, в которой стиль исполняется и исполняет себя. Будучи на деле более примитивной формальностью, жанр именно этим синхроническим аспектом и застрахован от узурпирования своего эйдоса одним-единственным стилем. Стиль в этом смысле всегда иерархичен и, как иерархия, стили могут включать в себя одни и те же жанры.

В своем другом качестве жанр обладает способностью останавливать для нас неуловимую континуальность (протяженность) стиля. Он делает стиль осязаемо-видимым в этом дискретном модуле.

Следующий аспект заключается в том, что жанр в игровом стиле обладает особым рода субъективностью*. Как мы уже говорили, жанры игры - это всегда формальные возможности осуществления разновидности анонимно-авторского диалога, при котором другой является вместо-автором текста, отвечающим на вопрос "что?". Сам же автор отвечает на вопрос "как?".

Здесь следует обратиться к мысли Бахтина, который указывал, что жанры способствуют отражению субъективности, установлению субъективного стиля. В игре, в силу

* Которую здесь следует понимать не в индивидуальном, а в социальном смысле, как качество оформления и становления социального субъекта.

ее бессубъективности (когда субъект полностью растворяется в игре), эта особенность жанра является архиважной для самоопределения и самоактуализации участника. Субъективный игровой выбор осуществляется не внутри игрового содержания (как выиграть или проиграть уже не принадлежит субъекту), а за его пределами при жанровом самоопределении. Другими словами участник как бы вверяет жанру свою субъективную судьбу. Поэтому, если "речевая воля говорящего осуществляется прежде всего в выборе определенного речевого жанра", то воля играющего перед тем, как он "потеряет себя в игре", заключается в предпочтении того или иного жанра игрового стиля. Отказ от игрового жанра в конечном счете означает для участника игры (или адепта игрового стиля) потерю его "лица" и уничтожение с точки зрения игрового контекста.

Для исследователя, наблюдающего извне и не погруженного в игровой стиль, деструкция жанров игры служит своего рода индикатором того, что в контексте самой игры происходит массовая гибель игровых субъектов. Особым знаком того, что "люди игры" вымирают.

Третье состояние

В изучении "игровых событий культуры" особую сложность вызывает понимание тех маргинальных областей, где игровое неуловимым образом превращается в свою противоположность, где игра теряет свой смысл, становясь чем-то кардинально отличным от самой себя.

В этих областях опыта мы встречаемся с каким-то третьим состоянием инакобытия, которое уже не напоминает игровую социальность, но еще не обретает форму привычной неигровой "серьезной" социальности. Именно в этой плавильне социальных форм и социальных субъектов выходят на свет "скитальцы", которых отказывается принимать в свои владения и игра, и "серьезность". Эти вечные изгнанники двух миров вынуждены создавать свой

собственный мир, существующий на пересечении двух динамических рядов: динамики игры и динамики неигрового. Особенность существования в этом межмирном пространстве заключается в поддержании баланса равновесия, ибо окружающие его измерения, как Сцилла и Харибда, постоянно грозят ему уничтожением. Здесь гарантом спасения может служить только полная неподвижность, ибо любое движение-продвижение в контекстах игрового-неигрового умерщвляет значимость (и значение) переходного. Миссия сталкера двух миров теряет смысл, когда переход уже является осуществленным.

Весь трагизм в том, что вечно находящееся между двумя парами глаз это призрачное в своей "прозрачности" измерение оказывается парадоксальным образом неувиденным нами в своем аутентичном значении. Оно всегда дано нам как нечто нелепое, несообразное с идеей либо игрового, либо серьезного, как то, что не поглощается их смыслом.

Подтверждающим эту невозможность про-зрения является, например, исследование Э. Гоффманом феномена "наблюдателя" - человека, который по тем или иным соображениям не вступил в игру и находится на периферии игрового опыта, созерцая, но не прикасаясь к этому действию (см. 7). *Sub specie ludī* наблюдатель - это либо плохой игрок, либо вовсе человек, ведущий себя не по-игровому. Игре не дано увидеть особую специфическую динамику этого состояния. С точки зрения серьезности, данное явление (наблюдатель) является еще более замутненным, так как, скрываясь за символической рамкой, отделяющей неигровое от игры, он перестает быть видимым для серьезности, ибо он уже сделал свой жанровый выбор.

Значимость прояснения природы "третьего состояния" возрастает во времена, когда в культуре происходит переход от одного жанрово-стилевого единства к другому. Именно в эти периоды выходит из небытия старинная российская болезнь, которую можно назвать "синдромом Обломова".

Как забытый в свое время "Дон-Кихот", роман Гончарова "Обломов", может быть, еще только ожидает своего открытия в контексте изучаемого нами культурно-стилевого межвременья. Будучи много осмысляем из пространства серьезности (как произведение "критического реализма") и отчасти из пространства игры (недавняя экранизация Н. Михалковым "Несколько дней из жизни Обломова"), он никогда не подвергался анализу из того измерения, о котором он собственно говоря и повествует, а именно из пространства маргинальности. Сквозь мысли и речи главного героя романа - Ильи Обломова, а еще точнее - через его специфический способ существования, развертываются перед нами основания некоего третьего состояния, равно не принадлежащего ни к утопии игры, ни к утопии серьезности, но находящегося как бы на грани того и другого. Этот идеал жизни, строящейся как воздержание от вхождения и в игру, и в серьезность, может быть назвать "утопией неподвижности и покоя".

"Где же идеал жизни, по-твоему? Что ж не обломовщина? - без увлечения, робко спросил он. - Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? - Помилуй! - прибавил он смелее. - Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политик разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая? - И у т о п и я - т о у тебя о б л о м о в с к а я, - возразил Штольц" (8, 176).

Образ бытия Ильи в равной степени противостоит как динамике интеллектуальной "игры", так и динамике той серьезной социальности, целеустремленно ориентированной на прогресс, адептом которой является Андрей Штольц. Его не тянет в круговорот деловых социальных отношений, где "ни у кого ясного, покойного взгляда - все заражаются друг от друга какой-то мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут" (8, 170). Из своей неподвижной точки Обломов прозревает суть этой динамики социального прогрессивизма, ее направленность в мате-

риальное Ничто ("Вот они не лежат, а спуют каждый день, как мухи, взад вперед, а что толку") (8, 169).

Между тем, отрицая "протестантскую этику" Штольца, Обломов не исполняется и в этике Игры. Несмотря на то, что Штолец величает его философом, Илья тем не менее не способен "держатъ энергетикy" игрового стиля. Ведь "философия обыденности", с которой он часто выступает в разговорах со Штольцем, выполняет у него функцию защиты и оправдания. Она у него функциональна в своей содержательности, поэтому не является игрой. Илья не способен культивировать этот стиль в его независимой самодостаточности, что опять же проявляется через его исповедально-личностные речевые жанры.

Из-за этой этической неопределенности он все время попадает в межстилевую утопию неподвижности и в конечном счете гибнет в ней*. В действительности его социальная и экзистенциальная трагедия заключается в том, что, обладая знанием о нескольких возможных альтернативах своего существования (будучи причастным судьбой к разным стилям жизнетворчества), он не способен принять на себя ответственность ни за один из них. И это делает его в итоге не только недвижимым, но и страдающим от своей неподвижности**. Б. Дубин, посвятивший специаль-

* Это свойство превращения межстилевого в межэтическое (языческо-христианское), становящееся прямо-таки опознавательным знаком российского существования, как нельзя лучше подмечает Н. А. Бердяев в "Истоках и смысле русского коммунизма" (3, 8).

** Весь художественный опыт А. Тарковского есть по сути решение этой проблемы. Тема страдания от ощущения невозможности исполниться в нескольких стилевых планах - тема ностальгии - сквозной мотив его творчества, получающий свое кульминационное художественное воплощение в фильме "Ностальгия". "Во всех нас что-то идет не как следует, все мы хотим лучше реализовать себя и тем самым быть самим собой: вот тоска, которую я хотел подчеркнуть. Это ностальгия - направление нашего духовного развития. Горчаков (герой фильма - А. О.) действительно хотел любить, наблюдать, идти к ближнему - но ему это не удавалось" (А. Тарковский. "Из телеинтервью").

ное исследование (к сожалению, пока еще не опубликованное) этой особенности российского интеллигентского существования (и прежнего, и нынешнего), называет подобные недуги "фантомными болями", т. е. болевыми ощущениями в отсутствующем. В этой ситуации человек, не осуществляя ни один из возможных путей существования, переживает недостаточность (или неполноценность) каждого из них в отдельности. Это специфически российская черта, заключающаяся в невозможности решить первые вопросы, не решив одновременно последних, невозможность сделать первый шаг, не сделав одновременно и самого последнего. Строго говоря, перед нами предстает ностальгия по множеству судеб, которая в один прекрасный миг оборачивается отсутствием какой бы то ни было судьбы.



Кончена игра... Но означает ли ее прекращение в качестве культурного стиля (в котором рождались, существовали и умирали) также и прекращение судеб людей, когда-то соучаствовавших в ней?

Где эти люди?..

И был ли когда-либо сам игровой стиль? Мог ли он существовать в реальности, в этой странной культуре, по видимому, уже изначально провиденциально-топологически обреченной на межстилевое пребывание? Не является ли весть о нем еще одним спасительным мифом, пытающимся восполнить невозполнимое некогда пространство? Задумаемся, не представляет ли это еще одну попытку игры в "культуру"... в ее молчаливое отсутствие.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М. Худ. лит. 1990.

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. Искусство. 1979.
3. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М. Наука. 1990.
4. Caillois R. Man, play and games. L. 1962.
5. Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж. 1937.
6. Гадамер Х.-Г. Истина и метод (пер. с нем.). М. Прогресс. 1988.
7. Goffman E. Frame analysis. An essay on organization of experience. N. Y. 1974.
8. Гончаров И. А. Обломов. М. Современник. 1985.
9. Hesse H. Das Glasperlenspiel. Aufbau-Verlag. 1977.
10. Huizinga J. Homo ludeus. A study of play-element in culture. Boston. 1955.
11. Lasky M. J. Utopia and revolution. L. 1976.
12. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М. Прогресс. 1990.
13. Zernov N. The Russian Religions Renaissance of the twentieth century. L. 1963.



По поводу нового издания булгаковской "Философии хозяйства"

В издательстве "Наука" в 1990 году вновь издана вышедшая впервые в 1906 году книга С. Н. Булгакова "Философия хозяйства", к которой в качестве приложений добавлены речь Булгакова на докторском диспуте, его статья "Основные проблемы теории прогресса" и "Карл Маркс как религиозный тип", а также заключительная статья В. В. Сапова и А. Ф. Филиппова "Христианская социология" С. Н. Булгакова.

Мастерски подготовленное В. В. Саповым и снабженное им многочисленными ценными комментариями издание вышло тиражом всего лишь в 15.000 экземпляров. Это отнюдь не делает его общедоступным, но все же выпускает из-под замков закрытых хранилищ и открывает возможность поговорить и подумать не только о достоинствах и угрозах свободного рынка, но и о том, *что стоит за рынком.*

Хозяйство, конечно, может быть рыночным, плановым, капиталистическим, феодальным, личным, общественным, всяким. Но книга Булгакова называется "Философия хозяйства" и посвящена не разбору и оценке типов хозяйствования. В ней освещается и значение основных хозяйственных функций, и феноменология хозяйства, и трансцендентный субъект хозяйственной деятельности, и хозяйство как синтез свободы и необходимости, и границы социального детерминизма, и, наконец, экономический материа-

лизм в их философском и социально-политическом разрезе. Ибо все это рассматривается не с позиций экономиста как практического хозяйственника, но с позиций философа, крепко усвоившего характерное для русского философского мышления сознание слитной взаимосвязанности всех элементов мироздания, тютчевского "все во мне, и я во всем" и соловьевского всеединства. Для Булгакова, как и для С. Л. Франка и братьев Трубецких, "не объект полагается в субъекте, как учит субъективный идеализм, и не субъект есть порождение объекта, как учит догматический материализм, утверждая нечто совершенно иррациональное, недомыслимое и в самом абсурдном смысле чудесное, но субъект дан нам лишь во взаимодействии с объектом, субъект - объект: я в мире или в природе, а природа во мне. Потому и самое "я" не есть законченное, неизменное, данное, абстрактное, как в субъективном идеализме... Это изменяющееся отношение между субъектом и объектом, развитие в природе - есть жизнь, т. е. рост, движение, не статика, но динамика. Это живое, действительное хозяйственное "я" и должно быть исходным понятием философии". И несколько ниже: "живой связью между субъектом и объектом, мостом, выводящим "я" в мир реальностей и неразрывно соединяющим его с этим миром, является труд - человеческая актуальность, объективизирующаяся во вне и объективизирующая для нас этот мир" (с. 80-82).

Это утверждение живой связи между субъектом и объектом характерно не только для Булгакова, но и для всей философствующей мысли XX века. В нем легко и просто снимается пресловутый "основной вопрос философии" и открываются новые перспективы философского понимания хозяйствующего человека и его отношений с другими людьми. Уже в предисловии Булгаков пишет: "понять мир как объект трудового хозяйственного воздействия есть очередная задача, к которой одинаково ведет и экономизм, и критицизм, и прагматизм, и мистицизм". Здесь хочется подчеркнуть слова *"трудового хозяйственного*

воздействия", не сводимого к эксплуатации человека человеком или использованию природных ресурсов. Булгаковская "Философия хозяйства" - именно потому, что она философия, - уводит читателя за пределы экономизма, как увела самого Булгакова. Заключительная статья Сапова хорошо показывает, куда именно.

Уже летом 1917 года, в разгар революционных событий, Булгаков принимает участие не в них, а в работе Собора русской православной церкви. В 1918 году он становится священником, а в 1925 на первом съезде РСХД в Париже говорит эмигрантской молодежи: единственно правильная верность своей родине - это жизнь в Церкви... Слова "работать над собой" звучат прописно. И однако это единственный ответ, который можно дать на вопрос "Что делать?".

Русская эмиграция знает о. Сергия Булгакова прежде всего как оригинального православного богослова, автора трилогии "Агнец Божий", "Невеста Агнца" и "Утешитель". За рубежом "Философия хозяйства" была переиздана всего лишь один раз (изд. "Посев", 1968), а сборник "От марксизма к идеализму", насколько мне известно, не переиздавался совсем. В центре внимания о. Сергия была не наука, а вера. И не случайно уже в "Философии хозяйства" на сс. 299-300 мы читаем: "Только она (вера) делает несомненным то, что является сомнительным, как и всякий предмет человеческого знания, только она холодное теоретическое знание согревает жаром сердца и делает основой поведения, не только внешнего, но и внутреннего, не только поступков, но и чувств. Вера устанавливает религиозное отношение к тем истинам, которые являются продуктом знания и мысли, а вместе с тем распространяет область несомненного труда, куда не хватает наука".

*

"Философия хозяйства" вышла в серии "Социологическое наследие", и заключительная статья Сапова и Филипп

пова называется "Христианская социология С. Н. Булгакова". Мне думается, однако, что Сапов только отчасти прав, говоря, что "превратившись в богослова, т. е. перестав быть философом, Булгаков тем не менее остался (и оставался до конца жизни) социологом... И в тот момент, когда... религиозная философия Булгакова растворилась без остатка в религии, религиозная социология как раз и оказалась тем нерастворимым остатком булгаковского мировоззрения, превратившись теперь в "христианскую социологию".

Да, конечно, интерес к социальному поведению человека Булгаков сохранил до конца своих дней, но возможна ли вообще христианская социология? Мне кажется, что это обозначение можно принять лишь условно, и Сапов с основанием берет его в кавычки, подчеркивая таким образом религиозный источник булгаковского мышления. Ибо христианство в социальных отношениях выражается целиком в живой и действенной любви к ближнему, и христианская социология как наука так же невозможна, как невозможна христианская политэкономия или христианское государствоведение, как невозможны и даже немыслимы христианская математика, физика и химия. Мыслимо и задано человеку лишь христианское пользование всякой наукой, ибо возможны и действуют в мире христианская антропология как богословская и христианская этика как философские дисциплины, определяющие отношение христианина к миру, к наукам и к другим людям, согласное с его верой в Иисуса Христа и Его Святое Евангелие.

В "Философии хозяйства" у Булгакова есть глава "О трансцендентальном субъекте хозяйства" (с. 90 сл.), а в этой главе подглавка "Софийность хозяйства" (с. 109 сл.), а несколько ниже, в главе "Природа науки" - подглавка "Софийность науки" (с. 144 сл.). Софиология, которую Булгаков разовьет потом в Париже, уже зарождалась в нем и уже провиделась ему как свежая богословская концепция. И не столько в преодолении марксистского детерминизма и в иногда беглых, а иногда и вполне объясни-

тельно разбросанных мыслях и замечаниях, но как раз в богословском его подходе мне видится главная ценность его писаний, которые уже тогда начинали складываться вокруг его основной интуиции - Софии, Премудрости Божией.

Отсюда сущность хозяйствования (не экономики!), как и его вдохновителю Шеллингу, открывается "как восстановление связи между *natura naturans* и *natura naturata* или разрешение окаменевших и безжизненных продуктов природы в производящие их силы, как организация природы. Путем хозяйства природа опознает себя в человеке" (с. 109).

В этой мысли, перекликаясь с современной ему "Философией общего дела" Н. Ф. Федорова, Булгаков отчасти предвещает современную экологическую проблематику.



Что же касается социологических взглядов Булгакова, то истоки их без сомнения лежат в христианской антропологии и строятся на истолковании Божественного начала в человеке. Для Булгакова человек - это дитя Божие, Его сотрудник в миротворении и соноситель Его творческой мощи. В труде и творчестве человека проявляется софийное начало. Он интегральная часть человечества как единого Тела Христова.

Из этого понимания исходит его протест против социального детерминизма, господствовавшего в его время не только в марксистской среде. На странице 194 читаем: "Социальная наука берет человеческую жизнь не в ее непосредственно-конкретной форме, как она суммируется из отдельных деяний, волевых и творческих актов отдельных индивидов и их индивидуального бытия, и исследует лишь то, что свойственно совокупности индивидов как целому. Все индивидуальное погашается, умирает еще на пороге социальной науки, и туда не доносятся отзвуки непосредственной жизни, оттуда, как из-под колпака, наперед вы-

качан воздух. Индивидуум существует там не как творец жизни и не как микрокосм, но только как социологический атом или клетка. Например, для статистика он есть лишь единица, получающая характеристику от той совокупности, в состав которой она входит, причем она поочередно является потенциальным субъектом то брачности, то смертности, то рождаемости и т. д. и т. д.; для экономиста он есть только "экономический человек" или член данного класса, для "социолога" он есть член данной социальной группы, одним словом, с ним поступают в социальной науке беспощадно и бесцеремонно".

Булгаков не отрицает, конечно, ценности статистических, экономических и социальных исследований. Но он не признает подхода к человеку как к "атому или клетке" и настаивает на том, что "человеческая свобода, как творчество, вносит в социальную жизнь нечто совершенно новое и индивидуальное, что нарушает постулируемое социологией единообразие и всеобщую типичность социальной жизни" (с. 203). А в подглавке "Проблема социальной политики" спрашивает: "Какого рода деятельность соответствует социальной политике, для какого искусства она является техникой? Как явствует из предыдущего изложения, социальная политика имеет свою особую область и свой собственный объект: это действие на совокупности, на социальное тело" (с. 208).



И тут Булгаков останавливается на пороге. Понятие "социального тела" остается у него нераскрытым. А жаль, потому что не только для него, но и для всей современной научной мысли атомистические представления об обществе принадлежат прошлому. Человеческая личность видится все ясней как открытая система, работающая в постоянном взаимодействии с себе подобными, и человеческое общество уже не может рассматриваться как механическая сумма лиц. Становится все очевидней, что народ,

государство, население той или иной территории складывается из множества больших и малых сообществ, ассоциаций, организаций и корпораций самого различного рода, семей, хозяйственных предприятий, союзов единомышленников, благотворительных обществ и т. д.

Человеческое общество по мере своего исторического развития становится всё более плюралистичным и всё более отчетливо осознает этот свой плюралистический характер. Политикам все яснее, что задача управления - связывать между собой не только отдельных граждан, но и, говоря словами Булгакова, совокупности "социального тела", создаваемые этими гражданами общественные союзы и управлять не отдельными гражданами, а их сообществами.

Деление народонаселения на классы, выражающие свои интересы в политических партиях, есть поэтому только первая, крайне несовершенная форма демократии. Общественные союзы любого характера не получили еще в современном демократическом устройстве полноценного права гражданства. Они суть в нем признанный и терпимый факт; они - дееспособные юридические лица. Но определяя социальную структуру индустриального общества, они тем не менее до сих пор лишены правового участия в политическом определении его судеб. Их политическая роль несомненно нуждается в юридическом оформлении, которому, однако, очевидно, должен предшествовать анализ, общие контуры которого можно лишь грубо наметить.

Нужно ли говорить, что сила, скрепляющая то или иное сообщество, это подсказываемая стремлением к деланию общего дела солидарность между его членами. От ее характера, ее интенсивности и ее места во внешней и внутренней жизни каждого данного члена сообщества зависит не только его рост, размах и успех, но и его прочность и способность к преодолению неполадок и кризисов.

Не останавливаясь на рассмотрении стихийной солидарности между родственниками, земляками и единоверцами, как и между людьми, принадлежащими к определен-

ному народу, классу или слою общества, - а именно такого рода совокупности очевидно имеет в виду Булгаков, говоря о "социальных телах", - мы ограничимся здесь лишь беглым взглядом на сообщества, сознательно создаваемые для ясно очерченных интересов и целей.

Почти повсюду такого рода общественные союзы делятся на два вида: на ассоциации, солидаризирующиеся в силу общих материальных интересов, и ассоциации, солидаризирующиеся ради служения той или иной общей цели, не приносящей их членам прямых выгод. К первым следует отнести все экономические объединения, фирмы, акционерные общества и профессиональные союзы, ко вторым - религиозные общины, филантропические и культурные общества, кооперативы, а с определенными оговорками и политические партии. Это деление практически очень удобно и нередко оформляется юридически, поскольку ассоциации, не ставящие себе коммерческих целей, в большинстве демократических государств освобождаются от налогов. Но и в том и в другом случае они солидаризируются вокруг общей цели, общего предмета, общего интереса, материального или духовного. Члены музыкального общества солидарны в силу их общей любви к музыке; члены акционерного общества - в своей заинтересованности в том, чтобы их предприятие приносило доход.

В наше время, когда общество видится как система, включающая в себя множество больших и малых ассоциаций в качестве подсистем, работа с понятием "общей воли" постепенно отодвигается на задний план, уступая место анализу "общих интересов", как того стержня, вокруг которого происходит процесс солидаризации. Целый ряд политологов полагает, что не столько в пределах государства и нации, сколько в пределах ближайшего сообщества - семьи, школы, цеха - люди общаются и солидаризируются друг с другом в силу общего интереса, в стремлении к общим целям. Используя терминологию знаменитого швейцарского психолога К. Г. Юнга, немецкий политолог Кайзер относит в силу этого интересы к "архетипным со-

держаниям человеческого сознания". А в первом томе своей "Истории общественных движений во Франции" фон Штейн говорит, что "интерес, поскольку он составляет центр жизнедеятельности каждого индивида и его отношений к каждому другому индивиду, лежит в основе общественного движения и составляет поэтому основу общества".

Современник Булгакова, американец Артур Бентли уже в 1908 году писал, что "управление заключается в адаптации, в приспособлении друг к другу нескольких солидарных в силу общего интереса групп в определенной охватывающей их группе или системе". Равновесие же может достигаться и достигается путем компромиссов и координации интересов в силу того, что одно и то же лицо с неизбежностью входит одновременно в несколько различных сообществ. Человек не только гражданин определенного государства, не только сын определенного народа, но и член определенной семьи, работает на определенном предприятии, посещает определенный клуб, объединяется с единомышленниками в увлечении определенным строем идей и т. д. Человек выступает в общественной жизни как бы во многих лицах, проявляет себя как "я" в составе целого ряда различных "мы".

*

Но что такое "мы" и как складывается в нем "я" и "не я" в слитное солидарное единство? Ответ на этот вопрос дает, на мой взгляд, крупнейший из русских философов С. Л. Франк, указывая на возможность полноценного солидаристического решения проблем отношения личности и общества, способного вывести общественно-политическую мысль за пределы социального атомизма.

Казалось бы самоочевидную мысль Франка о соотношении "я" и "ты" можно без преувеличения назвать гениальным прозрением. Она - зрелый плод той основной для него интуиции всеединства, которую он вместе с Трубецким,

Флоренским и Булгаковым унаследовал от Владимира Соловьева. Исходя из выраженной в понятии "всеединства" исконной слитности бытия, Франку удалось преодолеть известное всем, кто сколько-нибудь знаком с гносеологической проблематикой, противостояние субъекта и объекта, "я" и "не я", усмотрением, что есть еще и "ты", что подлинный коррелят "я" вовсе не безличное "не я" или "он", а "ты", не мертвый и слепой объект, а такой же субъект как сам "я".

Законченный, философски безупречный анализ этого положения изложен Франком в вышедшей в 1939 году книге "Непостижимое" (гл. VI посвящена ему полностью).

Изложение концепции Франка, однако, - задача отдельной работы, и здесь нам придется ограничиться лишь тремя цитатами из другой более популярной книги Франка "Духовные основы общества" в надежде уяснить хотя бы его исходную мысль.

Вот эти цитаты.

1. "В сущности загадка "чужого сознания", как она ставится в гносеологии, есть загадка объекта, того, что грамматически выражается в понятии "он", "чужое сознание", о котором идет здесь речь, есть просто объект познания. Но в о б щ е н и и "чужое сознание" или, как обыкновенно говорится в философии, "другое я" есть для меня не просто о б ъ е к т, который я познаю и воспринимаю, но вместе с тем и с у б ъ е к т, который меня воспринимает. В общении другое сознание есть для меня то, что грамматически выражается как "ты", как в т о р о е лицо личного местоимения. Но что такое есть это "ты", если анализировать его абстрактно-гносеологически? Это есть так же "чужое сознание", которое я воспринимаю как воспринимающее меня..."

2. "... "мы" совсем не есть просто м н о ж е с т в е н н о е ч и с л о от "я" (как этому учит обычная грамматика), простая совокупность многих "я". В своем основном и первичном смысле "я" вообще не имеет и не может иметь множественного числа, оно единственно и неповто-

римо... Поэтому "мы" есть и множественное число, как *единство первого и второго лица*, как единство "я" и "ты" ("вы"). В этом - замечательная особенность категории "мы". Вечная противопоставленность "я" и "ты", которые, каждое само по себе и в отдельности никогда не могут поменяться местами или охватить одно другое... преодолеваются в единстве "мы", которое есть именно единство категориально *разнородного* личного бытия "я" и "ты".

3. "... "мы" есть, следовательно, некая первичная категория личного, человеческого, а потому и социального бытия. Сколь бы существенно ни было для бытия разделение на "я" и "ты" или на "я" и "они", это разделение возможно лишь на основе высшего объемлющего его единства "мы". Это единство есть не только единство, *п р о т и в о с т о я щ е е* множеству и разделению, но есть, прежде всего, единство самой множественности, единство всего раздельного и противоборствующего - единство, вне которого немыслимо никакое человеческое разделение, никакая множественность. И даже когда я сознаю полную чуждость мне какого-нибудь человека или стою в отношении разъединения и вражды к нему, я сознаю, что "мы с ним" чужие или враги, то есть я утверждаю свое единство с ним в самом разделении, в самой враждебности...

...Социальная общественная жизнь не есть, таким образом, какая-либо чисто внешняя из утилитарных соображений объяснимая форма человеческой жизни. То, что человеческая жизнь во всех ее областях, - начиная с семьи и экономического сотрудничества и кончая высшими духовными ее функциями - научной, художественной, религиозной, - имеет форму *о б щ е с т в е н н о й* жизни, совместного бытия или содружества, - это есть необходимая и имманентная выражение глубочайшего онтологического всеединства, лежащего в основе человеческого бытия. Не потому человек живет в обществе, что многие отдельные люди "соединяются" между собой, находя такой способ жизни более удобным для себя, а потому, что человек по

самому существу своему немислим иначе, как в качестве члена общества - подобно тому, как лист может быть только листом целого дерева, или, как по справедливому слову старого Аристотеля, рука или нога могут вообще быть только в составе целого тела в качестве его органа...

...Общество есть, таким образом, подлинная целостная реальность, а не произвольное объединение отдельных индивидов; более того, оно есть единственная реальность, в которой нам конкретно дан человек. Изолированно мыслимый индивид есть лишь абстракция; лишь в соборном бытии, в единстве общества подлинно реально то, что мы называем человеком".

В своей "Философии хозяйства" Булгаков, следуя уже не за Марксом, а за Соловьевым, преодолел индивидуалистический атомизм в понимании общества. В своем понятии "социального тела" он вплотную подошел к проблематике, которой занята современная солидаристическая мысль, усматривающая в солидарности начало, скрепляющее воедино это тело как таковое и связывающая его с другими социальными (или, если хотите, "соборными") телами.

Многое об этом можно найти в современной (бывшей "буржуазной") социологии, доступ к которой наконец-то открылся в нашей стране. И если статья доктора Андреевой "О соотношении микро- и макросоциологии" в "Вопросах философии" в 1970 году была исключением, и советские социологи могли в лучшем случае заниматься лишь эмпирическими исследованиями, то теперь пришло время, когда занятие микросоциологией и подсказываемыми ею политическими выводами стоит на повестке дня.

Верный же ключ к анализу как больших, так и малых человеческих объединений дает, мне кажется, С. Л. Франк, раскрывая отношение "я" и "ты" и показывая таким образом, что не только я живу в обществе, но и общество живет во мне, а, иначе говоря, что *по бытию общество столь же первично, как и личность*.

В ожившем зеркале Горнона *

Первый номер журнала "Лабиринт/Эксцентр", задуманного как совместное детище ленинградских и свердловских авторов, — это журнал "интеллектуалов для интеллектуалов", так по крайней мере описывается он в газете "Книжное обозрение". Вместе с тем обращает на себя внимание сочетание авангардистской запальчивости с некоторой общей провинциальностью сознания (я, понятно, имею в виду не географию). Последнее само по себе не дурно, в культурной провинциальности есть и очень привлекательные черты, в первую очередь — интенсивность и острота переживания, позволяющие обнаружить что-то новое в уже поднадоевшей проблематике. Но это — общие впечатления. Для того, чтобы перейти к более конкретному разговору, надо выделить ядро журнала, вынеся за скобки, во-первых, публикации и, во-вторых, авторов-как бы-гостей, не нарушающих в общем-то построения этого лабиринта, но могущих вписаться и в любой другой.

Что касается гостей, то драма для мультфильма "Гаденыш" Владлена Гаврильчика, а также и предваряющая ее заметка Владимира Уфлянда прелестны своей действительно мультипликационной незамысловатостью. Хорош также и Борис Гройс. Но, повторяю, не они создают лицо журнала.

Раздел же публикаций в новообразованных журналах и альманахах меня вообще несколько удивляет: казалось бы, организаторы сталкиваются с бесчисленными сложностями, с катастрофической недоставаемостью и дороговизной бумаги, так зачем же им, чья цель — представление своих авторов, часто не имеющих другого пути на печатные страницы, тратить эти страницы на перепечатывание давно уже изданного? Единственный реальный ответ — из подражания официальным советским толстым журналам. Я предвижу возражения о необходимости культурного контекста, о недоступности

* Лабиринт/Эксцентр. Современное творчество и культура. Литературно-художественный журнал, № 1. Ленинград-Свердловск. — 1991.

некоторых материалов широкому читателю, но, если помните, читатель-то у нас интеллектуальный, а он, считается, способен восстановить культурный контекст по отбору современного материала. А в данном случае сделать это было бы совсем просто, благодаря большому количеству статей в журнале. Например, публикацию письма Константина Леонтьева предваряют статьи Вячеслава Кондратовича с несколько запоздалыми разоблачениями позитивизма, которые вполне могли бы существовать и сами по себе, тем более, что текст Леонтьева кажется лишь поводом к ним. То же самое можно сказать и о статье "Система Арто", вполне содержательной, предваряющей публикацию Антонена Арто.

Странное чувство вызывает статья Бориса Констриктора "Дышала ночь восторгом самиздата". С одной стороны, она интересна как добросовестная попытка дать краткий обзор истории Ленинградского самиздата. Но с другой стороны, приводит в отчаянье в который раз торжествующий пафос всеобщего равенства. Дело в том, что бытование неофициальной литературы было трагично вдвойне. О первом плане этой трагичности говорят все: писателей лишали возможности быть "п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и" писателями: выступать, публиковаться, иметь литературный заработок. Второй план, о котором как раз и умалчивают, это ситуация, при которой все, кому недоступны официальные литературные площадки, оказывались одинаково гениальными, что по существу лишало эту неофициальную литературу структуры, упорядоченности. Мне кажется, это в неменьшей степени было причиной многих изломанных судеб, чем гонения со стороны властей. Как ни парадоксально, от этого пострадали не столько лучшие, уравненные с худшими, сколько наоборот. Десятки, если не сотни людей годами занимались не своим делом, тем, к чему они были категорически не призваны, жертвуя всем и получая взамен иллюзию литературного равноправия, и все же ловя за хвост любую э к с ц е н т р и ч н у ю теорию, чтобы хоть как-то из этого равенства вырваться. Особенно трогательно в этом смысле замечание Констриктора о журнале "Грааль", который снискал себе славу какой-то "графоманской трибуны": "Принцип всеобщности, равноправия эстетических программ не оправдал себя, об этом было объявлено... в последнем выпуске журнала".

Общая беда всех журналов и альманахов - недостаток прозы. Однако первому выпуску "Лабиринт/Эксцентра" повезло: есть очень интересный эпистолярный материал. Это "Письма из Америки" В. Козловского. Эти письма очень колоритны, этнографичны, они описывают Америку глазами

эмигранта из России, наблюдательного, остроумного, бедного. С изумлением мы обнаруживаем под этим материалом знакомую по прошлым временам сноску "Печатается без ведома автора". Уж не опасается ли редакция, что у В. Козловского будут неприятности с ЦРУ?

В этом не слишком сложном лабиринте удивляет, что при большом количестве рассуждений о поэзии собственно поэзия представлена лишь двумя авторами: Владимиром Строчковым с довольно забавной поэмой "Болезнь Р. Хронический склероз", которую я с удовольствием рекомендую читателю, любящему, чтобы его развлекали на манер Пригова, и Александром Горноном, кстати редактором первого номера журнала. Если читать этот журнал подряд, о приближении страницы № 98 вы начинаете смутно догадываться задолго до того, как ее откроете. Сначала скромные упоминания в статьях. Потом более пристальное внимание к этому имени в проблемной статье Абрама Юсфина, о которой необходимо еще поговорить особо. Наконец, непосредственно Горнону посвященная заметка Бориса Шифрина: "Слово у Горнона скрывает в себе несколько слов и в момент произнесения двоится, троится - и вдруг превращается в другое, в целый пучок... Но, превращенное, слово не забывает себя прежнее - отсюда и образ гибрида, кентавра, сиамских близнецов... В ожившем зеркале Горнона... возникают вдруг странные химерические фигуры, нездешние существа... пришельцы из возможных миров языка..." А вот Горнон: "Скрип-пенье слов-паром-о-плот, / и целина как цель-ина-че, / ориентирует /о-болт-усов-ременьной передачи". Вот эти нехитрые каламбуры и занимают почти центральное место в журнале.

Но давайте вернемся к статье Юсфина. Почтенный музыковед вторгается в судя по всему не очень-то знакомую ему область, внося в нее чисто музыковедческие элементы. В статье "Невидимая часть айсберга" он ставит проблему нефиксируемой части поэтического текста. Интонационная мелодика языка является, по Юсфину, неотъемлемой частью смыслового поля поэзии, которую читатель может воспринять лишь с подачи авторского голоса. Проблема состоит в том, что надо найти способ графической записи, адекватно передающей "самобытную ритмику" (курсив Юсфина. - О. М.), вовсе не непременно адекватную ритмическим схемам слогов... и тембовую атмосферу стиха, которая нередко совершенно неотделима (курсив Юсфина. - О. М.) от автора, характер голоса которого *включен* (как уже упоминавшиеся выше И. Бродский, А. Горнон или Б. Куприянов) в смысл читаемого им стиха". И далее: "Здесь есть над чем подумать, а думать

надо". Повторяю, применительно к музыкальному произведению такая проблема может быть поставлена, хотя ее правомерность и не очевидна, действительно, если бы Моцарт услышал, как его исполняет наш современник, он, возможно, пришел бы в ужас. Но что касается поэзии, то, приняв позицию Юсфина, мы поэзию просто уничтожим. Ибо, если и есть что-нибудь в поэзии, что безошибочно указывает на ее качество, так это именно звук, звучание, которое заложено в поэтическом тексте и остается совершенным или наоборот бездыханным, независимо от того, как мы произносим. И в любом исполнении, кроме, по Юсфину, авторского, стихи Бродского несут в себе этот прекрасный звук, а стихи Горнона, мне кажется, нет. Придумать такой способ записи, который позволит с авторской любовью озвучить незвучащее — значит уничтожить единственно применимый к поэзии критерий качества. Слава Богу, это невозможно.

Завершает первый номер "Лабиринт/Эксцентра" материал замечательный — подборка граффити, надписей на стенах, из собрания Найджелла Риза (перевод с англ. С. Хренова). Вот один из образчиков этого современного фольклора, вполне способный иллюстрировать состояние современной культуры: "Мы — те люди, о которых предупреждали нас родители".

Ольга Мартынова

"Время в драгоценное вино превращает сок воспоминаний..."*

Для читателя, не имевшего возможности подробно следить за эмигрантской литературой, эта книга станет первой встречей с творчеством Марии Волковой и даст о нем достаточно полное представление, что и определяет "историко-литературное" значение этой книги.

Мария Волкова родилась в 1902 году в семье казачьего генерала В. А. Волкова. Семья много ездила, следуя за полком, которым командовал отец. В годы революции Волковы жили в Сибири. Когда Сибирь заняли красные войска, гене-

* Мария Волкова. Стихотворения. Под редакцией Элизабет Добрингер и Барбары Штайн. Издательство Петер Д. Штайн. Мюнхен, 1991.

рал Волков застрелился. Мария и ее муж Александр Эйхельберг добрались до Литвы, с которой начались их эмигрантские скитания. Сборники стихотворений Марии Волковой вышли в 1934 и в 1944 годах. Она много публиковалась в русской зарубежной периодике. Мария Вячеславовна умерла в 1983 году. Перед смертью она составила книгу "Стихотворения".

Книга содержит шесть разделов, собранных так, чтобы создалось впечатление бесед: о прошлом, о родине, о друзьях, о времени, об окружающем мире... А сдержанная стиховая интонация, сами темы стихотворений, простая и ненамеченная их искренность лишь подтверждают это впечатление. Можно сказать, что эта книга – род "человеческого документа", отражающего и историю души автора, и судьбу его поколения.

"Время в драгоценное вино / Превращает сок воспоминаний" – эти строки очерчивают один из тематических пластов книги: пристальный взгляд в прошедшее, причем не столько в события своей собственной жизни, сколько в то, что эту жизнь окружало, ей сопутствовало. Цикл "Стихи о Сибири" рассказывает и о счастливом детстве, и об утрате любимой земли, но в первую очередь – о самой этой земле, рассказывает любовно и тщательно:

Ни жужжання, ни птичьего крика.
Божий мир и спокоен и прост.
Вкруг меня расползлась повилика
Сотней маленьких розовых звезд.

Другой мотив – размышление, поиск душевного покоя среди страшной реальности:

Но быть может всего важней
Просто бренность свою принять,
Понемногу слюбиться с ней
Не согнуться и устоять!

Вообще же книга биографична не в том смысле, что она рассказывает о фактах биографии автора, – скорее она повествует о впечатлениях и мыслях, ими вызванных. Хотя нельзя не отметить трогательные поэтические рассказы о детстве, особенно об отце:

Когда с неба сбегали последние краски,
Опускаясь в вечерний провал,
Мой отец мне рассказывать сказки

Начинал.

На широкой тахте я сидела с ногами,

Опершись на мутак.

Папиросный дымок уходил завитками

В полумрак.

Надо думать, эта книга (если говорить не только о специалистах) найдет благодарный отклик и у читателя, в первую очередь из тех, кто ценит в стихах не столько искусство поэзии, сколько возможность открыть для себя чужую жизнь, чувства другого человека, стать как бы участником его размышлений. Что касается первого аспекта, то стиховое качество этой скромной, но вполне добротной в лучших образцах поэзии, показывает скорее не индивидуальное, а общее — некое коллективное качество поэтов первой волны русской эмиграции. Это, кстати, демонстрирует, что эмигрантская поэзия помимо своих вершин, с которыми нынче все уже достаточно хорошо знакомы, имела и вполне высокий средний уровень.

Есть еще один момент, которого хотелось бы коснуться в связи с изданием этой книжки: ее выход дает некоторую надежду, что зарубежное книгоиздательство продолжается.

Действительно, в последние годы, когда многие эмигрантские журналы начали использовать советскую полиграфическую базу, когда сократилось число новых книг, когда такое издательство, как "Ардис", заявило, что вообще почти прекращает издавать книги на русском языке, так как с "перестройкой и гласностью" в этом отпала необходимость, показалось, что годами создававшаяся традиция русской печати за рубежом будет разрушена и забыта. И при том, что советские книжные и журнальные структуры тоже на наших глазах разрушаются и видоизменяются, это, мне кажется, приводит к довольно печальным последствиям для литературного процесса уже без разделения его на эмигрантский и внутрироссийский. Зарубежное книгоиздание необходимо как "запасной вариант", "резервный путь". Поэтому радуется, что всё-таки издаются книги, особенно такие, представляющие малоизвестного и давно не издававшегося автора (замечу в скобках, что книга издана великолепно с полиграфической точки зрения), свидетельствующие, что литература и история литературы еще кого-то бескорыстно заботят.

Ольга Мартынова

Книга, родившаяся из оглавления

Можно смотреть на литературу как на социальный процесс, а можно – как на культурный. В первом случае преимущественный интерес сосредотачивается на авторах, а во втором – на сочинениях. Пожалуй, существуй такая возможность, представители первого взгляда на вещи могли бы ограничить свою издательскую деятельность одними титульными листами, а в случае журналов и альманахов – еще и оглавлениями. Но надо соблюдать условности. И выходят книги – приложениями к собственным оглавлениям.

Судя по всему, именно к этому направлению мысли относятся издатели альманаха "Петрополь"*¹, третий выпуск которого заинтересовал меня отчетливостью результатов, протекающих из вышеописанного подхода. Альманах вполне ясно отражает представление о "высшем свете" современной литературы, таким, каким оно, это представление, сложилось в поколении ленинградских писателей, начинавших прохождение своего поприща в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов. Поколение это к концу шестидесятых разошлось на две ветви – официальную и котельно-эмигрантскую, а теперь, в перестроечные и постперестроечные времена снова объединилась (или считает нужным показывать, что объединилась). Впрочем, непосредственные хлопоты по изданию "Петрополя" предпринимаются, сколько можно судить, людьми гораздо более молодыми, во главе с составителем Николаем Якимчуком, принявшими эту "табель о рангах" за аксиому и намеревающимися, вероятно, построить на этой аксиоме доказательства своих биографий.

Как известно, одна аксиома ничем не хуже другой, любое представление о мире равно всякому прочему, но каковы же конкретные результаты применительно к нашему случаю? Первостепенные имена представлены преимущественно текстами для себя маргинальными – или в смысле жанра или в смысле качества, а имена, скажем так, не первостепенные – сочинениями более важными для их авторов, что в бытовом хотя бы плане совершенно естественно. Однако такая ситуация, если и несколько страдательна для читателя, то крайне выгодна для исследователя, поскольку крупный писатель,

* Петрополь-3, альманах. Л.: Союз кинематографистов СССР, "Аквилон", 1991 г. Гл. редактор и составитель Николай Якимчук.

как правило, больше говорит о себе, своей личности, персональной истории в маргинальных сочинениях, ведь большая литература оттого и большая, что перешагнула через уровень личности автора. Писатель же второстепенный лучше виден как раз у себя, так как уровень собственной личности – это и есть то, к чему он вечно и, чаще всего, безуспешно стремится. Бывает – очень редко – литература, адекватная авторской личности, и с нее-то – с повести покойного Сергея Довлатова "Лишний" – начинается третий выпуск альманаха "Петрополь". Точнее, начинается он с вступительной заметки критика Андрея Арьева, где тот старается натянуть легкую прозу Довлатова, о природе которой автор сам хорошо знал и не хуже писал, на барабанный каркас советского представления о с е р ь е з е, взятого, как ни крути, все-таки из школьного учебника для девятого класса. Венчается "врезка" не слишком ловким сожалением, что Довлатов оказался при жизни: "не нужным, лишним в ленинградской культуре". Очевидно, для критика культура – это Союз писателей и передние ленинградских редакций: деятельность людей, а не жизнь текстов, о чем я уже и говорил. Сама повесть, впрочем, вполне недурна.

Но это часть, так сказать, мемориальная. А дальше следует очень интересная двоица: Иосиф Бродский с эссе "Путешествие в Стамбул" и Лев Гумилев со стихотворной пьесой "Посещение Асмодея". Природный сын Анны Ахматовой и ее сын, по общеупотребительному мифу, литературный совершают на наших глазах рокировку – каждый в область другого. Эссе Бродского полно историко-географических экскурсов, вроде: "Невесть откуда возникли турки. Откуда они появились, ответ на это не очень внятен; ясно, что весьма издалека", – живо напоминающих залихватские пассажи автора пассионарной теории. Однако же проза, на мой личный вкус, довольно слаба – с поддержанными шутками, безвоздушными фразами, с какой-то принудительной начитанностью в местном колорите, что приятно было бы отнести на счет неназванного переводчика, если бы не содержательная часть, за исключением описаний природы, весьма далекая от стихотворной мощи нобелевского лауреата. Но, конечно, стихи Льва Гумилева, даже при скидке на время и место сочинения (Норильск, 1942), гораздо хуже прозы Иосифа Бродского. Одно дело было сочинять этот образчик версификационного банала: "Мне кажется, что нет иного счастья / Чем помнить Город юности моей", и вообще любительское стихотворство – род терапии, но совершенно непонятно, зачем и самому профессору, и составителю понадобилось опубликовать это сочинение,

если только (второго из них) не сыграла свою роль охота за строчками для главного текста – оглавления.

Далее – Андрей Битов, эссе "Из цикла "Битва", где на полном серьезе высказываются такие, например, оригинальные соображения: "Язык – тот же океан". Ниже оказывается, что слово "Маяковский" есть, а слова "Заболоцкий" – нет, а "Горький стало словом еще и потому, что с маленькой буквы он тоже слово". Тихо удивляет банальность лингвистической философии маститого беллетриста, на фоне если не Наума Хомского, то хотя бы Корнея Чуковского, в книге "От двух до пяти". Вообще, как ни странно, все виды банала царствуют в нашем великосветском альманахе – и у львов и у дебютантов: от тривиальных аллитераций Владимира Микушевича ("Чертова челядь, чей червь – чревобесие"), от автоматического демонизма Виктора Сосноры ("Нужно найти черного пса, на днях он лаял, его нужно взять и ножом отрезать от мира") – до нечаянной пародии Якова Гордина на тыняновских "Архаистов и новаторов" (сравнение поэзий графа Хвостова и председателя Хлебникова, составленное по всем правилам построения школьных сочинений), до не совсем очаровательных трюизмов Александра Кушнера ("Неужто отчество от имени Тигран / Должно быть в паспорте Тигранович? Нелепость..." и – стихотворение венчается мудрым, хотя несколько бесполезным политически-педагогическим советом: "Смотри: мы разные. Опасен долгий путь. / Всех, всех любить должна, любого к изголовью / Пускать, усаживать, просить: всё, всю забудь. / Хвалить, привязывать не страхом, а любовью". Над прутковским апломбом, блистательно интонированным за последние два десятилетия навязшими уже в зубах однородными членами – даже и смеяться неловко.)

Но это всё, так сказать, "сливки", имена, какими ленинградская литература, по счастливому выражению того же Якова Гордина (в одном из давних телеинтервью) вошла в "мировую литературу". Что же брезжит дальше? Стихи Виктора Топорова, выясняющего средствами грубой иронии и не менее грубого пафоса отношения с литературными приятелями юности – занимательные, по всей очевидности, лишь для непосредственных участников описываемых происшествий: "Один затаил обиду / за то, что его к ногтю, / другой превратился в гниду... – и далее: Четвертый ловил женщин... Пятый любил вещи проворовать тайком..." Славная компания, не правда ли? Персонажи рассказа Николая Якимчука "Из жизни бичей" – тоже люди малосимпатичные, но само качество прозы Якимчука, так же как прозы Александра Малюгина или стихов Михаила Крепса – вполне нормальное, даже в

сущности, филологически добротное. Единственно что – как-то это всё уже кем-то... "Я вернусь туда, где жевал пельмень, / где над чаем плыл голубой пэл-мэл / и кошастью лесенку на твоём этаже / Превращу я в песенку, е.б.ж.". Это Михаил Крепс, имитирующий Иосифа Бродского – в данном случае виртуозно, но зачем?

Однако есть в третьем "Петрополе" публикация, плохо вписанная в общую структуру альманаха, зато имеющая собственную структуру, которая косвенно поясняет процессы, происходящие в ментальности советского писателя. Это большая подборка – или маленькая книга – стихотворений Вениамина Блаженного с трогательной вступительной заметкой, выбранной из личного письма Арсения Тарковского. Собственно, заметка эта ничего не доказывает, кроме того, что покойный поэт хорошо относился к стихам Блаженного, но он хорошо относился и к разным другим стихам, так что смысл ее – скорее всего просто в лишнем имени для оглавления...

Ну что ж, если разобраться в хронологии, вычленяется горькая история действительно очень талантливого человека. Полнота жизни, полнота звука, объемность и нервность ранних стихов (таких, например, замечательных: "Мертвая мама едет в карете, / Папа в парадном сидит сюртуке. / Мертвые дети, мы все еще дети / Где-то в забытом былом далеке...") постепенно сменяется приросшей, неподвижной маской *блаженного*, однозначностью "воцерковления", бессознательной – поскольку честной и безоглядной – стилизованностью: "И еще потому, что стезя меня мучит Христова, / Разыщите меня – нищесброда, слепца, старика". Стихи – неплохие, но не лучше всякой другой многочисленной церковной лирики, засушившей – возьму на себя ответственность за это слово – в последние двадцать лет многие даровани, такое, например, крупное, как у Станислава Красовицкого (обратитесь к его сравнительно недавней подборке в "Русской мысли"). Вениамин Блаженный, к несчастью, не стал и не станет русским Верленом, у которого акафисты следовали за кошунствами, и предельная подлинность и тех и других создавала предельное напряжение между полюсами. Дело не в религиозности как таковой. На ее месте могла быть антирелигиозность, – дело тут в советском сознании, неспособном как без некоего наркотика существовать без великой ли, малой ли дозы впитанного с молоком матери догматизма, вне зависимости от предмета, к которому он применяется. При всей особости судьбы Вениамина Блаженного пострадало его дарование от общего искусства – искусства готовой формулой, искусства внутренним спо-

койствием, искусства единственно правильным мировоззрением – не тогдашним официальным, конечно, а другим – религиозным, например, или лингвистическим – не важно каким, лишь бы правильным, дающим опору для все более автоматического письма и все более ужесточающейся картины мира.

Олег Юрьев

”Право писать правду”

(Монография о Василии Гроссмане)

”Дело в праве писать правду, выстраданную и вызревшую на протяжении долгих лет жизни”.

В. Гроссман

После смерти Василия Гроссмана минуло более четверти века. За эти годы на родине писателя появилась о нем лишь книга Анатолия Бочарова (1970 г.)¹. Бочаров был едва ли не единственным, кто после ареста романа *”Жизнь и судьба”* отважился писать об авторе репрессированного произведения, имя которого старались предать забвению. Поэтому, – говорит Бочаров теперь, – *”о многом пришлось сказать не в полную силу, как бы реабилитируя опального художника”*². Цель была благородной – открыть дорогу к читателю хоть некоторым вещам Гроссмана. Средства же применялись обычные: его подлинный облик искажался, он приобщался к числу правоверных советских писателей.

И вот теперь, когда, казалось бы, обретено *”право писать правду”*, Бочаров опубликовал новую монографию, где речь идет уже и о романе *”Жизнь и судьба”*, и о повести *”Всё течет...”* (*”Василий Гроссман. Жизнь. Творчество. Судьба”*. Москва, *”Советский писатель”*, 1990).

Много лет изучал Бочаров творчество Гроссмана. В распоряжении исследователя оказался архив писателя (переписка, дневники, записные книжки и т. д.); в монографии цитируются критические статьи, помещенные не только в известных, но и в ныне забытых газетах и журналах тридцатых-сороковых годов. Творчество Гроссмана рассматривается на широ-

ком литературном фоне, проводятся интересные параллели (например, с Андреем Платоновым). Бочаров сообщает ряд прежде не известных фактов, сопоставляет рукописные тексты с подцензурными, опирается на новые документы, которые публикует впервые.

Ценный материал содержат как главы, названные "Пунктир биографии", так и главы аналитического характера. Читатель найдет в монографии интересные наблюдения над "малой прозой" Гроссмана, над его особой творческой манерой. Бочаров прослеживает, как уже в некоторых ранних вещах "появлялись те трещины, которые станут расходиться все шире" (102). Вместе с тем, исследователь показывает, что Гроссман далеко не сразу отошел от "прописей метода социалистического реализма /.../ Такие мастера, как Твардовский и Гроссман, проделали громадную внутреннюю работу, чтобы преодолеть свинцовую тяжесть этих прописей" (103).

Наиболее удачной представляется последняя глава, где содержится анализ поздних произведений Гроссмана, в том числе - повести "Всё течет...". Отбросив привычные табу, Бочаров порою смело вступает в прежде запретную область правды, раскрывая трагедию затравленного художника. О смерти Гроссмана сказано кратко, но на редкость сильно.

Бочаров, безусловно, сделал значительный вклад в изучение Гроссмана. И монография его могла бы стать для будущих исследователей писателя настольной, если бы не серьезные недостатки, снижающие ее ценность.

Прежде всего бросается в глаза отсутствие научного аппарата: в книге нет ни указателей, ни примечаний. Более того. За редким исключением, отсутствуют даже ссылки на источники. Цитаты из документов, которые хранятся в архивах и публикуются впервые, обычно даются без каких-либо сносок. Есть и исключения, например, на стр. 72 цитируется письмо Гроссмана С. Гехту и в сноске указано: "ЦГАЛИ, ф. 2880, оп. I, ед. хр. 35". Все, как положено. Но это - редкий случай, лишь подчеркивающий непоследовательность или небрежность как автора книги, так и ее издателей. Ведь в других местах приводятся выдержки из писем В. Овечкина, А. Твардовского (194), Ф. Вигдоровой (358), Ю. Капусто (312) и прочих лиц без всяких ссылок на архив или на место их публикации.

Перечисляя статьи о романе "Жизнь и судьба", Бочаров сообщает, где они напечатаны, но не указывает ни года, ни номера журналов. Столь же небрежен исследователь, говоря о произведениях Гроссмана. А ведь до сих пор нет собрания его сочинений, многое рассыпано по периодическим изданиям

разных лет, поэтому особенно нужны точные библиографические данные. Бочаров же пишет в таком роде: "Записные книжки Гроссмана, недавно изданные..." (108). Где? Когда? Не сказано. На стр. 325 упомянуты посмертные публикации (сборник "Добро вам!", несколько рассказов, две подборки из фронтовых записных книжек), но без всяких указаний на время и место этих публикаций. Иной раз место называется, но других данных нет (341), или указано время, но нет ссылок на место (349).

Приводя цитаты из романов "За правое дело" и "Жизнь и судьба", Бочаров не говорит, каким изданием он пользуется. Между тем, в разных изданиях этих произведений есть серьезные расхождения. Так, резко отличаются одно от другого первое и последние прижизненные издания "За правое дело"; есть разночтения и в изданиях "Жизни и судьбы" 1988 и 1990 гг.

Характерен такой случай. Бочаров впервые сообщает интересный факт: в рукописи, сданной 2 августа 1949 г. в "Новый мир", роман "За правое дело" назывался "Простые люди"³. Откуда это стало известно Бочарову? Слышал ли он о первоначальном названии романа из чьих-то уст? видел ли рукопись? где она хранится: в архиве писателя или в архиве "Нового мира"? Такие и им подобные вопросы, возникающие при чтении монографии, повисают в воздухе. Читать ее интересно, но пользоваться этой книгой в качестве полноценного научного источника — невозможно.

Как ни серьезны указанные недостатки, на мой взгляд, гораздо хуже другое: в монографии дает себя знать застарелая болезнь, имя которой — осторожность, и отчетливо проступает прежнее стремление "реабилитировать" Гроссмана. Не потому ли глава, которая должна быть центральной, ибо в ней идет речь о "Жизни и судьбе", получилась самой неудачной?

Как и некоторые другие критики⁴, Бочаров считает, что "За правое дело" и "Жизнь и судьба" представляют собой целостную дилогию, обе части которой объединены едва ли не по всем параметрам. Их связывают якобы не только некоторые сюжетные линии, но и "бесспорное единство многих воззрений" (197), и единый художественный метод (140).

О различии обоих романов убедительно говорится в работе Шимона Маркиша "Подвиг Василия Гроссмана"⁵. Я также писала о глубинном, принципиальном различии, которое заставляет усомниться в правомерности самого термина "дилогия" применительно к этим романам⁶. Бочаров же настолько их сближает, что часто приводит из них цитаты, не

указывая, откуда взяты слова – из Первой или из Второй книги.

Причем критик извлекает из Первой лишь то лучшее, что в ней есть, игнорируя десятки слабых страниц и высказываний в правоверном духе. Но даже эти вырванные из контекста лучшие страницы не идут ни в какое сравнение со Второй книгой. Так, изображение обороны вокзала и гибели батальона Филяшкина – самое сильное место в романе "За правое дело" – звучит совсем в ином ключе, нежели, скажем, изображение обороны дома "шесть дробь один" в романе "Жизнь и судьба". Филяшкин и его бойцы гибнут за социалистическую родину; Греков и его бойцы мечтают освободиться не только от фашистских захватчиков, но и от советской "принудилочки". Настроение, общий вольный дух, который царит в доме "шесть дробь один", не имеют ничего общего с "советским патриотизмом" героев обороны вокзала.

Игнорируя тот очевидный факт, что в "Жизни и судьбе" резко меняется угол зрения, меняется общий пафос романа, его фактура, Бочаров говорит об обоих произведениях: "...диалогия "Жизнь и судьба" велика /.../ по своей историко-философской концепции и совершенна по художественному исполнению" (206); "...диалогия "Жизнь и судьба" – самое мудрое произведение о Великой Отечественной войне" (13).

Откуда взялось это общее для разных романов заглавие? Бочаров утверждает, якобы сам Гроссман так хотел их называть. Но ссылка на волю автора не подкрепляется никакими данными. Где высказывал писатель подобное намерение? На каком этапе своей работы? Не связано ли это общее название (если, действительно, предполагалось его дать) с неосуществленным намерением Гроссмана переделать Первую книгу по окончании Второй и в духе Второй? (Об этом он говорил в письме в Секретариат ССП от 28 февраля 1953 г.) Но само утверждение Бочарова вызывает сомнение, поскольку отсутствуют какие-либо ссылки на его источник. Между тем, начиная с предисловия и на протяжении всей монографии, Бочаров пользуется именно этим заглавием как авторским. Почему – неизвестно!

Приведя "За правое дело" и "Жизнь и судьбу" к одному знаменателю, автор монографии крайне упрощает историко-софский смысл Главной книги Гроссмана. Говорится о противопоставлении аморальных нацистов дружной семье советских людей (а ведь Гетманов, Неудобнов, Осипов, Квашенко и многие другие персонажи – тоже советские, даже архисоветские люди!). Звучат общие слова о "народоцентризме", присутствующем писателю, о том, что он провозглашает решающую роль

народа в исторических событиях (228–229). Но кто же из советских писателей не говорил об этом?! Станными кажутся слова Бочарова, будто Гроссман делает тут какое-то открытие. Если подобные трюизмы, действительно, содержатся в Первой книге, то философская концепция Второй уж никак к ним не сводится.

Вместе с тем, к Первой книге не относится следующий вывод, к которому якобы пришел писатель: "Народ победил, но во главе народа был тиран" (233). В романе "За правое дело" нет и не могло быть образа Сталина-тирана. Впрочем, столь упрощенный вывод отсутствует в "Жизни и судьбе". Гроссман не сводит общенародную трагедию к личности Сталина. Как и в повести "Все течет...", в романе сталкиваются иные силы: народ, человеческая личность, свобода – государство, партия, насилие. И если в Первой книге противопоставлены друг другу фашизм и свободный, счастливый советский народ, то во Второй расстановка сил куда сложнее: народу враждебны как германский, так и советский вариант фашизма, не один лишь тиран Сталин, а государственный строй большевистской державы. Ничего даже отдаленно похожего нет в романе "За правое дело".

Не стану повторять аргументов, которые содержатся в названных выше работе Шимона Маркиша "Подвиг Василия Гроссмана" и в моей статье "Два романа Василия Гроссмана". Сошлюсь лишь на суждение о "Жизни и судьбе" большевистского идеолога Михаила Суслова, которого не подвело партийное чутье (слова его записаны Гроссманом сразу же после беседы, состоявшейся между ними 23 июля 1962 г. – в связи с письмом Гроссмана Хрущеву. Цитирую по книге Бочарова): "Ваш уход с позиций, с которых были написаны Ваши книги: "Степан Кольчугин", "Народ бессмертен", "За правое дело", я объясняю /.../ преувеличенным, чрезмерным интересом к темным сторонам периода культа личности" (188). Как тут не согласиться с Сусловым! На одних позициях стоял писатель, когда создавал свои соцреалистические романы, на других – в пору создания "Жизни и судьбы". И если в романе "За правое дело" и были какие-то намеки и аллюзии, в целом он не противоречил официальной идеологии. (Трудность прохождения его в печать объясняется другими причинами, связанными с общей ситуацией конца сороковых – начала пятидесятых годов.)

Другое дело – "Жизнь и судьба", где нет намеков и нет в них нужды, ибо опрокинуты все запреты, всё названо своими именами. Это явление уникальное, ни с чем не сравнимое в подцензурной литературе. В монографии же значение и мощь

романа нивелированы, взрывоопасное произведение "обезврежено". И хотя исследователь и высказывает интересные соображения о его композиции, о месте публицистических отступлений в структуре романа, о его эпическом размахе, в целом глава о "Жизни и судьбе" оставляет впечатление какой-то фальши.

Очевидно, с целью "обезвредить" "Жизнь и судьбу" Бочаров утверждает нечто уж и вовсе странное: "...не будь XX съезда партии, возможно, и не состоялись бы они (Гроссман и Трифонов. - М. Ш.) как художники такой силы"⁴. Утверждение Бочарова прямо противоречит как общеизвестным фактам, так и тем, что впервые приводятся в его же монографии. Между тем, вынесенные в предисловие, слова эти повторяются потом неоднократно.

Так, говорится, что "Жизнь и судьба" писалась в годы "духовного общественного подъема после XX съезда" (196); что "вплотную ко второй книге Гроссман приступил в середине пятидесятых годов" (311); что идеи, которые воплощены в рассказах "Тиргартен" и "Авель", написанных в 1955 г., Гроссман "позднее разовьет в "Жизни и судьбе" (305); что "Гроссман многое переосмыслил после XX съезда партии [...], а главное - обрел в себе решимость художественно реализовать свою [...] историко-философскую концепцию" (232-233). Таким образом получается, что в "Жизни и судьбе" всего-навсего воплощены идеи XX съезда. Именно после него, по словам Бочарова, наряду со схваткой двух лагерей - фашистского и советского - перед писателем открылась третья сила - "сталинская тирания" (233). Так создается впечатление, что роман укладывается в рамки большевистской идеологии.

Между тем, ряд неоспоримых фактов, приведенных самим же Бочаровым, свидетельствует, что работа над "Жизнью и судьбой" началась уже в 1950 году. Одно из самых ранних упоминаний романа содержится в письме Гроссмана к С. Гехту от 26 ноября 1952 г.: "О второй части говорить еще рано, хотя написано около десяти листов" (177). Около десяти листов - это, примерно, 160 страниц книжного текста. Следовательно, к концу 1952 года были созданы сцены в фашистском и советском концлагерях, письмо матери Штрума, сцена прощания партийных функционеров с Гетмановым, встреча Людмилы Штрум с элитарной публикой на пароходе и многое другое.

Этого перечня достаточно, чтобы убедиться: уже в самом начале пятидесятых годов художественная концепция романа созрела. Созрела и решимость писать раскованно, свободно, без оглядки из цензуру.

В 1961 году, когда "Жизнь и судьба" была арестована, в минуту отчаяния Гроссман пишет письмо покойной матери, погибшей в гетто. Там есть такие строки: "Я почти все время думал о тебе, работая последние десять лет, — эта моя работа посвящена моей любви, преданности людям, потому она отдана тебе..." (181). Роман, посвященный матери, был, как известно, закончен в 1960 году. Писатель работал над ним десять лет... Да тут же простая арифметика!

Но и это не все. В 1962 году в письме Хрущеву⁷, где содержится просьба вернуть автору арестованный роман, Гроссман опять называет его десятилетним трудом своей жизни (184) и подчеркивает: "Я начал писать книгу до XX съезда партии, еще при жизни Сталина" (185). И далее: "Прошло двенадцать лет с тех пор, как я начал работать над этой книгой" (188). Какие еще нужны доказательства для установления точной даты?! Ясно, что Гроссман приступил к созданию "Жизни и судьбы" (замысел, очевидно, созрел до этого постепенно), когда никто и помыслить не мог об антисталинском съезде и об "оттепели", когда сталинщина достигла кульминации и не только отдавать в печать, но и хранить у себя еретическое произведение было смертельно опасно, особенно Гроссману — члену антифашистского комитета, подвергнутого разгрому. Но писатель обрел внутреннюю свободу. Теперь уж ничто не могло помешать ему говорить о том, о чем он хотел и считал своим долгом сказать.

Крайнее удивление вызывают слова Бочарова о первой редакции "Всё течет..." (1955 г.): "...здесь Гроссман впервые подступил к своему объяснению /.../ новой действительности", суть которой он видел (далее — слова Гроссмана) в следующем: "партия стала партией государства, оно же стало государством партии. Это слияние государства и партии нашло свое воплощение в личности Сталина". Противореча тому, что говорилось об авторе "Жизни и судьбы" в предыдущей главе, Бочаров восклицает: "Как сумел понять это Гроссман еще до XX съезда — непостижимо. Но сумел" (370—371).

Мы уже знаем, что в 1955 году была в разгаре работа над "Жизнью и судьбой". И ничего нет "непостижимо" в том, что мысли, воплощенные в романе, нашли развитие в повести. Тем более нет оснований удивляться, что писатель-мыслитель сам додумался до сути советского государства без подсказки с высокой трибуны съезда. Кстати, съезд тут вообще не при чем: на обоих антисталинских съездах — XX и XXII — как известно, речь шла вовсе не о сути советской государственности, не о партийной диктатуре — Боже упаси! — там говорилось лишь о "культе личности", об "отступлении от ленинских норм", о злодеяниях Иосифа Джугашвили. От-

крытия Гроссмана не имеют ничего общего с трактовкой исторических событий, прозвучавшей на партийных съездах.

Показательны размышления Бочарова о том, что способствовало прозрению писателя: "Даровано ли было это прозрение аналитическим характером его таланта? Или личная беда с изданием "За правое дело" обострила взор? (Почему же только "личная беда"? Ведь на дворе стояла страшная пора: конец сороковых - начало пятидесятых?! - М. Ш.) А, может быть, так сильна была тревога за революцию, в справедливость идеалов которой он верил до конца жизни?!" (371)

Здесь мы снова сталкиваемся с попыткой "реабилитировать" Гроссмана, "обезвредив" его крамольные мысли. Уже в предисловии Бочаров утверждает, что Гроссман и Трифонов "опирали свой нравственный идеал, свои нравственные устои на революционеров, комиссаров - тех, кто совершил революцию во имя осуществления лучших чаяний человечества"⁴. Варьируя на разные лады, мысль эта, как заклинание, повторяется на протяжении всей книги. Именно - как заклинание, без каких бы то ни было доказательств.

Весьма расплывчатое понятие "идеалы революции" Бочаров сводит к таким общим словам: "справедливость, равенство, свобода" (253-254). Но судя по тому, как Гроссман рисует истых революционеров-ленинцев (Мостовского, Абарчука, Крымова - в "Жизни и судьбе", Льва Меклера - в повести "Всё течет..."), под "идеалами революции" писатель понимал и самоотверженное служение партии, и готовность принести в жертву ее интересам не только себя и своих близких, но и сотни других людей. Понятие "идеалы революции", по мнению писателя, включает ненависть к классовому врагу, оправдание насилия и нарушения общечеловеческих принципов морали, если того требуют интересы пролетариата.

Подобные идеалы в романтизированном виде нашли отражение в некоторых ранних вещах Гроссмана (например, в рассказе "В городе Бердичеве"). Но в романе "Жизнь и судьба" и в повести "Всё течет..." меняется отношение автора к этим идеалам, меняется и смысл, который он вкладывает в такие понятия, как "справедливость", "свобода".

Сказать, что Гроссман провозглашает идеал свободы - значит ничего не сказать, ибо это - общее место. Важно, какой смысл он вкладывает в понятие "свобода". Если писатель говорит о свободе, как о цели борьбы народа в романах "За правое дело" и "Жизнь и судьба", это не свидетельствует о том, что оба романа проникнуты единой идеей. В Первой книге имеется в виду борьба свободного советского народа во имя свободы и независимости социалистического отечества.

Во Второй же книге речь идет об освобождении не только от иноземных захватчиков, но и от насилия советского тоталитарного государства.

Ершов в фашистском лагере и Греков, обороняющий дом "шесть дробь один", знают цену истинной свободы – от нацистов, от колхозов, от гнета партии и тоталитаризма. Ортодокс Крымов, который "всегда дышал воздухом ленинской революции", спрашивает Грекова: "Чего вы хотите?" И слышит в ответ: "Свободы хочу, за нее и воюю". – "Мы все ее хотим!" – восклицает Крымов. Но Греков ему возражает: "Бросьте! /.../ На кой она вам?"⁸ В этом коротком диалоге обнажается совершенно разное понимание свободы.

Писатель противопоставляет Абарчука, даже за колючей проволокой сохранившего веру в партию, и старого большевика Магара, который на лагерных нарах додумался до истинного понимания свободы и перед тем, как покончить с собой, покался: "Мы не понимали свободы... Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее: она основа, смысл, базис над базисом".

Марксистско-ленинское понимание свободы Гроссман на чисто отрицает. В повести "Всё течет..." он спорит с определением свободы как осознанной необходимости: "Свобода прямо противоположна необходимости, свобода есть преодоленная необходимость"⁹. Герой повести Иван Григорьевич – альтер эго автора – оспаривает полноценность идеалов, во имя которых совершалась революция: "Я раньше думал, что свобода – это свобода слова, печати, совести. Но свобода – она вся жизнь всех людей, она вот: имеешь право сеять, что хочешь, шить ботинки, пальто, печь хлеб, который посеял, хочешь, продавай его и не продавай; и слесарь, и сталевар, и художник живи и работай, как хочешь, а не как велют тебе". Толкование, явно противоположное "идеалам революции" с ее "осознанной необходимостью"! И еще: "...свобода превыше всего, в мире нет цели, ради которой можно принести в жертву свободу человека". А вот что говорится о Ленине – борце за революционные идеалы: "...он принес в жертву, убил ради захвата власти самое святое, что было в России, – ее свободу".

И борец за те же идеалы, верный ленинец Лев Меклер "готов был на самое беспощадное насилие /.../ Его служба добру и революции была отмечена кровью и беспощадностью к страданию". Сам же он превратился в верного пса, в раба революции и лишился свободы не только тогда, когда Хозяин бросил его за решетку, но еще тогда, когда он сам бросал за решетку родного отца – "классового врага" и прочих врагов пролетариата или тех, кого принимал за врагов.

Таковыми же рисует Гроссман всех апостолов революции с их готовностью "подавить живую сегодняшнюю свободу ради свободы измышленной, нарушить житейские принципы морали ради принципов грядущего..." ("Всё течет...").

Поражает утверждение Бочарова, будто Гроссману, наряду со Штрумом, близок и Крымов — один из таких же, как Меклер, революционеров-фанатиков. Автор монографии пишет: "Комиссары для беспартийного Гроссмана по-прежнему революционная совесть народа [...]/ Крымов так и остался комиссаром в высоком гроссмановском понимании..." (278).

Так говорится о Крымове, который оправдывал раскулачивание и террор, жестокость считал неизбежной и полезной, в тридцать восьмом году дал подлые показания о своем друге, "честном коммунисте" Гаккене, а потом забыл об этом — настолько предательство было в порядке вещей! (Тут напрашивается аналогия с героем романа Ю. Трифонова "Старик").

Вспомним еще раз столкновение Крымова с Грековым, к которому комиссар был прислан для наведения большевистского порядка. К Крымову обратился один из защитников дома "шесть дробь один": "А вот насчет колхозов, товарищ комиссар, как бы их ликвидировать после войны". И Крымов набрасывается на Грекова: "Вот этот, что высказывался насчет колхозов. Зачем вы его поддерживали?" Греков вступает в опасный спор: "Насчет колхозов, что тут такого? Действительно, не любят их, это вы не хуже меня знаете". — "Вы что ж, Греков, задумали менять ход истории?" — "А уж вы-то всё на старые рельсы хотите вернуть?" — "Что это "всё"?" — "Всё. Всеобщую принудилровку".

Далее Крымов пишет донос на истинного героя Сталинградской битвы ("растлил, политически разложил воинское подразделение"). Верный ленинец, он не без злорадства представляет себе, как Грекова расстреляют перед строем. Ведь "Греков не свой, враг [...]/ Крымов никогда не сомневался в праве партии действовать мечом диктатуры, в святом праве революции уничтожать своих врагов". Когда же на миг проснулась совесть ("донос, что ли, я написал?"), он успокаивает себя: "...ты член партии. Выполняй свой партийный долг". И этот персонаж, по мнению Бочарова, воплощает совесть народа и идеалы самого писателя?! Невольно приходят на память чьи-то слова: критик должен уметь не только писать, но и читать!

К сожалению, подобных передержек в монографии не мало. Приведу еще одно утверждение Бочарова: Гроссман "был не против коллективизации как естественного преобразования крестьянской жизни" и считал, что "крестьянство

приняло новый уклад" (249-250). Достаточно для опровержения этих слов и того, что цитировалось выше. Добавлю лишь исчерпывающе ясные высказывания из повести "Всё течет...": "С этим стремлением народа стать хозяином земли было непоколебимо покончено..."; "Свобода была преодолена в сельском хозяйстве - в праве свободно сеять и убирать урожай..."

В романе "За правое дело", действительно, существенное место занимает образ колхозника-энтузиаста Вавилова и колхозный строй рисуется идиллически. Но тем и отличается от Первой книги Вторая, что в ней нет места для идиллии. В "Жизни и судьбе", как и в повести "Всё течет...", Гроссман неоднократно возвращается к эпохе коллективизации и уничтожения крестьянства, да и деревню сороковых годов не рисует в розовых тонах.

Зачем же понадобилось исследователю, получившему наконец "право писать правду", рядить такого честного и безоглядно смелого художника, как Гроссман, в кожаную тужурку комиссара - правоверного коммуниста, которого XX съезд партии научил уму-разуму?! То ли это право на правду до сих пор ограничено и нельзя переступать через запретную черту? То ли не всякому дано преодолеть сложившийся стереотип, и инерция приспособления вошла в плоть и кровь не одного лишь Бочарова? Трудно сказать... Остается только сожалеть, что книга, которая содержит много интересных сведений и тонких наблюдений, в значительной мере обесценена. Кого тут винить?

ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. Бочаров. Василий Гроссман. Критико-биографический очерк. Москва, "Советский писатель", 1970. Близкий друг Гроссмана, поэт Семен Липкин пишет в своих воспоминаниях: "Это хорошая, благородная по замыслу книга. Уже сам тот факт, что А. Бочаров избрал своей темой творчество Гроссмана, заслуживает уважения и признательности". Семен Липкин. Сталинград Василия Гроссмана. Анн Арбор, "Ардис", 1986, стр. 38.

2. А. Бочаров. Василий Гроссман. Жизнь. Творчество. Судьба. Москва, "Советский писатель", 1990, стр. 4. В дальнейшем номера страниц, на которые я ссылаюсь, приводятся в тексте, в скобках.

3. О первоначальном заглавии романа говорится в цитированных выше воспоминаниях С. Липкина (стр. 30), в статье

Бориса Закса "Немного о Гроссмане" ("Континент", № 26, стр. 385), в работе Шимона Маркиша "Пример Василия Гроссмана" (в кн.: Василий Гроссман. На еврейские темы. Том II, "Библиотека Алия", 1985, стр. 507).

4. К числу таких критиков относятся Л. Аннинский ("Мироздание Василия Гроссмана", "Дружба народов", 1988, № 10) и Л. Лазарев ("Дух свободы". В кн.: Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Москва, "Книжная палата", 1990). Среди советских критиков есть и противники подобной точки зрения. Например, В. Лакшин считает, что "Жизнь и судьба" отличается от романа "За правое дело" "не героями, а концепцией жесткой правды, бесстрашием" ("Известия", 1989, 24 июня).

5. Цитированная выше работа Ш. Маркиша "Подвиг Василия Гроссмана".

6. Мария Шнеерсон. Два романа Василия Гроссмана. "Грани", № 160(2), 1991 г.

7. Точная дата письма не указана ни в названной выше книге С. Липкина, ни в монографии А. Бочарова. Оно было написано в период между XXII съездом партии, который упоминается в письме, и встречей Гроссмана с Сусловым, состоявшейся 23 июня 1962 г. в связи с письмом.

8. Все цитаты из романа даются по второму изданию, "осуществленному по авторской рукописи": Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Москва, "Книжная палата", 1990.

9. Все цитаты из повести даются по второму изданию: Василий Гроссман. Все течет... Франфурт-на-Майне, "Посев", 1971.

Мария Шнеерсон

Лучшая книга о Шукшине*

Когда-то я пытался читать советские монографии о Василии Шукшине, но, увы, — безуспешно. Отталкивал убогий уровень, стандартность мышления. А ведь как писатель и как крупная личность, сумевшая раскрыться с нравственной полнотой в скверные времена, Шукшин в самом деле заслуживает монографии.

* Е. Вертлиб. Василий Шукшин и русское духовное возрождение. New York. Effect Publishing, 1990, 270 pp.

И вот такая книга, наконец, опубликована. Евгений Вертлиб, автор эмигрантской книги о Шукшине, видит свою цель в осмыслении шукшинского житнетворчества на фоне эпохи и в объемном культурном контексте. Сценарист, драматург, актер, режиссер, публицист, романист, автор более ста рассказов, Шукшин вошел в нашу культуру как тот самый естественный человек, за которого писатель ратовал в своей публицистике и которого выстрадал в своих художественных произведениях. Шукшин верил в недогматическую личность, не утратившую национальных корней. Можно изучать по творчеству Шукшина эпоху, ибо совершенно безликих эпох не бывает. Не бывает даже тогда, когда страна попадает в мертвую зыбь истории.

Книга Е. Вертлиба привлекательна, а в чем-то и увлекательна, благодаря целостному подходу. Сам писатель и поэт, автор этой монографии литературу понимает как "жизнь души". Феномен Шукшина показан исторически – как одно из воплощений вечной идеи естественности, то есть близости к природе, к основе нравственного здоровья. Если широкий и в общем целостный подход автора к своей теме было бы нужно назвать одним только словом, то я назвал бы его неопочвенничеством. В нем обнаруживается известное душевное созвучие литературоведа-исследователя и его героя. Из этого очень личного взгляда – без примеси безразличия – следует многое. В частности, мы вправе ожидать, что книга Е. Вертлиба должна быть полемической. Таковой она и является. В основе этой полемики – защита идеи неопочвенничества от "инакомыслящих". К этому разряду автор относит, например, А. Синявского. Нужно ли с этим спорить? Но когда в этой полемике литература деревенщиков названа "новым Sturm und Drang", сравнение не убеждает. Это все равно, что сравнивать Василия Белова с Гете, а Распутина с Гердером и Шиллером.

Конечно, Вертлиб лучше других осознает условность термина "деревенская проза" и многосторонне обсуждает особенности этого литературного движения. Но его сущность автор книги о Шукшине видит в том, что родившаяся в пятидесятые годы литература деревенщиков является "онтологической прозой". Онтология (учение о бытии) – сердцевина метафизики. Деревенщики же как наследники натуральной школы и как современники "страшных лет России" более всего обеспокоены делами земными. Они – особая страница в нашей литературе. Если в ней и можно найти что-либо напоминающее онтологию, то это напоминание всегда этического происхождения. Вся их философия жизни связана с понятием нравственности.

Шукшин был из того же литературного притока. "Логика искусства", — писал он, — ограничена нравственными оценками да еще модой данного времени". К счастью, настоящий художник всегда шире своей теории искусства. Если бы Шукшин и на деле оставался последователем своей формулы, он бы не состоялся как крупный писатель. Можно согласиться с выводом Е. Вертлиба, что весь "творческий путь Шукшина мыслится в этических категориях". Но когда Шукшин видит насквозь своего самобытного и корявого героя в кирзовых сапогах, он — душевидец, а не моралист. Его художественная правота основана на этом видении, а не на нравственных оценках.

Сильная сторона книги Е. Вертлиба — в широком историческом контексте, в котором рассматривается творчество Шукшина. Странное дело, в обзор "мужицкой литературы" попадают отчасти и Бабель, и Паустовский. Однако, если сама идея увидена верно, то она работает, как катализатор. Вся литературная традиция вдруг представляется пронизанной идеей, способной упорядочить наши наблюдения.

Примечательно мнение, одобренное почтенными авторитетами, что, дескать, почвенность и есть духовность. Почвенность связана с элементами стихии. Вполне логично, что почвенники любят стихийные характеры. Духовность, как она проявилась в древнем мире, с почвенностью не связана. Почвенничество — это специфический миф русской культуры. Миф, по своей природе, шире идеологий, и настоящие мифы идеями еще никогда не свергались. К подобному мифу надо подключиться, как к некой эзотерической цепи, чтобы прочувствовать всю его неиссякаемость. Миф — происхождения астрального; идея — происхождения ментального. Почвенничество — прекрасный миф, восходящий отнюдь не к славянофилам, то есть поколению наших прадедов, но уходящий корнями в древнюю Русь, даже в доисторические времена Микулы Селяниновича. Человек, подключившийся энергетически к этому мифу, никуда от него не уйдет. Это и есть его место во вселенной. Но хуже то, что почвенник любит становиться миссионером.

Не удивительно, что для почвенника в русской ментальной сфере "в условиях свободного самовыражения главенствуют две основные точки зрения: авторитарно-националистическая и либерально-демократическая". Может быть, они и "главнуюствуют", но до чего же было бы жалко самих себя, если бы в сфере русского сознания всё сводилось к ним. Слава Богу, мы всегда были намного богаче в плане идей. Русский мужик сам почвенником не был. "Идейное лицо Рос-

сни современной – шестиликое, – пишет Е. Вертлиб. – Православное, демократическое, коммунистическое, национал-коммунистическое, эклектическое и, наконец, бытовой советизм”. Не забудем, что эта книга писалась в начале 80-х годов. Тем не менее всю эту многоликость автор сводит к “двухсоставности”: западное либеральное и почвенническое национальное. Шукшин, по его понятиям, либеральный консерватор, наследник толстовского панэтизма, и сам его метод Е. Вертлиб называет “этическим реализмом”.

Самая большая глава в книге – она же и заключительная – названа “Шукшин и вечное в литературе”. Первое ее достоинство в том, что для Шукшина найден широкий литературный контекст. Составляющие его имена – Трифонов, Распутин, Платонов, Лесков, Липатов, Белов, Салтыков-Шедрин, Айтматов, Залыгин, ранний Чехов, Ю. Казаков, Высоцкий, Есенин, Н. Рубцов. Ряд поистине неожиданный. Но искусство литературоведческой аналогии состоит в том, чтобы экзистенциально оживить историко-культурные связи. “Займствований в чистом виде, – пишет Е. Вертлиб, – у Шукшина вообще нет”. Возможно. Для такого утверждения надо знать Шукшина, как его знает Е. Вертлиб.

Вообще о заимствованиях и влияниях литературоведами наговорено больше, чем следует: Кроме влияний есть еще такая вещь, как параллелизм – и в одной плоскости, и в разных плоскостях. И это понятие о параллелизме мотивов, мыслей, тем, образов, приемов выводит нас из скучной сферы влияний (этакая передача эстафетной палочки) в сферу идей. Одна и та же художественная идея реализуется последовательно и одновременно на разных уровнях у разных писателей разными стилистическими средствами. Если мы способны проследить жизнь этой идеи в ее многообразных воплощениях, тогда мы способны кое-что понять в истории литературы и в литературном процессе за пределами элементарных учебников. Е. Вертлиб владеет этим мастерством компаративиста. Творчество Шукшина видится после прочтения книги Вертлиба глубже (уходящим корнями в общенациональное русское “я”) и шире (соприкасающимся так или иначе с веками русских традиций).

Самое спорное в книге – ее название: “Василий Шукшин и русское духовное возрождение. Пушкинское время, пушкинскую плеяду и вместе с ней Тютчева и Лермонтова, Глинку, Тропинина, Брюллова, К. Росси, всю культуру эпохи и эпоху культуры можно назвать русским возрождением. Это слово в национальных рамках применимо еще к одной эпохе: к серебряному веку с его широтой, блеском, многоаспектностью.

Н. Гумилев еще в молодости осознал себя "работником возрождения". В претенциозном "Памятнике" Брюсова - все-таки есть дуновение той всемирной широты, которая и была лейтмотивом серебряного века. Когда поэты или прозаики той эпохи касались национальной темы, они видели русскую идею шире, чем Шукшин и его современники. Вспомним Вяч. Иванова - стихотворение "Русский ум": "Он здраво мыслит о земле, / В мистической купаясь мгле". Эти признаки возрождения в серебряном веке можно находить еще и еще, а суммируя их, можно было бы написать целую книгу. Где признаки возрождения в шукшинском мире? В его "чудиках", современных полуюродивых, промежуточных бунтарях? Нисколько не пытаюсь принизить значение этого очень самобытного человека и писателя, приводя как фон или как параллель его творчеству такие имена (что и делает Е. Вертлиб), как Высоцкий, Рубцов, Солженицын, можно ли говорить о времени шестидесятых - начале семидесятых годов как о времени духовного возрождения? Пробуждения - да, но не возрождения. Были сильные таланты, было в русской словесности сопротивление коммунистической чуме. Но вся сумма этого сопротивления и этих глубоко национальных талантов на духовное возрождение не тянет. Это важно понять, не вводя себя в заблуждение: ни Шукшин, ни автор монографии о нем (оба - шестидесятники) не являются продуктами какого-либо ренессанса, скорее уж сопротивления и выживания, допустим, духовного. Я не могу представить себе будущего историка, который назвал бы брежневское время эпохой духовного возрождения, хотя этот период русской культуры и украшен именами Солженицына, Высоцкого, Рубцова и многих других и, конечно, именем автора "Калины красной".

Вадим Крейд



Коротко об авторах

Б о г о л ю б с к и й Константин. Москва. Публиковался в "Гранях" № 153 за 1989 г. (подборка стихов) и в № 158 за 1990 г. (рецензия на новые издания стихов Лии Владимировой).

Г а л к и н Владимир. Москва. Литератор.

Е ф и м о в Игорь. США. Литератор и издатель. Автор нескольких повестей, а также многочисленных статей о литературе.

К о л о д я ж н а я Людмила. Москва. Литературовед.

К р е й д Вадим. США. Литературовед. Член редколлегии "Нового журнала". См. также публ. в № 159, 1991 "Граней" (О поэте Александре Кондратьеве).

М а р т ы н о в а Ольга. С.-Петербург.

М у р а в ь е в а Ирина. США. Род. в Москве в 1952 г. По образованию филолог. В Москве занималась переводами английской и немецкой поэзии, много писала о Пушкине. Эмигрировала в 1985 г. В настоящее время преподает в Гарвардском университете. Регулярно печатается в русских изданиях эмиграции. Автор "Граней" (№№ 144, 148, 149, 150, 160)

О р л о в Андрей. Москва.

П а в л о в с к а я Евгения. США.

П у х а н о в Виталий. Москва. Молодой поэт. Первый лауреат учрежденной в 1990 году поэтической премии им. Осипа Мандельштама. Подборка его стихов была напечатана в "Гранях" № 161 за 1991 год.

Р е д л и х Роман. Зап. Германия. Философ, политолог, публицист и писатель. Многолетний член редколлегии журнала "Посев". Автор известных книг, вышедших в изд-ве "Посев": "Сталинщина как духовный феномен", "Советское общество" и романа "Предатель".

С о л о у х и н Владимир. Москва. Известный русский писатель. Род. в 1924 г. Книги В. Солоухина пользуются заслуженным успехом как у отечественного читателя, так и у зарубежного. Без ведома автора его рукописи еще с начала 60-х годов много раз попадали в Самиздат, а затем на Запад. Печатался в журнале "Грани" (№№ 118, 147, 151). В изд-ве "Посев" отдельными изданиями вышли "Смех за левым плечом" и "Читая Ленина". "Камешки на ладони" - "сквозная" книга писателя, постоянно пополняемая всё новыми и новыми "камешками"-рассказами.

С т е п а н я н Карен. Москва.

Ш н е е р с о н Мария Анатольевна. США. Род. в 1913 г. в Екатеринославе. Окончила филфак Ленинградского университета. Кандидат филологических наук (1955). Свыше 25 лет работала педагогом и занималась изучением русской классической литературы XIX века. Эмигрировала в 1979 г. С 1980 года ее статьи, посвященные современной русской литературе, публикуются в "Гранях", "Новом русском слове" и других зарубежных изданиях. В 1984 г. вышла книга М. Шнеерсон "Александр Солженицын. Очерки творчества" (изд-во "Посев"). За последние несколько лет опубликовала целый ряд работ о Василии Гроссмане.

Ю р ь е в Олег. С.-Петербург.



ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"

"Посев" - общественно-политический журнал, выходит за рубежом с 1945 года.

"Посев" участвует во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях;

стоит на позициях национально-государственных интересов России;

участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);

стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

С 1976 года журнал "Посев" выходил также в виде ежеквартального издания, предназначенного специально для переправки в страну и распространения среди советских граждан за рубежом. С 1990 года сливаются два издания - ежемесячный "Посев" и его квартальное издание. "Посев" в новой форме будет выходить каждый второй месяц на 160 страницах.

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Журнал выходит 4 раза в год.
320 страниц в номере.

Цена отдельного номера:	17,50 нм
Годовая подписка:	в издательстве 60 нм
	через магазины 70 нм
	в СССР 30 руб.
	организации: 35 руб.

Московский адрес для подписок:
129010 Москва
Абонентный ящик 72
В. Батшев
тел.: 465-05-05

Расходы по пересылке за счет подписчика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

(6 выпусков в год)

В розничной продаже:	10 нм.
Годовая подписка:	50 нм.
В Москве:	3 руб.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15.